

SLAVICA XLI

A kötetet lektorálták:

DSc Hajnáy Zoltán

DSc Kocsis Mihály

Dr. hab. Balázs L. Gábor

Dr. hab. Leonarda Dacewicz

CSc Bibok Károly

CSc Regéczi Ildikó

Dr. Todor Mollov

Dr. Lenka Németh Vitová

ISSN 0583-5356

Debreceni Egyetem

Felelős kiadó: Fábíán István rektor

Szedés: DE TEK BTK Szlavisztikai Intézet

Nyomás: DE Repográfiai Osztály

ANNALES INSTITUTI SLAVICI
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS

Slavica

XLI

ADIUVANTE
BALÁZS L. GÁBOR

REDIGUNT
AGYAGÁSI KLÁRA
GORETITY JÓZSEF

EDITIONEM CURANTE
SAHVERDOVA NAVA-VANDA



DEBRECEN
2012

**Автори тома – Autorzy tomu – Авторы на сборника – Autors
of the volume**

Dr. hab. BALÁZS L. Gábor
Szegedi Tudományegyetem,
Magyarország
gbalazs@lit.u-szeged.hu

KISSNÉ Dr. KOVÁCS Krisztina
Miskolci Egyetem
Magyarország
kisskrisz70@gmail.com

CSc BIBOK Károly
Szegedi Tudományegyetem,
Magyarország
kbibok@lit.u-szeged.hu

Dr. LEE Sang Dong
Hankuk University of Foreign Studies
Republic of Korea
lsdmagyar@hanmail.net

Dr. GYÓRFI Beáta
Debreceni Egyetem
Magyarország
blazsenyka@yahoo.com

CSc LENGYEL István
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Magyarország

Prof. DSc HAJNÁDY Zoltán
Debreceni Egyetem
Magyarország
hajnady.zoltan@arts.unideb.hu

Dr. Леся МУШКЕТИК
Інститут мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім.
М. Рильського НАНУ
Україна
mushketik@ukr.net

доц. д-р Татяна ИЛИЕВА
Кирило-Методиевски научен център,
БАН
България
ilieva_tatyana@abv.bg

Dr. hab. Bernadeta NIESPOREK-
SZAMBURSKA prof. UŚ
Uniwersytet Śląski w Katowicach
bernadeta.niesporek-
szamburska@us.edu.pl

Prof. emeritus IMRE László
Debreceni Egyetem
Magyarország
imre.laszlo@arts.unideb.hu

Prof. DSc PÉTER Mihály
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Magyarország
peter28@mail.datanet.hu

PhD Agnieszka JANIEC-NYITRAI
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
ajnyitrai@ukf.sk

Любовь Михайловна РЫСКАЛЬ
Волгоград, гимназия
Россия
Lubariskal@gmail.com

доц. д-р Венета ЯНКОВА
Шуменски Университет
„Епископ Константин Преславски“
България
veneta_yankova@abv.bg

Prof. dr. hab. Petar SOTIROV
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Polska
sotirov@wp.pl

Prof. DSc KOCIS Mihály
Szegedi Tudományegyetem
Magyarország
kocsism@lit.u-szeged.hu

Dr. hab. Wiesław Tomasz STEFAŃCZYK
Uniwersytet Jagielloński
Polska
wieslaw.stefanczyk@uj.edu.pl

проф. д-р Живка КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА
Великотърновски университет
„Св. св. Кирил и Методий“
България
jivka@yahoo.com

prof. DSc ZOLTÁN András
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Magyarország
zoltand@ludens.elte.hu

СОДЕРЖАНИЕ

Беата ДЪЕРФИ : К шестидесетилетию Клары Адягаши	11
Публикации проф. Клары Адягаши (1977–2012).....	15
ЯЗЫКОЗНАНИЕ	29
Габор Л. БАЛАЖ: Распространение окончания <i>-ovъ</i> в свете данных славянских диалектов.....	31
Беата ДЪЕРФИ: Процесс возникновения категории деепричастия в русском языке	45
Андраш ЗОЛТАН: Славяно-венгерские этимологии (венг. <i>seb</i> ¹ ‘рана’ и устар., обл. <i>seb</i> ² ‘быстрота’).....	57
Татяна ИЛИЕВА: Лексико-семантическо терминообразуване в старобългарски език (върху материал от Йоан-Екзарховия превод на Богословието).....	63
Кристина К. КОВАЧ: ИмPLICITНОЕ содержание в вопросительных предложениях русских печатных рекламных текстов.	81
Живка КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА: Размышления о парадоксах этимологии	95
Михай КОЧИШ: О правописании И. Котляревского и определении его места в истории украинской графики и орфографии	107
Петър СОТИРОВ: Българската и полската картина на света, отразени в разговорната оценъчна лексика.....	111
Károly ВІВОК: On conceptual differentiation: The case of the Hungarian and Russian verbs meaning ‘cut’	127
Wiesław Tomasz STEFAŃCZYK: W sprawie fleksji nazw własnych – na podstawie nazw państw świata i ich stolic	133
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ	141
Леся МУШКЕТИК: Жіночий ідеал народної казки (на матеріалі української та угорської усної прози).....	143
Золтан ХАЙНАДИ: «Зримая литература». Экфрасис в поэтике Л. Толстого.....	159
IMRE László–LEE Sang Dong: Evolutionary functions of the Korean epic folk song and the Finnish, Russian and Hungarian literary ballad	179
Agniszka JANIEC-NYITRAI: Dwie strony humoru. Powaga komizmu w wybranych humoreskach Karla Čapka i Frigyesa Karinthyego	193
КУЛЬТУРОЛОГИЯ	203
Венета ЯНКОВА: Татарите в Полша: въпроси на етноконфесионалната памет (Част I).....	205
РЕЦЕНЗИИ	227
Иштван ЛЕНДЪЕЛ: <i>Fenyvesi István, „Belénk sajdult Odessza...” A város a magyar művelődéstörténetben. Szeged, 2008.</i>	229
Михай ПЕТЕР: <i>Fenyvesi István, Időséta: Szentes–Szeged–szlávok. Szeged, 2011</i>	234

Любовь Михайловна РЫСКАЛЬ: Золтан Хайнади, <i>Культура как память. Главы из истории русской культуры</i> . Budapest, 1998.....	237
Wiesław Tomasz STEFAŃCZYK: Janusz Bańcerowski, <i>Podstawy polsko-węgierskiej fonetyki i fonologii kontrastywnej</i> . Budapest, 2001.....	243
Wiesław Tomasz STEFAŃCZYK: Nagy Sándor István (szerk.), <i>Interkulturális kommunikáció: nyelvi és kulturális sokszínűség Európában</i> . Budapest, 2006	246



Dr. Anjan An

К ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЮ КЛАРЫ АДЯГАШИ

Профессор Института славистики Дебреценского университета, Клара Адягаши родилась 2 марта 1952 г. в городе Озд.

Она в молодости готовилась к музыкальной карьере, но случайная травма заставила ее изменить свои планы и в 1970 г. поступить в Педагогический Институт в городе Эгер на отделение истории и русского языка. В 1973/1974 учебном году ей открылась возможность учиться год в Чебоксарах, в Чувашском государственном педагогическом университете им. И. Я. Яковлева и параллельно с изучением русского языка и литературы познакомиться с чувашским языком на занятиях, организованных в Чувашском государственном научно-исследовательском институте. Проведенный там год наложил свой отпечаток на ее будущую карьеру, потому что экзамен по чувашскому языку, который она сдала в конце учебного года там, являлся основой для поступления на специальность «алтаистика и русский язык и литература» Сегедского университета. Она была первой студенткой по алтаистике у проф. Андраша Рона-Таша, с которым (и финно-угроведом Габором Берецки) познакомилась еще в Чебоксарах. В институте славистики перед ней открылась возможность учиться у профессора Имре Х. Тот. Эти выдающиеся ученые с самого начала ориентировали ее в сторону исторического языкознания. Будучи студенткой III курса под руководством проф. А. Рона-Таша она участвовала на государственной научной студенческой конференции Венгрии с сочинением «Терминология оборудования чувашской бани», где ей было присуждено 2-е место. С этого момента молодой специалист интересуется контактной лингвистикой, ведь в этом ее сочинении Клара Адягаши впервые рассматривает древнерусские заимствования чувашского языка. Она закончила филологический факультет по специальностям русского языка и алтаистики (тюркской филологии) в 1978 г. и начала работать на кафедре алтаистики, где в 1980 г. она защитила университетскую докторскую диссертацию по теме «*Реконструкция чувашской фонемной системы XVIII. в. на основании Первой грамматики чувашского языка*».

С 1987 г. Клара Адягаши уже преподает в Дебреценском университете им. Лайоша Кошута, на кафедре славистики. В 1990-м году она написала кандидатскую диссертацию по теме «*Раннее русское влияние на тюркские языки Поволжья*», которую защитила в 1993 г. Эта работа обратила ее внимание на языковые контакты русского и тюркских языков с марийскими диалектами, что мотивировало дальнейшее ознакомление с историей марийского языка. В 1993–94 г. при поддержке исследовательской стипендии Фонда А. фон Гумбольдта перед ней открывается возможность провести три семест-

ра в Майнцском университете им. Иоганна Гутенберга в Институте востоковедения под руководством проф. Л. Йохансона, изучая языковые связи чувашского и черемисского языков. В рамках этого исследовательского проекта она участвует в интенсивном курсе по исторической фонетике марийского языка в университете г. Удине у проф. Г. Берецки на кафедре Языков Восточной Европы. На этом в 1994 г. ее основная подготовка к ареальной лингвистике Поволжского региона заканчивается. Вернувшись домой с 1995 г. Клара Адягаши становится ведущим преподавателем исторической славистики на должности доцента в Дебреценском университете. Она продолжает свои исследования по этнолингвистике Поволжья дальше, хабилитируется в 1998 г. За качественную исследовательскую деятельность в 1998 г. ей присуждается «Премия им. Гезы Куна». С этого же года она участвует в реорганизации постградуального образования по русской лингвистике в Дебреценском университете, и с 2000 г. она стала членом-основателем Лингвистической докторской школы университета. В 2002 г. она написала диссертацию по ареальной лингвистике под названием «*Роль черемисского фактора в историческом изменении чувашской фонетической системы*», которая была защищена в 2004 г. за соискание ученого звания доктора Венгерской Академии Наук. В 2007 г. президент Венгерской Республики назначает Клару Адягаши профессором сопоставительного языкознания Дебреценского университета.

В центре ее научных интересов находятся теоретические вопросы контактной лингвистики, изучение диалектов Волго-Камского ареала, исследование языковых связей славянских, тюркских и угро-финских языков, историческая фонетика русского языка, проблемы лексикологии, история тюркских языков.

Кроме научной деятельности Клара Адягаши особое внимание уделяет воспитанию нового поколения лингвистов. Она успешно помогает готовиться своим студентам к Государственной научной конференции студентов (ОТДК). Профессор Адягаши с 2006 г. является членом программы по теоретической лингвистике Лингвистической докторской школы Дебреценского университета, и преподает в докторских школах Сегедского университета и Университета им. Лоранда Этвеша.

Юбиляр является автором и соавтором ряда монографий¹, учебных пособий², редактором многочисленных изданий³. Она принимает участие в вен-

¹ АДЯГАШИ, ДМИТРИЕВА 2001: Адягаши К., Дмитриева Ю. (ред.) *Hungaro-Tschuwaschica*. Аннотированный библиографический указатель исследований венгерских ученых XIX–XX века. Чебоксары, АДЯГАШИ 2005: Адягаши, К. *Ранние русские заимствования тюркских языков Волго-Камского ареала. Часть I. Этимологический справочник*. Studies in Linguistics of the Volga Region Vol. II. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. Ее академическая докторская диссертация готовится к печати на английском языке: The role of Cheremis in the historical change of the Chuvash sound-system.

герских и международных исследованиях. В 2002 г. она становится членом международной ученой компании “Societas Uralo-Altaica Göttingen”. Начиная с 1998 г. она руководит исследовательскими проектами с участием лучших представителей ареальной лингвистики. С 2007 по 2011 г. профессор Адягаши руководила исследовательским проектом «Смена парадигмы в венгерской лингвистической русистике», в который она уже пригласила трех своих бывших докторантов-коллег с научной квалификацией.

Мне обязательно хочется сказать несколько слов о юбиляре как человеке. Студенты считают ее строгой, но корректной и терпеливой преподавательницей. Она обладает особой работоспособностью и требует той же взыскательности от своих студентов и коллег, которую и сама представляет. О ее замечательной энергии свидетельствует не только обширный лист ее публикаций, но и то, что как матери троих детей, ей удалось успешно согласовывать карьеру с личной жизнью.

Наконец осталось только пожелать ей от имени коллег-славистов и студентов успешного продолжения работы и осуществления всех своих намеченных планов.

Беата Дьерфи

бывшая студентка проф.
Клары Адягаши, сотрудник Ин-
ститута славистики, Дебрецен-
ский университет

² АДЯГАШИ 1998: Адягаши К. *Bevezetés az orosz történeti dialektológiába*. Kossuth Egyetemi Könyvkiadó, Debrecen.

³ Редактор ежегодника *Slavica Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis* с 2000 г., в 2002 г. редактор-основатель сериала «*Studies in Linguistics of the Volga Region*», а с 2008 г. – редактор-основатель сериала «*Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis*»,

**ПУБЛИКАЦИИ ПРОФ. КЛАРЫ АДЯГАШИ
(1977–2012)**

1977

„*Mese a tölgyfa tetején*”. Csuvas mesék 22 csuvas népmese fordítása csuvasról magyarra. [Перевод 22 чувашских народных сказок с чувашского на венгерский язык]. Európa Könyvkiadó. Népek meséi, sorozatszerk. Karig Sára. Budapest, 1977.

1978

A csuvas nyelvemlékek kiadásának néhány módszertani kérdése [Некоторые методические вопросы издания памятников чувашского языка] in: Acta Iuvenum Universitatis Szegediensis (Sectio Linguistica) Tomus II., Szeged, 1978, pp. 9–27.

Török beszédgyakorlatok II. [Упражнения по турецкому языку] Nyelvi laboratóriumi füzetek. Szeged, 1978. 19 p.

1980

A XVIII. századi csuvas fonémarendszer rekonstrukciója a Csuvas Első Grammatika alapján. [Реконструкция чувашской фонемной системы XVIII в. на основании Первой грамматики чувашского языка] Szeged, 1980. Egyetemi doktori értekezés. Kézirat. [Диссертация за соискание звания университетского доктора. На правах рукописи.]

„*Ma mentem, holnap jöttem*”. Kazáni tatár népmesék. Válogatta, az utószót és a jegyzeteket írta, 21 mesét tatárról magyarra fordított A. K. [Казанско-татарские народные сказки. Перевод 21 сказки с татарского на венгерский, послесловие, комментарии]. Európa Könyvkiadó. Népek meséi, sorozatszerk. Karig Sára. Budapest, 1981.

Рецензия на книгу „*Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba* vols. I, 1.2.; II. Edited by P. Hajdu, Gy. Kristó, A. Róna-Tas. Tankönyvkiadó, Budapest 1976, 1977”. На английском языке. In: Ural-Altäische Jahrbücher Göttingen Neue Folge Band I. 1981, pp. 291–292.

1982

On the Edition of Chuvash Literary Sources in: Chuvash Studies, (Ed. by A. Róna-Tas). ISBN 963 05 2851 7. Bibliotheka Orientalis Hungarica Vol. XXVIII. Budapest, Akadémiai Könyvkiadó, 1982, pp. 7–17.

Hat XVIII. századi csuvas szójegyzék forráskritikája [О шести чувашских глоссариях XVIII века]. In: *Néprajz és Nyelvtudomány*, Szeged, 26 (1982), pp. 7–35.

1983

A 'kenyér' jelentésű szó a csuvasban. [Чувашское слово со значением 'хлеб']. In: *Emlékkönyv Beke Ödön 100. születésnapjára. Nyelvtudományi Közlemények 85* (1983), pp. 279–280.

1984

Hat XVIII. századi tatár szójegyzék forráskritikája [О шести татарских глоссариях XVIII века]. In: *Néprajz és Nyelvtudomány*, Szeged, 28 (1984) pp. 5–15.

1985

О шести чувашских глоссариях XVIII века. In: *Советская Тюркология*, Баку, 1985/5, pp. 73–88.

1986

Emirhan Jeniki: *Elmondatlan végakarát*. Novellák és kisregények. Modern Könyvtár sorozat. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1986. Két novellát és két kisregényt tatárról magyarra fordított A. K. [Перевод двух повестей Амирхана Яники с татарского языка на венгерский]

1987

On the Spirantization of Affricates in Volga Finnish and Volga Turkic Languages. In: *Studia Uralica 4*, Wien, 1987, pp. 264–269.

Рецензия на книгу «Исследования венгерских ученых по чувашскому языку. Ред. М. И. Скворцов, Чебоксары, 1985». In: *Keletkutatás*, Budapest, 1987/ősz, pp. 105–107.

1988

О забытом чувашском наследии Йозефа Папаи. In: *Emlékkönyv Lakó György tiszteletére. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae Tomus 19* (1988), pp. 33–35.

1989

Az 'éjszaka' jelentésű szó a csuvasban [О слове со значением 'ночь' в чувашском языке]. In: *Emlékkönyv Vértes Edit professzor tiszteletére. Folia Uralica Debreceniensia I* (1989), pp. 19–23.

1990

Orosz nyelvészeti szakszöveggyűjtemény (Finnugor szakosok számára). Egyetemi jegyzet. [Хрестоматия лингвистических текстов на русском языке – для студентов финно-угроведов. Учебное пособие] A szövegeket válogatta és a terminológiai szójegyzéket szerkesztette A. K. Budapest, Tankönyvkiadó. 1990, 151 lap.

1991

A volgai török nyelveket ért korai orosz hatás. Kandidátusi értekezés. [Раннее русское влияние на тюркские языки Поволжья. Кандидатская диссертация]. Debrecen, 1991. 250 lap. Kézirat. [Диссертация за соискание ученой степени кандидата филологических наук. На правах рукописи].

A volgai török nyelveket ért korai orosz hatás. Kandidátusi értekezés tézisei. Debrecen, 1991, 9 lap.

Methodische Bemerkungen zur Erwägung der „Umstrittenen tschuwaschischen Etymologien” von M. Adamović In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hung. Tomus 45 (1991). pp. 439–449.

An Old Cultural Term in Chuvash – *këneke* – Borrowed from the Middle Russian In: Slavica (Ежегодник посвящен 80-летию проф. Й. Домбровского), Debrecen 25 (1991), pp. 43–50.

1992

An Old Russian Loan-word in the Volga Turkic Languages. In: Altaic Religious Beliefs and Practices Proceedings of the 33rd Meeting of PIAC (Ed. by G. Bethlenfalvy, Á. Birtalan, A. Sárközi, J. Vinkovics), Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992, pp.1–13.

1993

Why Could the Forefathers of Chuvash Escape the Assimilation to Kipchaks? In: Proceedings of 35th Meeting of PIAC (Ed. by Chieh-hsien Ch'en), Taipei, 1993, pp. 11–15.

1994

Überlegungen zur Differenzierung der tscheremissischen Mundarten anhand von **kqžel'a* 'Hanfhocke' In: Ural-Altäische Jahrbücher, Göttingen, Neue Folge Band 13 (1994). pp. 56–67.

Weitere Beiträge zur Aufdeckung eines internationalen Wanderwortes (Das Wort 'Buch' im Wolgagebiet) In: Bamberger Zentralasienstudien (Hrsg. von I. Baldauf, M. Friederich). Islamkundliche Untersuchungen, Band 185, Berlin, Franz Steiner Verlag 1994, pp. 29–36.

Volga-vidéki etimológiák I. Keresztény tatár *süräkä*. [Этимологии из Поволжского ареала I. Крещенно-татарское *süräkä*] In: Folia Uralica Debreceniensia 3 (1994), pp. 3–6.

1995

Das Wort für Tauchente im Wolgagebiet In: Acta Orientalia Scientiarum Academiae Hung. (In Honour of Prof. Zsuzsa Kakuk) 48 (1995), pp. 261–265.

Рецензия на книгу «Д. Г. Тумашева, *Словарь диалектов сибирских татар*» на венгерском языке. [A szibériai tatár nyelvjárások szótára]. Издательство Казанского Университета, 1992. (255 lap). In: Magyar Nyelvjárások Debrecen, XXXII (1995), pp.169–170.

1996

Ein neues Mitglied der türkischen Wortfamilie mit der Bedeutung 'Zwilling'. In: Symbolae Turkologicae. In Honour of Prof. Lars Johanson on his Sixtieth Birthday. Ed. by Á. Berta, B. Brendemoen, C. Schönig. Series: Swedisch Research Institute in Istanbul. Transactions, vol. 6., Uppsala, 1996, pp.19–21.

Le System verbal Tchouvache comme objet de nouvelles recherches linguistiques. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hung. 49 (1996) pp. 93–129.

Рецензия на книгу „*Tatar teleneŋ dialektologik süzlege* [A tatár nyelv nyelvjárási szótára]. Felelős szerkesztő D. B. Ramzanova, Kazany, Tatarstan kitap näşriyati (459 lap)”. На венгерском языке. In: Magyar Nyelvjárások, Debrecen, XXXIII (1996), pp. 185–186.

Рецензия на книгу «Benzing, Johannes: *Bolgarisch-tschuwaschische Studien*» Herausgegeben von Claus Schönig. Wiesbaden: Harrassowitz 1993. XIV. 142 S. gr.8 Turkologica Hrsg. von L. Johanson, 12. Kart. Dm 78, На немецком языке. In: Orientalische Literaturzeitung 1996/1. Berlin, 1996, col. 64–66.

1997

Páray József csuvas hagyatéka. Naplórészlet, csuvas szójegyzék. [Чувашское наследие Йожефа Папай] Bevezetővel közzéteszi A. K. (Magyar-német párhuzamos kiadás a Kereskedelmi Bank Universitas Alapítványának támogatásával.) Bibliotheka Párayensis (Sorozatszerkesztő Vértes Edit) Vol. VII. Debrecen, 1997, 149 lap.

A Volga-Bulgarian Loan-word in a Kazan Tatar Dialect Spoken in Diaspora. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hung. (In Honour of Prof. Edmund Schütz) 50 (1997), 11–15.

The Theoretical Possibilities of the Chronological Interpretation of the Cheremiss Loan-words in Chuvash in: Historical and Linguistic Interaction

between Inner-Asia and Europe. Proceedings of the 39th Meeting of PIAC. Ed. by Á. Berta. Studia Uralo-Altaica 39. Szeged. 1997, pp.1–10.

К этимологии русского диалектного слова *čebák* 'разновидность шапки'
In: Slavica 28 (1997), 209–214.

Рецензия на книгу «I. M. Agišev, Ä. G. Biišev, G.D. Zäynullina et alii: *Başqört tēlēñeñ hūđlēğē I-II*. Moskva, Russkij jazyk, 1993. 1681 pages. 16,5 x 25 cm. DM 120. Hardbound.ISBN 5-200-01108-6. На английском языке» In: Turkic Languages, Wiesbaden, Vol. I. (1997), pp. 142–144.

Рецензия на книгу «M. E. Hafuz, *Russzko-karaimszkij szlovar. Krümszkij gyialekt*. Moszkva, Insztyitut vosztokovedov.Rosszijszkaja akademija nauk. Obscsesztvo vosztokovedov. Otvetsztvennűj redaktor D. D.Vasziljev.» На венгерском языке. In: Magyar Nyelvjárások, Debrecen, XXXIV (1997), 247–248.

Рецензия на книгу «*Slovar' russkih govorov na territorii Mordovskoj ASSR*. Bukvu „a-g”, Saransk, 1978; „m-n” Saransk 1986, „o-p” Saransk 1993» На русском языке. In: Slavica, Debrecen, 28 (1997), 238–239.

Рецензия на книгу «Aleksandr Vladimirovič Bondarko, *Die Semantik des Verbalaspekts im Russischen*. Beiträge zur Slavistik XXIV. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main-Berlin – Bern – New York – Paris – Wien, 1995» На русском языке. In: Slavica, Debrecen, 28 (1997), 240–241.

1998

Bevezetés az orosz történeti dialektológiába. Egyetemi tankönyv. [Введение в русскую историческую диалектологию. Учебное пособие.] Kossuth Egyetemi Könyvkiadó. Megjelent az MKM tankönyv- és szakkönyvpályázatának valamint a Kereskedelmi Bank Universitas Alapítványának támogatásával. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 106 lap.

On the Characteristics of the Cheremiss linguistic Interferences on Chuvash. In: The Mainz Meeting. Proceedings of the Seventh International Conference on Turkish Linguistics, Mainz. Ed. by L. Johanson, Turkologica 32, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 1998, pp. 667–682

Volgavidéki népek és kultúrák. Habilitációs tézisek. [Народы и культуры Поволжского ареала. Хабилюационные тезисы]. Debrecen, 1998, 15 lap.

1999

Az orosz nyelvtudományi kutatások ötven éve. [Пятьдесят лет исследований по лингвистической русистике] In: A szlavisztika 50 éve a KLTE-n. Főszerkesztő Agyagási Klára. Debrecen, 1999, pp. 158–174.

К вопросу об этногенезе марийцев. In: Acta Orientalia Scientiarum Hungaricae 52 (1999), pp. 293–307.

К истории славизма *deget* ‘колесная мозоль’ в венгерских диалектах. In: Slavica 29 (1999), 23–28.

Egy nagykunsági tájszó: *csabakos*. [Диалектное слово из Великой Кумании: *csabakos*] In: Magyar Nyelvjárások 36 (1999) 83–85.

A cseremisiz etnogenezis rekonstrukciójához [К реконструкции черемисского этногенеза]. In: Ünnepi kötet Szabó Lászlónak. Szerk. Ujváry Zoltán. Debrecen, 1999, pp. 85–94.

Volga-vidéki etimológiák II. Mari *оηaj* – csuvas *may*. [Этимологии из Поволжского ареала II. Мар. *оηaj* – чув. *may*.] In: Folia Uralica Debreceniensia 6 (1999), pp. 1–13.

Megjegyzések a szó(tag)harmóniáról az órosz *degъть* ‘kátrány’ szó vándorlása kapcsán. [Заметки о слоговой и словесной гармонии в связи с распространением древнерусского слова *degъть* в восточноевропейском ареале.] Köszöntő könyv Sebestyén Árpád 70. születésnapjára. In: Magyar Nyelvjárások 37 (1999), 40–48.

Рецензия на книгу «M. Fedotov, *Szlovar csuvaszskih nyehrisztyianszkih licsnih imjon* [A csuvas nem-keresztény személynevek szótára]. Csuvaszskij goszudarsztvennij insztyitut gumanyitarnih nauk. Csebokszari, 1998. 148 lap». На венгерском языке In: Magyar Nyelvjárások 36 (1999), 166–167.

Рецензия на книгу «В. П. Иванов, *Чувашская диаспора*. Расселение и численность. Этногеографический справочник. [V. P. Ivanov, *A csuvas diaspora*. Elhelyezkedés és lélekszám. Nemzetiségföldrajzi zsebkönyv.] Csebokszári 1999. 315 стр.» На венгерском языке. In: Ethnica 1 (1999/3), 22–23.

Рецензия на книгу «Torma József, *Bérem bélé, Íkem ígő*. Mándoky Kongur István emlékére». На венгерском языке In: Karcag – Irodalmi és művészeti periodika 2 (1999), 93–94.

Рецензия на книгу «Bartha Júlia, *Keleti tanulmányok*» [Восточные исследования] In: Karcag – Irodalmi és művészeti periodika 2 (1999), 95.

Редактирование юбилейного издания Славянского института „*A szlavisztika 50 éve a KLTE-n.*” [50 лет славистики в университете им. Л. Кошута.] Magyar-oroszl párhuzamos kiadás. Főszerkesztő Agyagási Klára. ISBN 963 472 384 5. Debrecen, 1999, 345 p. Книга публикуется при поддержке фонда „A Magyar Vidékért”.

2000

В. Г. Егоров – основоположник чувашского источниковедения. In: Чăваш чĕлхи: аваллăхран малашлăха. Ред. Атнер Хусанкай, Чебоксары, 2000, pp. 11–13.

Исследования по славяноведению на страницах 30-и томов ежегодника *Slavica* (1961–2000). (В соавторстве с Золтаном Хайнади.) In: *Slavica* 30 (2000), 9–14.

Az átadó nyelvjárások kérdése a csuvas nyelv mari eredetű jövevényszó-állományában. [О диалектах-источниках марийских заимствований чувашского языка.] In: *Nyelvtudományi Közlemények* 97 (2000), pp. 155–182.

Der sprachliche Nachlaß der Spät-Gorodec Bevölkerung in den tschuwaschi-schen und mariischen Mundarten. In: *Folia Uralica Debreceniensia* 7 (2000), pp. 3–24.

Egy régi probléma új megoldása. (A mari -la, -le és a csuvas -alla/-elle határozórag történetéhez). [Новое решение старой проблемы. (К истории марийского суффикса -la, -le и чувашского -alla/-elle)] *Köszöntő könyv Jakab László 70. születésnapjára. Magyar Nyelvjárások* 38 (2000), pp. 19–23.

Рецензия на книгу «*The Turkic Languages*. Edited by Lars Johanson and Éva Ágnes Csató. Routledge Language Family Description. London-New York, 1998. 474 p.» На английском языке. In: *Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae* 53 (2000), pp. 293–94.

Index triginta voluminis *Annalis Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth nominatae*. In: *Slavica* 30 (2000), pp. 269–300. Соавтор Чилла Кукучка.

Редактирование лингвистического профиля ежегодника *Slavica Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis* 30 (2000).

Редактирование сериала «*Studies in Linguistics of the Volga Region*» Vol. I. (Дмитриева Ю., *Чувашские народные названия дикорастущих растений*) ISBN 963 472 550 3; HU ISSN 1587 284X. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2000. 214 с. Книга публикуется при поддержке фонда ОТКА (Т 029875).

2001

Hungaro-Tschuwaschica. Аннотированный библиографический указатель исследований венгерских ученых XIX-XX века. ISBN 5-87677-030-2. Чебоксары, 2001. 230 стр. Соавтор Дмитриева Юдит. Книга публикуется при поддержке фонда ОТКА (Т 029875.)

Zur Geschichte der tscheremissischen -la/-lä- und der tschuwaschischen -lla/-lle- Adverbial-suffixe. In: *Studia Etymologica Cracoviensia* 6 (2001), pp. 9–14.

Die Spuren der Sprache der Spät-Gorodec Bevölkerung in den mariischen und tschuwaschi-schen Mundarten. In: Congressus nonus internationalis Fenno-ugristarum Tartu 2001. Pars IV., pp. 35–39.

Középbulgár nyelvjárások, középbulgár nyelvállapot. [Среднеболгарские диалекты, среднеболгарское языковое состояние] In: Néptörténet — Nyelvtörténet. A 70 éves Róna-Tas András köszöntése. Szerk. Károly László és Kincses Nagy Éva. ISBN 963 482 550 8. Szeged, 2001, pp. 1–17.

Nyelvi kapcsolatok történeti típusainak vizsgálata a csuvas–cseremiszi nyelvviszonyban. [Изучение исторических типов языковых контактов в чувашско-марийской языковой взаимосвязи] In: Ünnepi könyv Keresztes László tiszteletére. Folia Uralica Debreceniensia 8 (2001), pp. 27–33.

Редактирование лингвистического профиля ежегодника Slavica Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis 31 (2001).

2002

A cseremiszi tényező szerepe a csuvas hangrendszer történeti változásában. Akadémiai doktori értekezés. [Роль черемисского фактора в историческом изменении чувашской фонетической системы. Диссертация за соискание ученого звания «доктора Венгерской Академии наук»] 308 lap. Kézirat. [На правах рукописи. 308 стр.] Debrecen, 2002.

A cseremiszi tényező szerepe a csuvas hangrendszer történeti változásában. Doktori értekezés tézisei. [Автореферат диссертации «Роль черемисского фактора в историческом изменении чувашской фонетической системы»] Debrecen, 2002, 25 lap.

Название *čeremis* в средневековых источниках. In: Пермистика-9. Вопросы пермской и финно-угорской филологии. Отв. ред. И. В.Тараканов. К 60-летию В.В. Кельмакова. Ижевск, 2002, pp. 102–108.

К вопросу о появлении сверхкратких лабиальных гласных в марийских диалектах. Материалы международного симпозиума «Языковые контакты Поволжья» Ред. Йорма Луутонен, Турку, 2002, pp. 70–86.

Çuvaşçada 'ekmek' anlamındaki sözcük. Türkbilig, Ankara, 2002/3, pp. 172–173.

Some Middle Bulgarian Loan-words in the Volga Kipchak Languages. In Honour of Prof. Lajos Ligeti. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungariae 55 (2002) 25–28.

Adalékok az or. *brága* 'házi sör' szó etimológiájához. [Материалы к этимологии русск. *brága* 'домашнее пиво'] In: Cirill és Metód példáját követve... Tanulmányok H. Tóth Imre 70. születésnapjára. Szerk.: Bibok Károly, Ferincz István, Kocsis Mihály. Szeged, 2002, pp. 1–5.

Редактирование сериала *Studies in Linguistics of the Volga Region Supplementum I.* (Bereczki Gábor, *A cseremis nyelv történeti alaktana*). [Габор Берецки, Историческая морфология черемисского языка] HU ISSN 1587 284X. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2002. Книга публикуется при поддержке фонда ОТКА (Т 029875).

2003

Die historische Wandlung der ethnischen Struktur des Wolgagebiets. In: *Die ural-altaischen Völker – Identitäten im Wandel zwischen Tradition und Moderne*’. Hrsg. von Gerson Klumpp und Michael Knüppel. In: *Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica Band 63.* Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2003, pp. 9–14.

Egy volgai bulgár jövevényszó a mari nyelvjárásokban: *šārča* ‘üveggyöngy’. [О волжско-булгарском слове *šārča* ‘бусы’ в марийских диалектах] In: Hajdú Péter Emlékkötet. *Nyelvtudományi Közlemények 100* (2003), pp. 40–45.

Módszertani megjegyzések egyes török eredetűnek meghatározott mordvinföldi víznevek etimológiai minősítéséhez. [Методические заметки к этимологической квалификации некоторых гидронимов Мордовии, определенных раньше как тюркские] In: *Folia Uralica Debreceniensia 10* (2003), pp. 33–40.

Рецензия на книгу „Király Péter, *A kelet-közép-európai helyesírások és irodalmi nyelvek alakulása. A budai Egyetemi Nyomda kiadványainak tanulságai 1777–1848.* Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 3. A sorozatot szerkeszti Udvari István. Nyíregyháza, 2003. ISBN 963 9385 33 6, HU ISSN 1588-8215. 667 lap.” На русском языке. In: *Slavica, Debrecen, 32* (2003), pp. 285–87.

Редактирование лингвистического профиля ежегодника *Slavica Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis 32* (2003).

2004

Отражение северно-великорусской диалектной особенности «ёканье» в русских заимствованиях марийского языка. *Slavica 33* (2004), pp. 43–53.

Etimológiai argumentáció a mordvin szókincs török elemeinek újabb feldolgozásában. [Этимологическая аргументация в новой обработке тюркских элементов мордовской лексики] In: *Folia Uralica Debreceniensia 11* (2004), pp. 3–15.

Редактирование лингвистического профиля ежегодника *Slavica Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis 33* (2004).

2005

Ранние русские заимствования тюркских языков Волго-Камского ареала. Часть I. Этимологический справочник. *Studies in Linguistics of the Volga Region Vol. II.* (Редактор сериала К. Адягаши.) ISBN 963 472 903 7; HU ISSN

1587 284X. Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen, 2005. 213 p. Книга публикуется при поддержке фонда ОТКА (Т 029875).

A Volga-Bulgarian Loan-word in Mari dialects: *šārča 'glas bead'*. In: *Studia Etymologica Cracoviensia* 10 (2005) 9–14.

Отражение диалектных особенностей некоторых русских заимствований в марийском языке. In: *Slavica* 34 (2005–6), pp. 40–48.

Рецензия на книгу „Zoltán András, *Szavak, szólások szövegek. Nyelvtörténeti és filológiai tanulmányok. Kisebbségkutatási könyvek. Budapest, 2005.11.23.*” На русском языке. In: *Slavica, Debrecen*, 34 (2005), pp. 217–221.

Рецензия на книгу „Király Péter, *A lengyel krónikák, évkönyvek és M. Miechow „Tractatus”-ának magyar vonatkozásai. Dimensiones Culturales et Urbanales Regni Hungariae* 8. A sorozatot szerkeszti Udvari István. Nyiregyháza, 2004””. На русском языке. In: *Slavica, Debrecen*, 34 (2005), pp. 221–223.

Mihail Romanovič Fedotov (1919–2003) Некролог на английском языке в соавторстве с А. Рона-Ташем. In: *Acta Orientalia Scientiarum Hungaricae* 58 (2005), pp. 445–446.

Редактирование лингвистического профиля ежегодника *Slavica Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis* 34 (2005).

2006

Миконимы русского происхождения в лексическом составе марийского языка. In: *Slavica* 35 (2006), pp. 21–30.

Mutatvány a készülő cseremiszi etimológiai szótárból. (Bereczki Gáborral) [Образец из готовящегося этимологического словаря марийского языка. В соавторстве с Габором Берецки] In: *Nyelvtudományi Közlemények* 103 (2006), pp. 26–43.

Редактирование лингвистического профиля ежегодника *Slavica Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis* 35 (2006).

2007

Mittelbulgarische Dialekte – mittelbulgarischer Sprachzustand. In: *Einheit und Vielfalt in der türkischen Welt. Materialien der 5. Deutschen Turkologenkonzferenz Universität Mainz, 4.–7. Oktober 2002. Hrsg. von Hendrik Boeschoten und Heidi Stein. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, Turcologica* 69 (2007), pp. 24–36.

Русские глагольные заимствования в лексическом составе марийского языка. In: *Studia Slavica Academiae Scientiarum Hung.* 52 (2007), pp. 13–20.

A *jász* népnév történetéhez (Róna-Tas Andrással). [К истории этнонима *jász*. В соавторстве с А. Рона-Ташем] In: *Nyelvtudományi Közlemények* 104 (2007), pp. 213–221.

Обзор современной языковой ситуации на Украине. (В соавторстве с Тетьяной Ивашкевич.) In: *Slavica* 36 (2007), pp. 227–239.

Редактирование лингвистического профиля ежегодника *Slavica Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis* 36 (2007) категории ERIH „С”.

2008

Место А. Альквиста в истории исследования чувашского языка. In: *Чувашский гуманитарный вестник* 3 (2008), pp. 90–100.

Языки Волго-Камского языкового ареала как источник исследования русской исторической диалектологии. In: *Studia Slavica Academiae Scientiarum Hung.* 53 (2008), pp. 267–274.

August Ahlqvists Stellung in der Geschichte der Erforschung des Tschuwaschischen. In: *Studies in Linguistics of the Volga-Region Vol. IV.*, Debrecen, 2008, pp. XV–XXXV.

От редактора. In: *Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis Vol. I.* Ed. by K. Agyagási. Debrecen, 2008, pp. 7–8.

Vorwort.(mit Eberhard Winkler). In: *Studies in Linguistics of the Volga Region Vol. IV.* Ed. by K. Agyagási. Debrecen, 2008, pp. XI–XIII.

Редактирование сериала «*Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis*» Vol. I. (Живка Колева-Златева, *Славянская лексика звуко-символического происхождения*). HU ISSN 2060-941, ISBN 978-963-473-123-8. Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen, 2008, 355 lap. Книга публикуется при поддержке фонда ОТКА (K 68568).

Редактирование сериала «*Studies in Linguistics of the Volga Region*». Vol. IV. (August Ahlquist, *Tschuwaschiska. Tschuwaschischer Nachlass von August Ahlquist*, Band I Herausgegeben von Klára Agyagási und Eberhard Winkler). HU ISSN 1587 284X; ISBN 978-963-473-118-4. Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen, 2008. LX+ 178 dupla oldal. Книга публикуется при поддержке фонда ОТКА (T 029875).

Редактирование лингвистического профиля ежегодника *Slavica Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis* 37 (2008) категории ERIH „С”.

2009

Traces of the Volga Bulgarian II Dialect in the Mari Vocabulary. In: *Turcological Letters to Bernt Brendemoen.* (Ed. by Éva Csató-Johanson).

The Institute for Comparative Research in Human Culture, Novus Forlag, Oslo, 2009, pp. 15–20.

A jövevényszó mint nyelvtörténeti adat. [Заимствование как языковое данное] In: *Argumentum* 5 (2009) 80–92. (<http://argumentum.unideb.hu>)

The Octogenerian L. P. Sergeev. In: *Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae* 62 (2009), pp. 461–463.

Рецензия на книгу «Gerd Hentschel, Siarhiej Zaprudski (eds.) *Belarusian Trasjanka and Ukrainian Suržyk. Structural and social aspects of their description and categorization*. *Studia Slavica Oldenburgensia* 17. BIS Verlag, Oldenburg 2008. ISBN 978-3-8142-2131-1, 133 pp.» На русском языке. In: *Slavica*, Debrecen, 38 (2009), pp. 260–61.

Редактирование лингвистического профиля ежегодника *Slavica Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis* 38 (2009) категории ERIH „C”.

2010

Loan-words as Data in Historical Linguistics. In: *Data in Historical Linguistics*. Ed. by K. Agyagási. *Sprachtheorie und germanistische Linguistik* 20.2. (2010) 197–222. Nodus Publikationen Münster.

Introduction. In: *Data in Historical Linguistics*. Ed. by K. Agyagási. *Sprachtheorie und germanistische Linguistik* 20.2 (2010) 129–132. Nodus Publikationen Münster.

Редактирование сериала «*Studies in Linguistics of the Volga Region*». Vol. V. (August Ahlquist, *Tschuwaschiska. Tschuwaschischer Nachlass von August Ahlquist, Band II. Grammatik*. Herausgegeben von Klára Agyagási und Eberhard Winkler HU ISSN 1587 284X; ISBN 978-963-318-024-2. Debrecen University Press, Debrecen, 2010, 127 S. Книга публикуется при поддержке фонда ОТКА (Т 029875).

2011

Українсько-російсько-угорський словник лінгвістичної термінології. Соавторы: О. Л. Паламарчук, Г. П. Стрельчук, М. В. Шевченко, Н. Л. Біли, Г. Л. Балаж. Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології. ISBN 9789664393833 Київ. 2011, 521 стр.

Кодокопирование и другие механизмы языковой интерференции. (По фрагментам письменных работ закарпатских студентов на русском языке). Соавтор Леся Мушкетик. In: *Tractata Slavica* Vol. III. Debrecen University Press 2011, pp. 143–153.

Редактирование сериала «*Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis*». Vol. II. (Беата Дьёрфи, *Историческое изменение синтаксического статуса*

причастных оборотов в языке Суздальской летописи.) HU ISSN 2060-941; ISBN 978.963-318-125-6. Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen, 2011, 276 p. Книга публикуется при поддержке фонда ОТКА (К 68568).

Редактирование сериала «Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis» Vol. III. (Исследования по теоретической лингвистике; Материалы симпозиума «Смена парадигмы в венгерской лингвистической русистике» Под редакцией К. Адягаши) HU ISSN 2060-941, ISBN 978-963-318-125-6. Debrecen University Press Debrecen, 2011, 160 p. Книга публикуется при поддержке фонда ОТКА (К 68568).

Sinor Dénes (1916–2011). Некролог на венгерском языке. In: Nyelvtudományi Közlemények 107 (2010–2011), pp. 301–306.

Редактирование лингвистического профиля ежегодника Slavica Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis 38-39 (2011) категории ERIH „C”.

2012

Language Contact in the Volga-Kama Area. In: The Szeged Meeting. Proceedings of the Fifteenth International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22 2010 in Szeged. Ed. by Éva Kincses-Nagy and Mónika Biacsi. Studia Uralo-Altaica 49. ISBN 978 963 306 158 9; ISSN 0133-4239. Department of Altaic Studies, Szeged, 2012, pp. 21–37.

Két orosz eredetű jövevényszó a Volga-Káma vidéki nyelvi areában. [Два заимствования русского происхождения в Волго-Камском языковом ареале] In: Legendák, kódexek források. Tanulmányok a 80 esztendő H. Tóth Imre tiszteletére. A SzTE Szláv Intézetének kiadványa. Szerk. Kocsis Mihály és Majoros Henrietta. ISBN 978 963-306-152-7. Szeged, 2012, pp.13–20.

Рецензия на книгу «Jorma Luutonen, *Chuvash Syntactic Nominalizers. On *-ki and its Counterparts in Ural-Altaic Languages*. Turcologica 88, Herausgegeben von Lars Johanson. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2011.» На английском языке. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 65 (2012).

Рецензия на книгу «András Róna-Tas, Árpád Berta †: *West Old Turkic. Turkic Loanwords in Hungarian*. Part I-II. 1494 pages Turcologica 84, Herausgegeben von Lars Johanson. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2011.» Соавтор Шандор Чуч. На венгерском языке. In: Nyelvtudományi Közlemények 108 (2012).

Редактирование сериала «Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis». Vol. IV. (Ванда Шахвердова, *Иерархия в дискурсе правосудия: власть и подчинение в речи профессионала и гражданина*.) HU ISSN 2060-941, ISBN 978-963-318-178-2. Debrecen University Press, Debrecen, 2012. 193 p. Книга публикуется при поддержке фонда ОТКА (К 68568).

Редактирование сериала «Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis» Vol. V. (Кристина К. Ковач, *Имплицитность как структурная особенность русских печатных рекламных текстов.*) HU ISSN 2060-941, ISBN 978-963-318-230-7. Debrecen University Press, Debrecen, 2012. 195 p Книга публикуется при поддержке фонда ОТКА (К 68568).

Редактирование ежегодника Slavica Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis 40 (2012) категории ERIH „NAT” в качестве ответственного редактора.

Готовится к печати

Tendenzen und Richtungen in der ungarischen historischen Slawistik. In: Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 58 (2013).

Традиционные направления и новые тенденции в венгерской исторической лингвистической славистике. In: *Втора международна научна конференция «Актуални проблеми на балканистиката и славистиката»* Велико Търново, 9–10 ноември 2012. Сборник статей. Ред. Живка Колева-Златева, Велико Търново 2013.

West Old Turkic and the Volga-Bulgarian Loanwords of Cheremis. In: Orientalia Suecana.

Nyugati ótörök és magyar kapcsolatok: tanulmányok az ogur hangtörténet számára. In: *Nyelvelmélet és kontaktológia – Műhelykonferencia előadásai.* Szerk. É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila, Agyagási Klára. Piliscsaba, 2013.

Egy igazi, tökéletes munkakapcsolat – és mögötte az ember: Bereczki Gábor. [Образец настоящего, безукоризненного сотрудничества – и стоящий за ним человек: Габор Берещки] In: *Visszaemlékezések Bereczki Gáborra.* Tallinn.

Редактирование сериала «Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis» Vol. VI. (Gábor Balázs, *Manifestations of Naturalness Principles in Slavic Historical Morphology.*) HU ISSN 2060-941. Debrecen University Press, Debrecen, 2013, 150 p.

Ранние русские заимствования тюркских языков Волго-Камского ареала. Часть II. Историко-этимологический анализ. Studies in Linguistics of the Volga Region Vol. III. HU ISSN 1587 284X. Debrecen University Press, Debrecen.

The Role of Cheremis in Historical Change of the Chuvash Sound-System. Turcologica, Harrassowitz Verlag Wiesbaden, 350 p.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

**РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОКОНЧАНИЯ -ОВЪ В СВЕТЕ ДАННЫХ
СЛАВЯНСКИХ ДИАЛЕКТОВ**

ГАБОР Л. БАЛАЖ

0 Введение

Окончание *-овъ* в праславянском языке, как известно, первоначально употреблялось как маркер родительного падежа множественного числа в парадигме существительных с непродуктивной основой на **-й-* (сюда относятся лишь незначительное число имен существительных мужского рода). По данным старославянских памятников и других славянских языков, однако, данная флексия все чаще стала проявляться и с существительными, относящимися к чрезвычайно продуктивным основам на **(j)ǫ-*. Итак, наряду с нормативными словоформами **сынокъ, домокъ, колокъ** и т. д., уже в старославянских письменных памятниках, например в Супрасельской рукописи, встречаются и такие формы как **бѣсовъ, градъвъ, споловъ, плодовъ, потовъ, трюдовъ, цвѣтовъ** (вместо ожидаемых **бѣсъ, градъ, сполъ, плодъ, потъ, трюдъ, цвѣтъ**) [ВАН-ВЕЙК 1957: 241–5]. Такой процесс загадочной замены господствовавшего окончания *-ь* (а позже и других флексий) значительно менее «престижным» *-овъ* хорошо известен в истории славянских языков и многократно обсуждался в специальной литературе. Здесь я буду ссылаться в первую очередь на такие работы, авторы которых поставили себе цель не только описать этот процесс, но и выявить его возможные причины и его распространение в пространстве и во времени. За несколько столетий *-овъ* стал *суперстабильным маркером*¹ род. п. мн. ч. в склонении отдельных славянских языков (хотя в неодинаковой мере), следовательно он и заслуживает особого внимания².

¹ Термин В. У. ВУРЦЕЛЯ. В *естественной морфологии* суперстабильные маркеры являются окончаниями, независимо распространяющимися от одного флективного класса к другим, и таким образом становящимися более стабильными, чем их исходные флективные классы (парадигмы) [WURZEL 1989: 135–137; DRESSLER *et al.* 1987: 82–3].

² В северной группе славянских языков (за исключением чешского) с появлением категории одушевленности рефлекс *-овъ* употребляются и в винительном падеже множественного числа.

По типу данное изменение Х. АНДЕРСЕН определяет как дедуктивную восстановительную инновацию (*deductive remedial innovation*), которая служит для восстановления прежних различий между означаемыми, ставшими тождественными (омонимичными) вследствие звуковых изменений [ANDERSEN 1980: 10]³. Один синкретизм, однако, сам по себе не может быть причиной данного изменения, так как в парадигмах современных славянских языков до сих пор находим много примеров на разные типы синкретизма. В качестве иллюстрации можно привести неразличение окончаний род. п. ед. ч. и им. п. мн. ч. в ряде флективных классов старославянского (**лѣта, пола, жены, земля, каменѣ, кости**), сербского и хорватского (*stvari, plemena, matere, žene, sela, polja*)⁴, словенского (*kosti, matere, lipe, leta, polja*), чешского (*kosti, mateře, církve, ženy, duše*), словацкого (*kosti, matere, ženy, duše, znamenia*), польского (*kości, matki, radcy, okna, morza*), верхнелужицкого (*města, pola, žony, duše, znamjenja, maćerje*)⁵, русского (*кости, женщины, души, села, моря, мастера*), украинского (*радості, матері, фабрики, надії, міста, прізвища*) и белорусского (*коці, каліны*) языков. Все приведенные примеры свидетельствуют о том, что синкретизм родительного и именительного падежей двух чисел вполне допустим в системе склонений отдельных славянских языков. Значит, причины замены старого нулевого окончания флексией *-ovъ* надо искать в другом месте.

По всей вероятности наиболее обоснованное объяснение данного изменения дал Г. ХЕНТШЕЛЬ [1991], несмотря на то, что в своих наблюдениях он ограничивался отдельными явлениями исторической морфологии русского языка. Ключевое понятие у него – это *конгруэнция системы*⁶. Согласно теории естественности (см. сноску 2) морфологическая система любого агглютинативного или флективного языка определяется факторами конгруэнции (системосообразности). Флективные системы стремятся к усилению черт, уже доминирующих в данной (под)системе. Доминанция характеризуется высокой степенью типовой частотности и/или продуктивности [ср. DRESSLER 2003: 468–9], поэтому даже интуитивное выделение преобладающих свойств, как правило, не представляет трудности. ХЕНТШЕЛЬ в вышеуказанной своей работе [с. 41–43] рассматривает схемы формальной дифференциации как факторы конгруэнции системы в парадигмах древнерусского языка, а затем

³ Как известно, в результате падения согласных в конце слова, окончания им. п. ед. ч. и род. п. мн. ч. у существительных мужского рода на **(j)ǫ-* совпали в *-ъ/-ь*, а затем в *-Ø*.

⁴ Возможны различия в ударении, которые в примерах не отмечаются, так как они не аннулируют проявления синкретизма.

⁵ В нижнелужицком еще и *kosće, nosy*.

⁶ Конгруэнция системы является одним из т. н. системозависимых принципов естественной морфологии, пользующимся приоритетом над всеми остальными системозависимыми и системонезависимыми принципами данной теории [DRESSLER *et al.* 1987: 92–4].

сопоставляет их с данными современного русского. Конкретно он выделяет три схемы синкретизма именительного и родительного падежей единственного и множественного числа древнерусских существительных⁷:

- (1) И ед = Р мн ≠ И мн ≠ Р ед
- (2) И ед ≠ Р ед = И мн ≠ Р мн
- (3) И ед ≠ Р ед ≠ И мн ≠ Р мн

Он справедливо указывает на то, что из приведенных схем уже преобладала (2), так как она была присуща 1) всем существительным женского рода (за исключением двух: *мати* и *дъчи*), 2) подавляющему большинству существительных среднего рода (с основой на **(j)ǫ-*) и 3) существительным мужского рода с консонантной основой. В современном русском языке эта схема стала еще более доминирующей вследствие того, что практически исчез старый тип (1)⁸: существительные мужского рода с основой на **(j)ǫ-* почти полностью перешли в схемы (3) и (2)⁹. Таким образом маркер *-овъ* > *-ов* «смог вытеснить нулевое окончание гораздо более значительного и более стабильного класса на **-o*, потому что тут его присутствие поддерживает развитие в направлении унификации схем дифференциации. Введя маркер */-of/* (и */ej/*), основы на **(j)o* в м. р. получили особое окончание в Р. мн. ч., не совпадающее с окончанием И. ед. ч., значит, они приняли формальную дифференциацию, которая имела во всех других классах уже прежде» [HENTSCHEL 1991: 42–43]. Это в конечном итоге привело к увеличению степени естественности в морфологической системе русского языка.

Кроме конгруэнции, однако, ХЕНТШЕЛЬ обращает внимание на еще одну, вторичную причину: на *конструкционную иконичность*¹⁰, так как окончания, состоящие из двух фонем (*-ов*, *-ей*) выражают максимально иконичное отношение как с формой род. п. ед. ч. (*-a*), так и с формой им. п. мн. ч. (*-ы/-и*). [Старое нулевое окончание, наоборот, была в контраиконичной реляции. Ср. БАЛАЖ 1984: 110–3.] Он затем добавляет следующее, для настоящей темы важное замечание: «Проникновение ненулевых маркеров в Р. мн. ср. и ж. р. с И. ед. на */-a/*, мотивировано, однако, исключительно конструкционной иконичностью. (Здесь формы Р. мн. и И. ед. были различны и после исчезнове-

⁷ Такая «межчисловая» модель совсем допустима, она встречается и намного раньше в литературе, напр. в основополагающей статье Р. ЯКОВСОНА о соотношении родительного падежа и множественного числа в склонении русских существительных [ЯКОВСОН 1957].

⁸ Приблизительно два процента существительных мужского рода типа *солдат*, *бояр*, *славян* осталось в этой группе, ср. [HENTSCHEL 1991: 42].

⁹ Имеется в виду группа существительных м. р. с ударным окончанием *-a* в им. п. мн. ч. (*профессора*, *рукава* и т. д.).

¹⁰ Конструкционная иконичность (или диаграмматичность) является наиболее общим принципом системонезависимой естественности, применение которого восходит к Р. ЯКОВСОНУ, в свою очередь опирающемуся на семиотическую систему Ч. С. ПИРСА [DRESSLER et al. 1987: 48–52].

ния редуцированных гласных ъ, ь, так как имелись ненулевые окончания в И. ед.)» [HENTSCHEL 1991: 43]¹¹. В связи с соотношением системозависимой и системонезависимой естественности ВУРЦЕЛЬ устанавливает, что по всем доказательствам системонезависимая естественность может реализоваться лишь в согласии с конгруэнцией системы, а в конфликте с ней — никогда. В тех случаях, когда конгруэнция системы не играет никакой роли, системонезависимая естественность (в нашем случае конструкционная иконичность) свободно проявляется [WURZEL 1989: 104–7].

Легко убедиться в том, что заключения, сделанные ХЕНТШЕЛЕМ в отношении русского языка, также применимы к другим славянским языкам, ведь исходные условия для последующих изменений везде были общими (уже с праславянского периода): а) синкретизм им. п. ед. ч. и род. п. мн. ч. оказался неконгруэнтным в системе склонения существительных, б) контраиконичное отношение род. п. мн. ч. и род. п. ед. ч., с одной стороны, и им. п. мн. ч., с другой у существительных мужского рода препятствовало проявлению естественности в морфологической системе славянских языков. Следовательно, причины замены нулевого окончания двухфонемным маркером *-овъ* старой **-й-* основы с полным правом можно считать универсальными в истории отдельных славянских языков.

Распространение данного маркера, однако, нельзя считать одинаковым в славянских морфологических системах. В дальнейшем попытаюсь проследить судьбу морфемы *-овъ* сначала в отдельных литературных языках, а затем приведу несколько интересных фактов славянских диалектов, которые немного модифицируют обобщения, сделанные славистами до сих пор на основе стандартных языков.

1 Распространение окончания *-овъ* в отдельных славянских языках

Окончание *-овъ*, как известно, встречается не во всех славянских языках. Так как в современном болгарском и македонском вообще отсутствует именное склонение, естественно, что вместе с остальными флексиями косвенных падежей исчезли и маркеры род. п. обоих чисел¹². В сербском и хорватском языках склонение уцелело, но ни в одной именной парадигме не встречается

¹¹ Ср. им. п. ед. ч. и род. п. мн. ч. существительных ср. р. типа *поле – полей, море – морей, облако – облаков, устье – устьев, копытце – копытцев, болотце – болотцев* и ж. р. типа *тетя – тетей, сводня – сводней, ставня – ставней* и т. д. В теории естественности «сопротивление» флективных классов женского и среднего родов изменениям такого типа (т. е. их большая стабильность) объясняется тем, что «формой репрезентации данного слова во ‘внутреннем словаре’ говорящего является основная форма И. ед., а не основа без эвентуального окончания И. ед.» [HENTSCHEL 1991: 47–8]. Ср. еще [WURZEL 1989: 42–51] и [BREU 1988: 253].

¹² Свообразными остатками окончания *-овъ* можно считать местоименные формы типа *еговъ, неговъ, тоговъ, сеговъ, оноговъ* [ДУРИДАНОВ 1957], а в современном болгарском *негов, негова, негово, негови*.

рефлекс флексии *-ovъ*: в качестве окончания род. п. мн. ч. выступают только морфемы *-ā*¹³, *-ī* и *-ijū*. Несомненно, однако, что более ранние письменные памятники и этих четырех языков тоже свидетельствуют о распространении окончания *-ovъ*¹⁴.

Что касается судьбы данной флексии в остальных славянских литературных языках, она подвергается тщательному анализу особенно в [BREU 1988] и [JANDA 1996], поэтому в последующем я буду ссылаться на обе работы.

Единственный современный южнославянский язык, в котором употребляется окончание *-ovъ* — это словенский. В этом языке все существительные мужского рода в род. п. мн. ч. получают окончание *-ov/-ev* (последнее употребляется после палатальных согласных), за исключением шести слов (*konj, las, mož, otrok, voz, zob*¹⁵). Следует добавить, что большинство односложных существительных м. р. в двойственном и множественном числах перед флексиями имеет слоговой аугмент *-ov-*, восходящий тоже к старым **-j-* основам (как и в сербском и хорватском языках), ср. [DE BRAY 1980a: 344]. За пределами существительных м. р. род. п. мн. ч. *-ov/-ev* не наблюдается.

В русском языке наблюдается похожая ситуация, так как окончание *-ov/-ev* присоединяется главным образом к существительным мужского рода, хотя здесь уже появляются определенные исключения (см. сноски 7 и 10). Кроме того, после палатальных или палатализованных согласных выступает алломорф *-ej* из *-j-* основ¹⁶. Заслуживает внимания спорадическое распространение окончания *-ov* в ср. и ж. р.

В украинском языке флексия *-iv/-iv* (< *-ovъ*) является практически универсальным для существительных м. р., независимо от парадигмы (ср. *суддів* — род. п. мн. ч. от *суддя*). Исключения составляют лишь следующие случаи: 1) существительные м. р. с суффиксом *-ин*, которые получают нулевое окончание в род. п. мн. ч., 2) слова, которые часто выступают в количественных оборотах, напр. *день, раз, рік, чоловік* (с альтернативными формами *день/днів* и т. д.), 3) существительные *кінь, гість, гриш* с формами род. п. мн. ч. *коней, гостей, грошей*. Со временем окончание *-iv/-iv* появилось в женском роде (и в твердых, и в мягких парадигмах) и в среднем роде (только с основами на мягкий согласный). У существительных женского рода, однако, оно является альтернативной флексией, напр. *бaбів/баб, губів/губ, хатів/хат* (но только *матерів*; от форм им. п. ед. ч. *баба, губа, хата, мати*). В среднем роде *-iv/-iv* употребляется небольшим числом существительных, напр. *море — морів, поле — полів, почуття — почуттів, відкриття — відкриттів, прислів'я — прислів'їв, подвір'я — подвір'їв*, ср. [JANDA 1996: 109–110, DE BRAY 1980c: 120–8].

¹³ О возникновении окончания *-ā* см. напр. [JOHNSON 1972].

¹⁴ См., между прочим, примеры из старославянского языка в первом абзаце.

¹⁵ В род. п. мн. ч. *voz* и *zob* имеют дублетные формы *voz/vozov* и *zob/zobov*.

¹⁶ Окончание *-ej* также выражает максимально иконичное отношение, как и *-ov*, в отличие от исходного *-Ø*.

В белорусском окончании *-oŭ/-aŭ/-eŭ/-jaŭ*¹⁷ (в дальнейшем *-oŭ*) охватывает довольно широкий круг слов, так как оно встречается во всех флективных классах. Кроме м. р., где оно является почти исключительным маркером род. п. мн. ч. (за исключением существительных с суффиксами *-anin*, *-janin*, *-in*, *-ын* и слов, часто выступающих в количественных оборотах, напр. *дзень*, *раз*, *чалавек*), данная флексия стала исключительной для мягких основ среднего рода и твердых основ с группой согласных (не допускающих беглых гласных) в конце основы, и альтернативной для всех остальных, с незначительными исключениями (напр. *слова* – *слоў*). В склонении существительных бывших *(j)ā*- и *ī*- основ флексия *-oŭ* типично появляется как альтернатива (ср. *бомба* – *бомб/бомбаў*, *зямля* – *зямель/земляў*, *дробязь* – *дробязей/дробязяў*), в некоторых случаях она является единственно возможной, напр. *роля* – *роляў*, *рэч* – *рэчаў*, *бітва* – *бітваў*, *госця* – *госцяў*. В последних двух примерах безусловно важную роль играет наличие группы согласных в конце основы (см. выше) [JANDA 1996: 110, MAYO 1993: 903–4].

Для польского языка характерно употребление окончания *-ów/-iów* в парадигмах существительных м. р. с твердой основой (включая и те, которые в им. п. ед. ч. оканчиваются на *-a*), и большинства существительных м. р. с мягкой основой. В остальной части последней группы у одушевленных существительных приоритетом пользуется, как правило, окончание *-ów/-iów*, а у неодушевленных — *-y/-i*¹⁸. Одушевленные существительные м. р. из бывшей *-(j)ā* основы в ед. ч. получают окончания ж. р., а во мн. ч. они имеют флексии м. р. Нулевое окончание встречается лишь в следующих случаях: 1) с одушевленными существительными на *-anin*, 2) в названиях местностей *pluralia tantum* (типа *Czechy*), 3) со словом *procent* в сочетании с числительными, 4) с существительными *przyjaciel* и *nieprzyjaciel* и 5) в устойчивых словосочетаниях типа *dotychczas*. Хотя флексия *-ów/-iów* употребляется в мужском роде, она появляется и в среднем (с заимствованиями на *-um*: *gimnazjum* – *gimnazjów*) [JANDA 1996: 107–8, DE BRAY 1980b: 267–81].

В чешском языке окончание *-ů* (< *ovъ*) стал общим для существительных м. р. всех парадигм (ср. *hrdina* – *hrdinů*), за исключением следующих случаев, в которых употребляется нулевое окончание: 1) название местностей *pluralia tantum* типа *Čechy*, 2) существительные, часто встречающиеся в количественных оборотах (напр. *tisíc* – *tisíc*, *peníze* – *peněz*), 3) существительные *přítel*, *nepřítel* и 4) существительные с альтернативными флексиями в род. п. мн. ч. (напр. *den* – *dní/dnů*, *kůň* – *koní/koňů*) [JANDA 1996: 108–9, SHORT 1993: 467–8].

В словацком положение подобное чешскому, даже исключения большей частью совпадают. Существительные м. р. на *-a* также выступают с окончаниями *ǎ*-основ, напр. *sluha* – *sluhov* [JANDA 1996: 109, DE BRAY 1980b: 161–2].

¹⁷ Выбор алломорфа зависит от места ударения и характера предыдущего согласного.

¹⁸ О более подробном распределении флексий род. п. мн. ч. у производных существительных см. [JANDA 1996: 108].

Лужицкие языки представляют особый тип с точки зрения употребления род. п. мн. ч. *-ow*. И в верхне-, и в нижнелужицком данное окончание является общим для всех существительных, независимо от их рода и флективного класса¹⁹. Исключений, когда окончание род. п. мн. ч. заменяется флексией *-i* или *-Ø*, очень мало (напр. *kokoš – kokoši*, *njedźela – njedźel*, *husa – husow/hus*, *lěto – lět*, *jejo – jeji*). Таким образом, *-ow* в этих языках достигло максимальной дистрибуции в системе склонения существительных, ср. [DE BRAY 1980b: 382, 392].

Малочисленные письменные памятники полабского языка не содержат примеры на распространение окончания *-iv/-ev* (< *-ovъ*) за пределами существительных м. р. с основой на *-(j)ǫ* [POLAŃSKI 1993: 808–10].

На основе данных современных славянских литературных языков БРОЙ делает следующее обобщение по поводу окончания род. п. мн. ч.: неразличение флективных типов сильнее всего осуществилось в нижне- и верхнелужицком языках, а за ними следуют сербский, хорватский и белорусский. В лужицких языках произошел следующий морфологический процесс: «1. /o-, jo- → u- (Maskulina), 2. /n. → m., 3. /a-, ja- → o-, jo- (Maskulina), 4. /f. → m., 5. i- → ja-». Все другие славянские языки с небольшими отклонениями остались в промежуточных стадиях этого процесса (при особом положении сербского и хорватского). В данном отношении самыми прогрессивными оказались существительные м. р., а в ср. и ж. роде изменения осуществились реже и медленнее (если вообще). Первичной мотивацией для такого явления по БРОЮ послужил тот факт, что в склонении *-(j)ǫ* основ род. п. мн. ч. и им. п. ед. ч. совпадали в *-Ø*, в то время как в остальных парадигмах такого синкретизма не было²⁰ [BREU 1988: 253].

К несколько иным выводам приходит ЯНДА, которая посвятила целую (и ценную) монографию распространению прежних непродуктивных морфологических окончаний и категорий. Причиной распространения окончания *-ovъ* – кроме упомянутого и БРОЕМ синкретизма – она считает и иконичность данной флексии (см. выше). Рефлексы *-ovъ* она изображает с помощью следующей схемы²¹:

¹⁹ Окончание *-ow* стало единственным маркером и для род. п. дв. ч. (в нижнелужицком в форме *-owu*).

²⁰ См. сноску 10.

²¹ Сербским, хорватским и лужицкими языками ЯНДА не занимается в своей работе.

Русский
твердые основы м. р.

Белорусский
все склонения

Польский
твердые основы м. р.;
одушевленные *a*-основы м.
р.; основы ср. р. на *-ит*

Украинский
основы м. р.; одуше-
вленные *a*-основы; мягкие
основы ср. р.

Чешский и словацкий
основы м. р.; одуше-
вленные *a*-основы м. р.

Словенский
основы м. р.

По этой схеме ЯНДА устанавливает, что существует ясная линия возрастающего применения *-овъ* с юго-запада на северо-восток, кульминируя в почти универсальном распространении данного окончания в белорусском²², продолжая с крутым спадом по пути к русскому языку [JANDA 1996: 113–4].

Какими наглядными и элегантными ни представляются приведенные схемы ЯНДЫ и БРОЯ, они неизбежно немного упрощают факты, так как они ограничиваются анализом славянских литературных языков. Вовлечением морфологических данных отдельных диалектов в исследование, нарисованную выше картину можно уточнить и дополнить, ср. [AGYAGÁSI 1998: 6].

Ниже я приведу несколько примеров из диалектов польского и русского языков, чтобы проиллюстрировать обоснованность такой точки зрения, естественно не претендуя этим на полноту.

2 Данные славянских диалектов

В кашубском диалекте²³ польского языка *-ów* является типичным окончанием существительных м. р., (*chłop – chłopów, kón – koni/koniów*), но оно употребляется и в других родах. В среднем роде *-ów* выступает как альтернативная флексия (ср. *miasto – miast/miastów, sërce – sërc/sërców*), но нулевое окончание здесь более обычное. В женском роде, однако, где тоже встречаются обе флексии (ср. *rzéka – rzék/rzéków*), на севере кашубского ареала предпочитается \emptyset , в то время как на юге гораздо чаще употребляется именно *-ów* [STONE 1993: 768–772]. Таким образом кашубский занимает типологиче-

²² Если берем в расчет и лужицкие языки, они несомненно займут высшую ступень распространения *-овъ* (как у БРОЯ).

²³ Нет единогласия относительно статуса кашубского, так как некоторые считают его самостоятельным языком, который стал диалектом лишь благодаря политическим соображениям, ср. [STONE 1993: 759–761].

ски переходное положение между морфологическими системами польского и лужицких литературных языков. МЕНЦЕЛЬ в своей монографии, посвященной вопросам исторической морфологии польского языка, указывает на то, что такое положение характерно для польских диалектов вообще, в которых окончание */-uf/* употребляется в качестве продуктивного маркера род. п. мн. ч. во всех парадигмах склонения имен существительных. Небезынтересно, что данный маркер такой же продуктивностью пользуется и в детской речи [MENZEL 2000: 270–5].

В диалектах русского языка подобным образом можно наблюдать более широкое распространение */-of/*, нежели в литературном языке. КУЗНЕЦОВ суммирует положение так: «В некоторых говорах, именно в южных, тенденция объединения всех родов во множественном числе осуществляется в большей степени, чем в литературном языке. Это выражается в том, что окончание *-ов* распространяется также на средний и женский род. Говорят, например, не только *местов, делов* (в этих двух словах окончание *-ов* встречается едва ли не во всех говорах, возможно оно и в московском просторечии), но также *болóтов, озёров* [...], *ба́бов, ло́жков, ба́нев* – „бань“ и т. д.» [КУЗНЕЦОВ 1960: 97]²⁴.

На эти явления обратил внимание еще раньше и ШАХМАТОВ, который приводит много примеров из конкретных русских говоров. Такие примеры существительных ж. р. как *кохточков, девушкав, песняв, палков, избов* и т. д. он объясняет тем, что они заменяли формы с вставочными гласными *о, е*, а формы типа *книгов, комнатав, фабрикаф, тетрадяв, картов* и подобные тем, что они попали в народную речь из книжной [ШАХМАТОВ 1957: 352–3]²⁵. В среднем роде он считает распространение *-ов* особенно значительным (но не исключительным) у слов, в им. п. мн. ч. имеющих ударное окончание *-а*, напр.: *полёв, телов, войсков, мястов, дялоф, пивов* [с. 354].

Наиболее систематичный обзор распространения окончания *-ов* (вместе с другими алломорфами род. п. мн. ч., *-ей* и *-Ø*) осуществляется в монографии БРОМЛЕЙ и БУЛАТОВОЙ. Они классифицируют существительные по соотношению основ ед. и мн. ч., роду и другим свойствам, и устанавливают двенадцать метаклассов²⁶: 1) корреляты существительных м. р. с основой, равной основе ед. ч. и оканчивающиеся или парным твердым согласным, или задненебным, или *j* (*дома, колхозы, луга, старики, края* и т. п.); 2) корреляты существительных м. р. с основой, равной основе ед. ч. и оканчивающейся на парный мягкий согласный (*учителя, гвозди* и т. п.); 3) корреляты существ-

²⁴ Ср. еще: «Более широкое сравнительно с русским литературным языком распространение окончания *-ов* получило в говорах, а также в белорусском и украинском языках» [БОРКОВСКИЙ–КУЗНЕЦОВ 2006: 189].

²⁵ У Шахматова после каждого примера отмечается и его место происхождения, что, конечно, интересно для диалектологов, а для настоящего анализа это не имеет особого значения.

²⁶ См [БРОМЛЕЙ–БУЛАТОВА 1972: 106–8].

вительных среднего рода с основой на парный мягкий согласный (*поля, горя* и т. п.); 4) корреляты существительных III типа склонения (*лошади, печи* и т. п.); 5) корреляты существительных м. р. с основой на *-j-* (суффиксальный); 6) на *-ц*; 7) на твердые шипящие; 8) на мягкие шипящие; 9) корреляты существительных ср. р. с основой не на парный мягкий согласный; 10) корреляты существительных I типа склонения; 11) существительные с суффиксом *-at-* и *-он'at-* в основе мн. ч.; 12) существительные с суффиксом *-ан-* в основе мн. ч. Распределение алломорфов род. п. мн. ч. выглядит следующим образом: 1) — это ядерный класс алломорфа *-ов* (с вариантом *-ох*); 2), 3) и 4) — это ядерный класс алломорфа *-ей*, но во многих говорах употребляется и окончание *-ов* (частично как алломорф окончания *-ей* (в разных словах), частично как его факультативный вариант (в одних и тех же словах)); 5), 6), 7) и 8) — эти существительные в одних говорах имеют окончание *-ов*, а в других *-ей* (в пределах одного говора они в одних случаях все имеют *-ов* или все *-ей*, но чаще распределяются так или иначе); 9), 10), 11) и 12) — все эти существительные образуют ядерный класс алломорфа *-Ø*, но они являются разными предельными классами для других алломорфов; таким образом, существительные всех этих классов могут употребляться с окончанием *-ов*. «Чаще всего из этих четырех классов окончание *-ов* отмечается у коррелятов существительных среднего рода с основой на твердую согласную и у коррелятов существительных женского рода. При этом окончание *-ов* никогда не вытесняет полностью нулевого окончания, а употребляется наряду с ним, частично как его алломорф, частично как факультативный вариант» [БРОМЛЕЙ–БУЛАТОВА 1972: 107–8]. Во второй части своей книги авторы приводят конкретные примеры из четырех русских говоров: *м'эс'ацев, д'ад'ев'йов, волосов, сапогов* [говор села Ладва Прионежского района, с. 297], *сапок/сапогов, вал'енков, дож'ж'ов, малышов, шкуров, д'елов, плат'йов* [говор деревень Окатово и Вороны Шабалинского района Кировской обл., с. 335], *д'алов* наряду с *д'ел, зв'оздъв* [говор села Огорь Жиздринского района Калужской области, с. 375], *завиленев, дуплев, мочев, болезнев, крыл'йиф, прут'йиф, сват'йов, уалкъв, кажов, кошкъв, свадбав, йабл'инав, плеток/плетков, бапкав, д'эвушкав* [говор деревни Деулино Рязанского района Рязанской области, с. 418–9]²⁷.

Из выше приведенных данных диалектов польского и русского языков однозначно можно установить, что на основе своих говоров они принадлежат в тот же тип, как и белорусский, т. е. рефлексы окончания *-овъ* — хоть бы факультативно — употребляются *во всех флективных классах* (во всех типах

²⁷ Здесь даются только «нестандартные» примеры, в цитированной книге, конечно, можно найти намного больше примеров на все метаклассы.

склонения) существительных. Это относится и к детской речи и определенным социальным диалектам²⁸.

3 Итоги

Чем объясняется такая, довольно значительная разница в распространении флексии род. п. мн. ч. между литературными и диалектальными вариантами славянских языков? Ответ на этот вопрос следует искать в неодинаковых степенях осуществления морфологической естественности. По поводу истории польского языка МЕНЦЕЛЬ отмечает, что естественный процесс, приводивший к коренной перестройке засвидетельствованного старославянским языком состава маркеров род. п. мн. ч. закончился еще в древнепольском. Для последующего времени, однако, можно предположить несколько конфликтов естественности, полное регулирование которых стандартным языком безусловно задерживалось. В детской речи и диалектах, с другой стороны, индифферентное к роду кодирование через */-uf/* осталось постоянным. То же самое относится и к слабо нормализованным языкам (как напр. верхне- и нижнелужицкий), которые демонстрируют еще сильнее валидность принципа *конструкционной иконичности* (диаграмматичности), чем литературные языки вообще [MENZEL 2000: 270–5]. Все это, конечно, применимо и к остальным группам славянских языков. Подводя итоги наблюдений, сделанных выше, можно установить, что реализация *языковой нормы* замедляет действие системонезависимых семиотических факторов в литературных языках, но не (или гораздо меньше) в диалектах²⁹. В системе существительных ср. и ж. р. именно таким фактором является диаграмматичность, вследствие чего распространяются рефлексы старого окончания *-овъ*, заменяя при этом нулевое окончание во всех трех родах. В теории естественности норма является четвертым уровнем анализа языка, следуя за системонезависимыми универсалиями (как напр. иконичность), языковой типологией и системозасимыми принципами (как напр. конгруэнция определенной системы), ср. [DRESSLER et al. 1987: 9]. Поэтому она и может модифицировать или тормозить действие принципов более низких уровней языка, в данном случае — конструкционной иконичности. Проведенный выше анализ таким образом подкрепляет правильность и применимость данной теории в диахронной морфологии славянских языков.

²⁸ Ср. например следующие русские примеры с интернета: *вся правда в выборе судьев* (вм. *судей*), *учебничек для взрослых дядев* (вм. *дядей*) и *тётев* (вм. *тётей*), *наивность дедушков* (вм. *дедушек*) — *штука тонкая* и т. д.

²⁹ О влиянии языкового стандарта на диалекты см. [BENKŮ 1988: 226 и сл.].

Библиография

- БАЛАЖ 1984: Балаж, Г. Опыт применения семиотических средств в исторической славистике // *Dissertationes Slavicae: Sectio Linguistica XVI*, 131–143.
- БОРКОВСКИЙ–КУЗНЕЦОВ 2006: Борковский, В. И., Кузнецов, П. С. Историческая грамматика русского языка. Москва: КомКнига (URSS).
- БРОМЛЕЙ–БУЛАТОВА 1972: Бромлей, С. В., Булатова, Л. Н. Очерки морфологии русских говоров. Москва: Наука.
- ВАН-ВЕЙК 1957: Ван-Вейк, Н. История старославянского языка. Москва: Издательство иностранной литературы.
- ДУРИДАНОВ 1957: Дуриданов, И. Пътят на българския език от синтетизъм към аналитизъм // *Христоматия по история българския език*. София: Наука и изкуство, 1983, 259–272.
- КУЗНЕЦОВ 1960: Кузнецов, П. С. Русская диалектология. Москва: УЧПЕДГИЗ.
- ШАХМАТОВ 1957: Шахматов, А. А. Историческая морфология русского языка. Москва: УЧПЕДГИЗ.
- AGYAGÁSI 1998: Agyagási K. Bevezetés az orosz történeti dialektológiába. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó.
- ANDERSEN 1980: Andersen, H. Morphological change: Towards a typology // Fisiak, J. (ed.) *Historical Morphology*. The Hague / Paris / New York.
- BENKŐ 1988: Benkő L. A történeti nyelvtudomány alapjai. Budapest: Tankönyvkiadó.
- BREU 1988: Breu, W. Die Entwicklungstypen der Flexionsformen des Genitivs im Plural der slavischen Sprachen // *Studia indogermanica et slavica*. Festgabe für Werner Thomas zum 65. Geburtstag. München, 237–253.
- DE BRAY 1980a: Guide to the South Slavonic Languages. (Guide to the Slavonic Languages, Third edition, Revised And Expanded, Part 1) Columbus: Slavica.
- DE BRAY 1980b: Guide to the West Slavonic Languages. (Guide to the Slavonic Languages, Third edition, Revised And Expanded, Part 2) Columbus: Slavica.
- DE BRAY 1980c: Guide to the East Slavonic Languages. (Guide to the Slavonic Languages, Third edition, Revised And Expanded, Part 3) Columbus: Slavica.
- DRESSLER 2003: Dressler, W. U. Naturalness and Morphological Change // Joseph, B. D., Janda, R. D. (eds.) *The Handbook of Historical Linguistics*. Malden / Oxford / Melbourne / Berlin: Blackwell, 461–471.
- DRESSLER et al. 1987: Dressler, W. U., Mayerthaler, W., Panagl, O., Wurzel, W. U., Leitmotifs in Natural Morphology. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.
- HENTSCHEL 1991: Hentschel, G. Роль схем формальной дифференциации в историческом развитии флективной системы русского существительного // *Russian Linguistics* 15, 31–51.
- ЯКОБСОН 1957: Jakobson, R. The Relationship between genitive and plural in the declension of Russian nouns // *Scando-Slavica* 3, 181–186. [Repr.:] *Selected Writings II. Word and Language*. The Hague / Paris: Mouton, 148–153.
- ЯНДА 1996: Janda, L. A. Back from the brink: [a study of how relic forms in languages serve as source material for analogical extension]. München / Newcastle: LINCOM EUROPA.
- ДЖОНСОН 1972: Johnson, D. J. L. The Genesis of the Serbo-Croatian Genitive Plural in -ā // *The Slavonic and East European Review* L (120), 333–358.
- МАЙО 1993: Mayo, P. Belorussian // Comrie, B., Corbett, G. G. (eds.) *The Slavonic Languages*. London / New York: Routledge, 887–946.

- MENZEL 2000: Menzel, Th. Flexionsmorphologischer Wandel im Polnischen. (= Studia Slavica Oldenburgensia 5) Oldenburg.
- POLAŃSKI 1993: Polański, K. Polabian. // Comrie, B., Corbett, G. G. (eds.) The Slavonic Languages. London / New York: Routledge, 795–824.
- SHORT 1993: Short, D. Czech // Comrie, B., Corbett, G. G. (eds.) The Slavonic Languages. London / New York: Routledge, 455–532.
- STONE 1993: Stone, G. Sorbian // Comrie, B., Corbett, G. G. (eds.) The Slavonic Languages. London / New York: Routledge, 593–685.
- WURZEL 1989: Wurzel, W. U. Inflectional Morphology and Naturalness. Dordrecht / Boston / London: Kluwer.

Abstract

The Spread of the Ending -овъ in the Light of Slavic Dialects

The originally unproductive Slavic Genitive Plural ending -овъ has become one of the most widely used nominal flexions in the inflectional systems of the majority of contemporary Slavic languages. Its triumphant spread has been accounted for by researchers using different factors, including the most promising approach offered in the spirit of natural morphology. However, very little attention has been paid so far to the role of Slavic dialectal data in clarifying the given phenomenon. This paper aims at illustrating that the inclusion of this kind of evidence helps to make the picture heretofore delineated more accurate and detailed. Some questions of the relationship between naturalness processes and language norm are also touched upon.

ПРОЦЕСС ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАТЕГОРИИ ДЕЕПРИЧАСТИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

БЕАТА ДЬЕРФИ

0 Введение

Клара Адягаши была (и до сих пор является) моим научным руководителем. Когда я начала аспирантуру, моя ситуация была особенно благополучна по отношению к другим докторантам, в том смысле, что как ученый с разветвленным интересом она предлагала мне для изучения ряд потенциальных тем. Наверно я в какой-то мере разочаровала ее, когда вместо этимологии, вопросов диалектологии или проблемы изучения чуждых лексем темой моего докторского исследования я выбрала исторический синтаксис русского языка. Все-таки изучение и более того, объяснение диахронных явлений языка остались нашим общим кругом интересов.

Данная статья посвящена теме, которая долгое время интересует меня – формированию частеречной категории деепричастия в русском языке. Деепричастие уже долгое время находится в центре лингвистических исследований и на общем и на русском фоне из-за его противоречивого характера: как категория оно не существует в ряде языков, а в тех языках, в которых существует, оно характеризуется значительным разнообразием.

Русское деепричастие восходит к кратким действительным причастиям общеславянского языка. Действительные причастия по пути развития изменяли свою синтаксическую функцию от атрибутивной к обстоятельственной, т.е. краткие причастные формы, прежде примыкающие к имени, со временем стали примыкать к глаголу. Функциональное изменение сопровождалось и формальным преобразованием, так как данные причастия потеряли склонение и согласование со своим именем в роде. Поскольку функциональная смена имела постепенный характер, в ходе развития возникали и функциональные отклонения или «запасные пути», как предикативная функция кратких причастий, или именительные или дательные самостоятельные конструкции.

В настоящем исследовании делается попытка проследить процесс становления данной частеречной категории в русском языке на основе изучения кратких причастий в двух памятниках древнерусской письменности.

Статья организована следующим образом: в первой части дается краткий обзор интерпретации деепричастий в современном русском и в общем языкознании. Во втором разделе представляется история становления категории деепричастия в древнерусском языке. В третьей части представляется функ-

циональное разнообразие кратких причастий на материале двух памятников. А в последней части подводятся итоги.

1 Трактовка деепричастия: пестрота мнений

В отношении деепричастия существуют весьма разнообразные мнения, касающиеся его определения, набора грамматических категорий. В данной части перечисляются взгляды относительно данной категории, бытующие как в русском так и в общем языкознании.

1.1 Трактовка деепричастия в русском языкознании

При обзоре релевантных глав грамматик русского языка, обнаруживается, что среди ученых нет единства уже в определении грамматического статуса деепричастия¹. В первой русской грамматике, в Российской грамматике Ломоносова [ЛОМОНОСОВ 1755] – наверно под влиянием диахронии – деепричастия трактуются как разновидности причастий. Деепричастие как самостоятельная часть речи, первый раз упоминается у Овсяннико-Куликовского [ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСКИЙ 1912] и подобная классификация встречается у Пешковского [ПЕШКОВСКИЙ 1956/2001]. Богородицкий [БОГОРОДИЦКИЙ 1935] причисляет деепричастия к наречиям, а Виноградов [ВИНИГРАДОВ 1972] считает деепричастие гибридной наречно-глагольной категорией.

Хотя в разных трудах деепричастию посвящен целый раздел, все-таки оно [ГВОЗДЕВ 1958, РУССКАЯ ГРАММАТИКА 1980, ЗАЛИЗНЯК 1980] рассматривается как «форма глагола». Необходимо здесь упомянуть, что «форма» также определяется по-разному: в Русской грамматике [1980] она определяется как атрибутивная, у Гвоздева [1958] как неспрягаемая, а у Зализняка [1980] как неличная.

По вопросу об определении морфологических признаков деепричастия выделяются два мнения. Согласно первому, деепричастие обладает категорией времени [ЧЕРНЫШЕВ 1915, ЛОМТЕВ 1954, ЗАЛИЗНЯК 1980]. Данная точка зрения наверно сложилась по специфике значений деепричастий, поскольку они выражают одновременность или предшествование. Согласно этому взгляду различаются деепричастия настоящего и прошедшего времен. По второму мнению [ВИНИГРАДОВ 1972, РУССКАЯ ГРАММАТИКА 1980] деепричастия характеризуются категорией вида. Данная категория соответствует виду глагола, от которого деепричастие образовано.

¹ Для более подробного обзора интерпретации деепричастия см. АБДУЛХАКОВА 2007.

1.2 Деепричастия на универсальном фоне

В общелингвистической литературе наблюдается подобная упомянутой картина, так как деепричастие и на универсальном фоне имеет противоречивый характер. Самым наглядным доказательством этого является тот факт, что существует ряд названий для данной части речи: адвербиальное причастие, конверб, герундий и даже абсолютная конструкция [BROWN 2006: 145].

Согласно большинству дефиниций деепричастие определяется как форма глагола. Некоторые дефиниции подчеркивают его функцию (т. е. обозначение адвербиального подчинения или связывание клауз) [HASPPELMATH 1995: 3, COURE 2006: 145], другие его зависимый характер [NEDJALKOV 1995: 97], а третьи лишь перечисляют его признаки [AUWERA 1998:281].

Имеются определения, которые рассматривают деепричастия в качестве самостоятельной части речи [КАЛИНИНА 2001:20].

Из вышеупомянутых мнений можно прийти к выводу, что ключевыми определительными признаками деепричастий на универсальном фоне должны быть: нефинитность, зависимость от матричного глагола и адвербиальный характер.

2 Деепричастия древнерусского языка

Трактовка деепричастий на диахронном фоне также поднимает терминологические проблемы. В большинстве исторических грамматиках исследуемые здесь формы упоминаются как краткие причастия действительного залога [ИВАНОВ 1983, ЧЕРНЫХ 1954, КОЛЕСОВ 2005] или как именные действительные причастия [БОРКОВСКИЙ–КУЗНЕЦОВ 1963]. Зализняк предлагает использовать термин «согласуемые деепричастия», поскольку «по своей синтаксической функции они сходны с нынешними деепричастиями, отличаясь от них, однако тем, что согласуются своим агенсом в числе и роде» [ЗАЛИЗНЯК 2004: 134].

Хронология процесса превращения кратких действительных причастий в деепричастия определяется в учебной литературе неоднозначно. Разные мнения встречаются по поводу времени начала переходного процесса.

Обособление отдельных форм парадигмы дает о себе знать в памятниках XI–XIII вв. Как В. В. Колесов отмечает: «формирование деепричастий, по согласному мнению историков, происходило в XIII–XIV вв., к концу XIV в уже завершилось как образование категории, но еще долго вырабатывало универсальные формы своего выражения» [КОЛЕСОВ 2005: 603].

Мнения исследователей расходятся и по вопросу завершения процесса формирования деепричастия. По поводу деепричастий на *-а/-я* Черных замечает, что в XIII–XIV вв они, по всей видимости, были уже вполне нормальным явлением в русском языке [ЧЕРНЫХ 1962: 282]. По мнению Потебни уже в конце XIV в. существовало деепричастие как вполне определившаяся часть речи, хотя оно отличалось от современного деепричастия [ПОТЕБНЯ 1954: 186]. Борковский и Кузнецов высказывают взгляд, что «в памятниках второй

половины XIV в. (в это время широко распространены случаи без согласования причастия) и в произведениях XV в. (причастие, как правило, употребляется в застывшей, неизменяемой форме) именная форма действительного залога причастия превратилась в деепричастие» [БОРКОВСКИЙ–КУЗНЕЦОВ 1963: 351]. Никифоров считает, что деепричастие как самостоятельная категория появилась в XVI в. [НИКИФОРОВ 1952: 273], большинство исследователей же временем формирования считает XVII в. [СПРИНЧАК 1965, СТЕЦЕНКО 1977].

Возникает вопрос, по каким критериям можно говорить о возникновении новой части речи. Конечно, для разграничения причастий и деепричастий решающей является формальный критерий, т. е. нарушение согласования между причастием и существительным. Данный факт служит основанием для ранней датировки начала процесса. Однако, существенным критерием является и грамматическое значение, и синтаксическая функция данных форм [АБДУЛХАКОВА 2007:6]

3 Функциональный анализ причастных форм

В данной части изучаются функциональные роли кратких действительных причастий в двух корпусах. На основе полученных результатов посмотрим, в каком направлении пошло развитие данной категории за двести лет.

Материалом анализа я выбрала два памятника древнерусской письменности: *Суздальская летопись по Лаврентьевскому списку* (СЛ), которая возникла в XIV веке, т. е. в период, когда категория деепричастия была еще в процессе формирования и *Повесть о приходе Стефана Батория на град Псков* (ППСБ), которая была написана в XVI веке, т. е. в то время, когда деепричастие, как самостоятельная часть речи уже установилась.

Кроме хронологических факторов выбранные корпуса оказались подходящими для анализа и потому, что с одной стороны, они содержат множество причастных форм, а с другой, потому что данное употребление причастий встречается прежде всего в памятниках книжно-литературного стиля, отражающих гибридный² язык.

3.1 Второстепенный предикат

Самой распространенной функцией кратких действительных причастий является функция второстепенного предиката. Термин «второстепенный предикат» восходит к Потембне, поскольку он разработал вопрос о предикативности и относительной самостоятельности именной формы причастия действительного залога в именительном падеже. Он называет данное сказуемое «второстепенным», так как оно является близким, тяготеющим к главному, глагольному сказуемому, но все-таки не равносильным.

² Гибридным называется язык, который соединяет церковнославянские и восточнославянские элементы.

Истрина высказывает мнение, что второстепенный характер дает о себе знать и на семантическом плане, так как действие, обозначенное второстепенным предикатом является также второстепенным со стороны наррации [ИСТРИНА 1923:80]

С формальной точки зрения данные формы называются аппозитивными: «аппозитивными считаются причастия, подлежащее которых совпадает с подлежащим предложения, и которые употребляются в таких причастных оборотах, которые можно превратить в придаточные предложения цели, времени, причины и условия [POZSGAI 2009:431].

подавляющее большинство кратких причастий употребляется в этой функции.

- (1) **В волости же и в села и в засады непрестанно посылала всякие запасы в город возити велаше.** ППСБ 54
- (2) **И сие звидев, в мале дръжине в Ниневию збежа и тамо от своих детей збиги вгьсть.** ППСБ 53
- (3) **кнѧ же великыи прише ста ѡ города проньска в днь свѣтныи** СЛ 431

Причастия могут быть расположены и препозитивно и постпозитивно по отношению к матричному глаголу. Но препозиция постепенно заменялась на постпозицию, которая способствовала образованию деепричастия. Колесов замечает, что кроме постпозиции краткое причастие «осложнялось пояснительными словами наречного характера, часто употреблялось в предложных конструкциях, что повышало степень его «наречности», как и возможность создавать предложения при опущенном подлежащем» [КОЛЕСОВ 2005: 603]

- (4) **Он же ...ни ко зшесам своим слышати о мирѡ хотѧ, госѡдаревых же послов безучесными и бездельными словесы своими отказав.** ППСБ 42
- (5) **и придоша по нь плесковичи сдѡмавшѧ с новгородци** СЛ 305
- (6) **приде изъславъ из ѧвагорода бывъ ѡ братьи своеѧ** СЛ 311

Интересно заметить, что краткие причастия обоих текстов употребляются в первую очередь препозитивно.

3.2 Предикативная функция

Употребление кратких действительных причастий в предикативной функции наблюдается в первую очередь в памятниках, отражающих книжно-литературный язык.

Данное явление по всей вероятности объясняется двумя факторами: усилением предикативности, что приводило к указанию на второстепенное действие в высказывании, и из-за промежуточного характера данной формы с переосмыслением данных конструкций книжниками.

Краткие причастия могли образовывать составное сказуемое с глаголом-связкой, однако в изучаемых текстах встречается только 4 таких примера. Например:

- (7) ...и возмем его, яко нестъ избавляя и. ППСБ 71
- (8) Како речете окаянии, яко нестъ избавляя и. ППСБ 72
- (9) такоже и сии князѣ Александръ вѣ повѣжати а не повѣди СЛ 477

Были возможны такие употребления кратких причастий, где не обнаруживалось никакого финитного глагола с тем же подлежащим, от которого их можно было бы считать зависимым, т. е. нет глагола-вершины «традиционного типа» [САХАРОВА 2007а: 108]. В корпусах встречаем множество примеров, где причастие выступает единственным предикатом независимого предложения.

- (10) Яндрѣва же дружина приѣздуе к немѣ СЛ 323
- (11) князь же всеволодъ стоявъ школо города ꙗ днѣ СЛ 390
- (12) К вогородицѣ о спасеннѣ градѣ Псковѣ и живущих в нем змильнѣ молитица. ППСБ 70

Самостоятельность причастного предиката подчеркивается и усиливается включением союзов между глаголом и причастием как однородными членами [НИКИФОРОВ 1952: 251, КОЛЕСОВ 2005:604]

- (13) Против же каменныа стены, подалее, дровяныа стены делати наущинаше и всякиа крепости зготовляа, для пробитиа от нападѣ каменныа стены от литовских людеѣ. ППСБ 63
- (14) Сии же словесы лѣкавыми наказав извъшних своих гетманов и рохнистов и всего воѣска своего, и тако распѣстив их, коегождо на свое панство. ППСБ 45
- (15) И донде стѣславъ черниговѣ и згадавше князи черниговѣстии и послаша къ изѣславѣ СЛ 315

Причастная форма может распространяться вспомогательными словами, с помощью которых выделяется новый предикативный центр в высказывании [КОЛЕСОВ 2005: 604].

(16) Крепко во, рекъ, литва со стѣны града с Покровские вашии и со всего пролома литовское воинство с рѣским воинством вѣющеся.

ППСБ 74

(17) Сми же к городѣ приближившеся, во храм Никиты мѣуеника, от града тако поприще едино.

ППСБ 67

(18) въшигородѣ же дѣдѣ затворивъ врата своего мстислава а сѧ иде по помочь в галичь

СЛ 365

В тексте Повести широко встречается смешение кратких причастий на *-аще*, *-яще* с формами имперфекта глаголов. Полагают, что «условия для подобного смешения могло создавать формальное сходство ш-причастий с претеритами (с аористом слышав- слыша), с имперфектом и аористом единственного и множественного числа (слышавъше – слышаша – слышаше)» [НИКИФОРОВ 1952: 264, ЖИВОВ 1995, САХАРОВА 2007а].

(19) Государевы же бояре и воеводы своя дела безпрестанно творяще, наряду места творяще и наряд розставляще, где в коем месте угодно стояти.

ППСБ 58

(20) Бояри же и воеводы из большого наряду и тамо стреляти веляще, и тамо же от псковского наряду леси преклони и многие полки прислонив.

ППСБ 60

3.3 Именительный самостоятельный (ИС)

Самостоятельные конструкции являются присущими индоевропейским языкам. Относительно причины их возникновения существуют разные предположения, но по всей вероятности, они служили для выражения подчиненной связи³.

Именительным самостоятельным называется конструкция с кратким причастием в именительном падеже, для которой нет глагольной вершины с тем же подлежащим, т. е. данные обороты содержат эксплицитно выраженный субъект, который не совпадает с субъектом главного предложения. Согласно Сахаровой: «надо полагать, что употребление ИС в исследуемом летописном тексте демонстрирует раннюю стадию процесса превращения в книжном языке средневековой Руси причастных по происхождению форм в полные по аналогии финитных» [САХАРОВА 2007б: 16].

ИС слабо отражен в изучаемых корпусах. Встречаются всего 5 таких примеров.

³ Для подробного обзора самостоятельных конструкций см. Дьерфи 2011.

- (21) Король же литовский к ним тако же часто о взятъи града посылая, тако же и гетманы и рохмисты литовские и все многое собранное воинство з запрещением понужающе. ППСБ 69
- (22) Я володимиръ въ оную страну сшедъ з горыа лежи ини рѣка мѣлка СЛ 311
- (23) и приведе в градъ володимиръ князѣа глѣба съ снѣомъ своимъ поманѣи и с шюриномъ гарополкомъ и дрѣжина ихъ всѣ изъвиѣна СЛ 385

3.4 Дательный самостоятельный (ДС)

ДС конструкция состоит из субъекта в дательном падеже и из согласованного с ним причастия⁴. По всей вероятности оборот восходит к церковно-славянскому языку. В обороте традиционного типа подлежащее не совпадает с подлежащим глагола-вершины. Те случаи, когда подлежащее ДС совпадает с подлежащим глагола-вершины, воспринимаются как результаты разрушения церковно-славянских правил синтаксиса кратких причастий. Данная конструкция, нехарактерна для книжного, близкого к разговорному языку стиля, не свойственна и старославянскому языку. Сахарова в употреблении таких конструкций также видит проявление механизма переинтерпретации [САХАРОВА 2007б: 16–17].

- (24) Краю же литовскимъ Степанѣ под Лѣки Великиѣ пришедшѣ, послы же госѣдаревы с собою приведши. ППСБ 44
- (25) Егда же видев, тако рѣскиѣ, великого князѣа сынъ вогарскоѣ Александр, именованъи Хрѣстов, селѣ же в городъ въехавшѣ, госѣдаревымъ вогаромъ и воеводамъ грамоты отда от госѣдаревыхъ послов. ППСБ 97
- (26) Пришедшю же емѣ в вѣтичѣ и ста не дошедъ козельска СЛ 341

4 Итоги

1. Краткие действительные причастия по данным моего исследования характеризуются функциональным разнообразием. Это объясняется тем, что в исследуемый период они были «промежуточными» частями речи. Промежуточный характер возходит к преобразованиям в языке XV в. категории вида, времени и залога, которые сопровождалась постепенным устранением синтаксических позиций, которые прежде были неограничны (напр. синтаксические гречизмы) [КОЛЕСОВ 2005].

⁴ Для детальной трактовки ДС конструкций см. Дьёрфи 2005 и 2011.

	Суздальская летопись (~1460)	Повесть о приходе (~530)
Краткие действительные причастия в обстоятельственной функции	58%	28%
Краткие действительные причастия в предикативной функции	12%	35%
Дательные самостоятельные конструкции	16%	10%
Именительные самостоятельные конструкции	0,1%	0,5%
Смешение кратких причастий с формами имперфекта	—	3,5%

В таблице подытоживается функциональное поведение кратких действительных причастий двух корпусов. Как видно, текст Суздальской летописи содержит около 1460 причастных форм (учитывая и полные формы, и страдательные причастия), а текст Повести около 530. Согласно предварительной гипотезе ожидалось бы, что в корпусе XVI в. доминирует обстоятельственное употребление причастий, так как к этому времени уже сложилась категория деепричастия. Однако, как видно, самым распространенным является предикативное употребление кратких причастий.

На промежуточную стадию в формировании категории причастия указывает и то, что в тексте ППСБ причастия в ряде случаев смешивались с формами имперфекта (хотя данная видо-временная форма уже не является живой категорией языка).

По всей вероятности, здесь мы имеем дело с влиянием разговорного языка. Никифоров высказывает мнение, что «в некоторых говорах (напр. в северорусских) определенные группы деепричастий выполняют роль предиката до настоящего времени» [НИКИФОРОВ 1952]. Данное предположение поддерживается и данными говоров. Согласно результатам исследования Кузьминой и Немченко причастные формы на *-учи* могут выполнять предикативную функцию в некоторых северорусских говорах [КУЗЬМИНА–НЕМЧЕНКО 1971: 262], а предикативное употребление причастных форм на *-ши* — явление характерное для говоров западной части России [КУЗЬМИНА–НЕМЧЕНКО 1971: 116]. Это определение касается территории Пскова.

2. Для предикативного употребления кратких причастий предлагается приемлемое объяснение у КАЛИНИНОЙ.

Калинина проводила типологическое исследование нефинитных сказуемых на материале 40 языков. В монографии показывается, что возможность употребления нефинитных форм глагола в функции финитных коррелирует с определенными свойствами грамматической структуры языка – а именно

набором предикативных категорий данного языка и способами их выражения.

Обороты, возглавляемые деепричастиями, универсально считаются подчиненными на том основании, что в них употреблена нефинитная репрезентация глагола. Для языков европейского стандарта нефинитными называются глагольные формы, не имеющие показателей личного согласования, времени, наклонения [САХАРОВА 2007а: 108]. Калинина формирует следующий имплицитивный универсалий для объяснения возможности нефинитных предикатов в языках: «Если в языке финитное и нефинитное (атрибутивное или актантное) употребления для некоторой формы являются в равной степени маркированными, то в этом языке предикативное употребление для имен также является немаркированным» [КАЛИНИНА 2001: 112].

На практике это значит, что если краткие причастия могли функционировать предикативно, то возможно были и именные сказуемые без глагола-связки в языке того же периода.

Основные концепции, объясняющие варьирование в употреблении связки приводятся в работе [ЛОМТЕВ 1954: 37].

В русском языке в начале древнерусского периода происходило варьирование предложений со связкой и без нее.

(27) Ты еси Ростиславу снь (Ипатьевская летопись л 169)

(28) Язь вашь церь. (Синодальный список 1 Новгородской летописи л 231)

Согласно концепции ШАХМАТОВА [1925] связка настоящего времени в период формирования славянских языков употреблялась в случаях, когда надо было выразить предикативное отношение в собственно настоящем времени, и не употреблялась в случаях когда надо было выразить предикативное отношение вне времени. Уже в начале древнерусского периода обороты первого типа стали вытесняться оборотами второго типа. Данный взгляд наблюдается у Ломтева [ЛОМТЕВ 1954: 37] и Колесова [КОЛЕСОВ 2005: 409–410].

Литература

- АБДУЛХАКОВА 2007: Абдулхакова, Л. Р. Из истории русского деепричастия. Учебное пособие для студентов филологического факультета. Казан. Гос. Ун-т, Казань.
- БОГОРОДИЦКИЙ 1935: Богородицкий, В. А. Общий курс русской грамматики. Гос. соц.-эконом. изд-во. Москва, Ленинград.
- БОРКОВСКИЙ–КУЗНЕЦОВ 1963: Борковский, В. И., Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка. Издательство АН СССР, Москва.
- ВИНОГРАДОВ 1972: Виноградов, В. В. Русский язык (грамматическое учение о слове). Высшая школа, Москва.
- ГВОЗДЕВ 1958: Гвоздев, А. Н. Современный русский литературный язык. ч. 1. Фонетика и морфология. Учпедгиз, Москва.
- ДЬЕРФИ 2005: Györfy В. Дательные самостоятельные структуры Суздальской летописи по Лаврентьевскому списку. // *Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae* 50/3–4. 343–360.

- ДЬЕРФИ 2011: Дьерфи, Б. Историческое изменение синтаксического статуса причастных оборотов в языке Суздальской летописи по Лаврентьевскому списку. // *Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis* vol.II. DUPress, Debrecen.
- ЖИВОВ 1995: Живов, М. В. Usus scribendi. Простые претериты у летописца-самоучки // *Russian Linguistics* V. 19. No. 1.
- ЗАЛИЗНЯК 1980: Зализняк, А. А. Грамматический словарь русского языка. Русский язык, Москва.
- ЗАЛИЗНЯК 2004: Зализняк, А. А. Древненовгородский диалект. Языки славянской культуры, Москва.
- ИВАНОВ 1983: Иванов, В. В. Историческая грамматика русского языка. Просвещение, Москва.
- ИСТРИНА 1923: Истрина, Е. С. Синтаксические явления Синодального списка I Новгородской летописи. // *Изв. ОРЯС* т. XXIV.
- КАЛИНИНА 2001: Калинина, Е. Ю. Нефинитные сказуемые в независимом предложении. ИМЛИ РАН, Москва.
- КАРЬСКИЙ 1926/1967: Карьский, Е. Ф. (ред.) Суздальская летопись по Лаврентьевскому списку // Полное собрание русских летописей. т. I. Москва.
- КОЛЕСОВ 2005: Колесов, В. В. История русского языка. Academia, Москва.
- КУЗЬМИНА–НЕМЧЕНКО 1971: Кузьмина, И. Б., Немченко, Е. В. Синтаксис причастных форм в русских говорах. Наука, Москва.
- ЛОМОНОСОВ 1755/1982: Ломоносов, М. В. Российская грамматика. Факс. Изд., Москва.
- ЛОМТЕВ 1954: Ломтев, Т. П. Сравнительно-историческая грамматика восточнославянских языков. Морфология. Высшая Школа, Москва.
- МАЛЬШЕВ 1952: Мальшев В. И. (ред.) Повесть о приходе Стефана Батория на град Псков. Изд-во АН СССР, Москва-Ленинград.
- НИКИФОРОВ 1952: Никифоров, С. Д. Глагол – его категории и формы в русской письменности второй половины XVI. века. Изд-во АН СССР, Москва.
- ОВСЯНИКО–КУЛИКОВСКИЙ 1912: Овсянко-Куликовский, Д. Н. Синтаксис русского языка М. М. Стасюлевич, Санкт-Петербург.
- ПЕШКОВСКИЙ 1956/2001: Пешковский, А. М. Русский синтаксис в научном освещении. Языки славянской культуры, Москва.
- САХАРОВА 2007а: Сахарова, А. В. Содержательные параметры употребления кратких причастий в древнерусской летописи для некоторых стативных глаголов // *ВЯ*, 108–126.
- САХАРОВА 2007б: Сахарова, А. В. Синтаксис и прагматика причастного оборота в древнерусской летописи: критерии распределения предикаций на причастные и финитные в Комиссионном Списке Новгородской первой летописи. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук.
- СПРИНЧАК 1960: Спринчак, Я. А. Очерк русского исторического синтаксиса. Простое предложение. Радянська Школа, Киев.
- СТЕЦЕНКО 1977: Стеценко, А. Н. Исторический синтаксис русского языка. Высшая школа, Москва.
- ПОТЕБНЯ 1954: Потеня, А. А. Из записок по русской грамматике. т. 2. Просвещение, Москва.
- РУССКАЯ ГРАММАТИКА 1980: Русская Грамматика Н. Ю. Шведова (ред.) Наука, Москва
- ЧЕРНЫХ 1962: Черных, П. Я. Историческая грамматика русского языка. Гос. Учебно-педагог. Изд-во, Москва.

- ЧЕРНЫШЕВ 1915: Чернышев, В. И. Правильность и чистота русской речи. Опыт русской стилистической грамматики. Санкт-Петербург.
- AUWERA 2008: Van der Auwera, J. (ed.) *Adverbial constructions in the languages of Europe*. Mouton de Gruyter: Berlin, New York.
- BROWN 2006: Brown, K. (ed.) *Encyclopedia of Language and Linguistics*. Elsevier, Boston
- COUPE 2006: Coupe, A. R. *Converbs* // Brown, K. (ed) *Encyclopedia of Language and Linguistics*. Oxford: Elsevier.145–152.
- HASPELMATH 1995: Haspelmath, M. The converb as a crosslinguistically valid category // Haspelmath, M., König, E. (eds.) *Converbs in Cross-Linguistic Perspective*. Mouton de Gruyter, Berlin/New York, 1–55.
- NEDJALKOV 1995: Nedjalkov, V. I. Some Typological Parameters of Converbs // Haspelmath, M., König, E. (eds.) *Converbs in Cross-Linguistic Perspective*. Mouton de Gruyter, Berlin/New York, 97–136.
- POZSGAI 2009: Pozsgai I. О возникновении деепричастия в древнерусском языке // *Revue Des Études Slaves* LXXX/4. 427–442.

Abstract

On the emergence of the category of converbs in Russian

The article aims at investigating the formation of the converb in Russian. The first part is devoted to theoretical problems concerning converbs: in the first point a brief overview of the definitions of converbs in general and in Russian linguistics is given. In the second point the various opinions concerning the formation of this word-class in Russian are presented. In the second part of the paper the functional analysis of short form active participles in a 14th and a 16th century Russian text is carried out in order to demonstrate the functional deviation of converbs from participles. However, the results of the analysis do not confirm our preliminary assumptions, as probably owing to the influence of the spoken language the predicative function of short form active participles is the most prevailing in the 16th century text.

**СЛАВЯНО-ВЕНГЕРСКИЕ ЭТИМОЛОГИИ
(ВЕНГ. *SEB*¹ 'РАНА' И УСТАР., ОБЛ. *SEB*² 'БЫСТРОТА')**

АНДРАШ ЗОЛТАН

Взяло меня зло. Обидно стало, что нынешний народ забылся в своеволии и неповиновении, я размахнулся и... [...] И пошло... Погорячился, ваше высокородие, ну да ведь без того нельзя, чтоб не побить.

А. П. Чехов, Унтер Пришибеев

В венгерской лексикографической традиции существительные *seb*¹ 'рана' и устар., обл. *seb*² 'быстрота', а также производные от них прилагательные *sebes*¹ 'раненый' и *sebes*² 'быстрый' рассматриваются как омонимы [см., напр., CzF 5: 745–9, ÉrtSz 5: 1147–8, ÉKSz 1197, ÉKSz² 1072]. Такой подход вполне приемлем для практики толковых словарей, поскольку эти два значения слишком далеки друг от друга для того, чтобы объединить их в одну полисемическую словарную статью. Если взять самые авторитетные этимологические словари венгерского языка, в которых как *seb*¹, так и *seb*² считаются словами неизвестного происхождения [TESz 3: 505–6, EWUng 2: 1312–3], то в них такая трактовка уже по чисто методологическим соображениям едва ли оправдана, ведь если эти слова одинаково неясного происхождения, тогда откуда уверенность, что они искони омонимы, а современные расхождения значений не развились из общего ядра?

На то, что в одном слове могут сочетаться значения 'быстрое движение' и 'ранение', указывали уже авторы первого большого толкового словаря венгерского языка Я. Фогараши и Г. Цуцор, которые, со ссылкой на словарь Ю. Т. Ценкера [ZENKER 1866–1876], в словарной статье *seb*² привели параллель из «татарско-тюркского» языка, в котором *çak-mak* означает как 'бежать', так и 'ранить' [CzF 5: 747]. Тюркскую этимологию для венг. *seb*² и *sebes*² предлагали в свое время Б. Мункачи [MUNKÁCSI 1909] и Л. Рашони [RÁSONYI 1941: 298], ссылаясь на тюркские формы типа казанско-татарского и башкирского *šäb* 'быстро, быстрота' и т. п. С некоторыми оговорками, но в конечном счете положительно отозвался о тюркской этимологии *sebes*² 'быстрый' и Г. Барци [BÁRCZI 1941: 267].

По TESz [указ. м.] тюркская этимология «требуется дополнительных исследований»; EWUng [указ. м.] в библиографической части словарной статьи

sebes приводит, правда, ссылку на статью Л. Рашони, но в этимологической части статьи умалчивается о предложенной им тюркской этимологии. Наконец, в последнем большом обобщающем труде по тюркизмам венгерского языка принимается тюркская этимология только для венг. *sebes*² ‘быстрый’, но авторы решительно отделяют его от *seb*¹ ‘рана’, считая венг. *sebes*² ‘быстрый’ родственным венг. *szép* ‘красивый’ [RÓNA-TAS-BERTA 2011/2: 706–707]¹. Как видно, тюркская этимология претендует только на выяснение происхождения венг. *seb*¹ ‘быстрота’ и *sebes*² ‘быстрый’. Среди сторонников этой этимологии в качестве единственного исключения мы можем назвать Имре Пачаи, который в докладах на различных конференциях, а также в своей неопубликованной статье на эту тему настаивает на общем — тюркском — происхождении *seb*¹ ‘рана’ и *seb*² ‘быстрота’ в венгерском языке.²

Думаю, однако, что общий этимон для венгерских *seb*¹ ‘рана’ и *seb*² ‘быстрота’ можно найти и без спорных тюркских соответствий, а именно в славянском корне **šib-* с основным значением ‘бросать, бить, ударить’, производные которого могли развиваться как в сторону ‘быстрота удара или броска’ > ‘быстрота вообще’ > ‘быстрый’, так и в сторону ‘ранить ударом’ > ‘ранить вообще’ > ‘рана’. Слав. **šibati* имеет убедительную индоевропейскую этимологию [и.-е. **kseip-*, **kseib-*, ср. др.-инд. *kspáti* ‘бросать, метать’, *kṣiprá-ḥ* ‘быстрый’, см. РОКОРНЫ 1: 625, ср. ФАСМЕР 3: 435–6, ВОРЫС 609–10; по-другому: МАСНЕК 1971: 607, ЕСУМ 6: 412] и оно засвидетельствовано во всех славянских языках. В южнославянских языках преобладает значение ‘бить, бичевать, пороть’ [ст.-сл. *шибати*, болг. *шибам*, с.-х. *šibati*, словен. *šibati* ‘сечь розгами, бичевать, пороть, хлестать’, см. СКОК 3: 390–1, ФАСМЕР, указ. м.]. В западнославянских языках — за исключением словацкого *šibat* ‘пороть’ — сам глагол сохраняется только в диалектах или засвидетельствован в памятниках древней письменности, но активно употребляются некоторые производные, в том числе и важное с нашей точки зрения прилагательное **šibъкъ*, ср. чешск. диал., словацк. *šibký* ‘ловкий, быстрый’ [SSJ 4: 405], польск. *szybki* ‘быстрый’ [см. МАСНЕК, ЕСУМ, ВОРЫС, указ. м.].

В восточнославянских языках континуанты праслав. **šibati* (белор. *шыбаць*, укр. *шибати*, рус. *шибать* ‘бросать, бить, ударить’) употребляются очень широко, с многочисленными производными. Во всех восточнославянских языках имеются континуанты прилагательного **šibъкъ* — белор. обл. *шыбкі* ‘быстрый’ [ТСБМ 5/2: 426], укр. *шибкий* ‘стремительный, быстрый, порывистый’ [ГРИНЧЕНКО 4: 494], русск. простореч. *шибкий* ‘скорый, быстрый’ [ССРЛЯ 17: 1388, СРЯ 4: 714]. От глагола **šibati*, в свою очередь, образовались префиксальные дериваты, в которых основное значение ‘бить, ударить’ модифицировалось в направлении ‘вредить, ранить ударом’, ср. русск.

¹ Искренне благодарю проф. Клару Адягаши за указание на эту работу и вообще за консультацию по тюркологическим вопросам.

² Коллега Имре Пачаи любезно ознакомил меня с содержанием своей статьи на эту тему в июне 2012 г., за что я выражаю ему свою искреннюю признательность.

пришибить ‘повредить ударом’ [СРЯ 3: 459] или *ушибить* ‘повредить ударом (какую-л. часть тела), причинить боль ударом’ [СРЯ 4: 545], а от этого последнего, в свою очередь, было образовано существительное *ушиб* ‘повреждение, причиненное ударом (ударами)’ [СРЯ 4: 545].

Итак, в славянском **šibati* и его производных налицо весь спектр значений, которые присущи якобы омонимичным венгерским *seb*¹ ‘рана’ и *seb*² ‘быстрота’ вместе взятым.

В венгерском языке существительное *seb* и производное прилагательное *sebes* в обоих значениях засвидетельствованы довольно рано. Интересно, что существительное *seb* ‘рана’ впервые зафиксировано в венгерской глоссе к латинскому слову *vulnus* ‘рана’ в латиноязычной грамоте 1260–70 гг.: «*wlneris quod wlgo dicitur boyseb*» [OkI Sz 43, TESz 3: 505], где первая часть *boy* – это заимствование из славянского **bojъ* ‘бой; дуэль’ [совр. венг. *baj* ‘беда’, но также *bajvívás* ‘дуэль’, см. TESz 1: 218], т. е. *boyseb* в данном контексте — ‘рана, полученная в бою’. Прилагательное *sebes* ‘раненый’ отмечается в памятниках венгерской письменности с XIV в. [TESz 3: 505].

Одна из самых ранних фиксаций прилагательного *sebes* в значении ‘быстрый’ относится к грамоте XII в., в которой *sebes* выступает как первый член сложного гидронима *Sebespatak*, где другой член сложного слова случайно (?) тоже славизм [венг. *patak* ‘ручей’ < слав. **potokъ* ‘то же’, TESz 3: 127–8]. Существительное *seb* ‘быстрота’ засвидетельствовано с 1531 г., сначала обычно с аффиксом *-val*, *-vel* в застывшей форме инструментатива/комитатива в функции наречия — *sebbel* ‘быстро’ (буквально «с быстротой»); в современном венгерском литературном языке *seb* ‘быстрота’ употребляется только в составе парного слова *sebbel-lobbal* ‘быстро, внезапно’ и наречия *sebtében* ‘то же’, а в диалектной речи также с притяжательным аффиксом в словосочетании *a víz sebje* ‘быстрина, место быстрого течения в реке’, [см. TESz 3: 505–6, ÚMTsz 4: 852].

Как было показано выше, возведение венгерских существительных *seb*¹ ‘рана’ и устар., обл. *seb*² ‘быстрота’, а также производных от них прилагательных *sebes*¹ ‘раненый’ и *sebes*² ‘быстрый’ к одному корню с семантической точки зрения не представляет никаких трудностей. Фонетических трудностей тоже нет, поскольку переход *i* > *ě*, а потом *ě* > *e* был актуальным в старовенгерский период [для части венгерских говоров он остается актуальным доныне, ср. *diák* ~ *deák* ‘дьяк; ученик’, *disznó* ~ *gyesznó* ‘свинья’, см. ВВВ 148–50]. Ранняя фиксация существительного *seb* ‘рана’ и прилагательного *sebes* ‘быстрый’ в памятниках венгерской письменности позволяет отнести их к самому раннему пласту славянских заимствований в венгерском языке, которые носят субстратный характер [ср. ХЕЛИМСКИЙ 1988]. Обращает на себя внимание полное структурное сходство венг. *sebes* ‘быстрый’ (корень *seb-* + суффикс прилагательного *-s*) и слав. **šibъкъ* (корень **šib-* + суффикс прилагательного *-ъкъ*). Для реконструкции славянского **šibъ* ‘рана’ у нас нет оснований, но в ней и нет необходимости — при массовом славяно-венгерском билингвизме, предполагаемом для первых столетий поселения

венгров в Карпатском бассейне, венгры сами могли вычленить такое значение из гнезда славянского глагола **šibati* ‘бросать, бить, ударить’. Напомним, что заимствование венгерским языком этого слова имело место далеко до распространения в Центральной Европе огнестрельного оружия, поэтому в данный период всякую рану в бою (ср. выше *boyseb*) можно было получить, скорее всего, от всевозможных видов холодного оружия, которыми, как известно, метают, кидают, бьют, ударяют и т. д. Прилагательное *sebes* ‘раненый’ возникло как регулярный дериват от *seb* ‘рана’, а существительное *seb* ‘быстрота’, судя по хронологии, возникло, по видимому, на венгерской почве как обратный дериват к прилагательному *sebes* ‘быстрый’. Таким образом, если трактовку существительных *seb*¹ ‘рана’ и *seb*² ‘быстрота’, а также прилагательных *sebes*¹ ‘раненый’ и *sebes*² ‘быстрый’ как омонимов в толковых словарях можно считать оправданной, то их объяснение в этимологических словарях следует, на наш взгляд, объединить в одной общей словарной статье.

Цитируемая литература:

- Гринченко 1907–1909: Гринченко, Б. Д. (ред.): Словарь украинского языка — Словарь української мови. I–IV. Київ.
- ЕСУМ 1982–: Етимологічний словник української мови. 1–. Київ.
- СРЯ 1981–1984: Словарь русского языка. Издание второе, исправленное и дополненное. I–IV. Москва.
- ССРЛЯ 1950–1965: Словарь современного русского литературного языка. I–XVII. Москва–Ленинград.
- ТСБМ 1977–1984: Тлумачальны слоўнік беларускай мовы. 1–5/1–2. Мінск.
- ФАСМЕР 1964–1973: Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка. Перевод с немецкого и дополнения О. Н. Трубачева. Т. I–IV. Москва.
- ХЕЛИМСКИЙ 1988: Хелимский, Е. А., Венгерский язык как источник для праславянской реконструкции и реконструкции славянского языка Паннонии. В кн.: Славянское языкознание. X Международный съезд славистов, София, сентябрь 1988 г., Доклады советской делегации. Москва. 347–68. [Переиздание: Хелимский, Е. А., Компаративистика, уралистика: Лекции и статьи. Москва. 2000. 418–34.]
- BÁRCZI 1941: Bárczi, G. Magyar szófejtő szótár. Budapest.
- BBB 1999: Bárczi, G., Benkő, L., Berrár, J. A magyar nyelv története. Budapest.
- CzF 1862–1874: Czuczor, G., Fogarasi, J. A magyar nyelv szótára. I–VI. Pest, [позднее] Budapest.
- ÉKSz 1972: Magyar értelmező kéziszótár. Budapest.
- ÉKSz² 2003: Magyar értelmező kéziszótár. Második, átdolgozott kiadás. Budapest.
- ÉrtSz 1959–1962: A magyar nyelv értelmező szótára. I–VII. Budapest.
- EWUng 1993–1997: Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen. I–III. Hrsg. Loránd Benkő. Redakteure: Károly Gerstner, Antónia S. Hámori, Gábor Zaicz. Budapest.
- МАЧЕК 1971: Machek, V., Etymologický slovník jazyka českého. Praha.
- MUNKÁCSI 1909: Munkácsi, B. Ungar. *seb* ‘Schnelle, Geschwindigkeit’. Keleti Szemle 10 (1909) 181–182.
- OKISz 1902–1906: Szamota, István; Zolnai, Gyula, Magyar oklevél-szótár. Pótlék a Magyar Nyelvtörténeti Szótárhoz. Budapest.

- POKORNY 1959–1969: Pokorny, J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch I–II. Bern–München.
- RÁSONYI 1941: Rásonyi, L. Török adatok a Magyar Etymologiai Szótárhoz. Nyelvtudományi Közlemények 51 (1941) 280–306.
- RÓNA-TAS–BERTA 2011: Róna-Tas, A., Berta, Á. West Old Turkic: Turkic Loanwords in Hungarian 1–2. Wiesbaden, (Turcologica 84).
- SKOK 1971–1974: Skok, P. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. I–IV. Zagreb.
- SSJ 1959–1968: Slovník slovenského jazyka. I–VI. Bratislava.
- TESz 1967–1984: A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Főszerk. Benkő Loránd. Szerk. Kiss Lajos, Papp László. I–IV. Budapest.
- ÚMTsz 1979–2010: Új magyar tájszótár. Főszerk. B. Lőrinczy Éva. 1–5. Budapest.
- ZENKER 1866–1876: Zenker, J. T. Türkisch-arabisch-persisches Handwörterbuch I–II. Leipzig, (Репринт: Hildesheim, 1967).

Abstract

Slavo-Hungarian etymologies (Hung. *seb*¹ ‘wound’ and *seb*² ‘rapidity’)

The paper presents a new etymology of the Hungarian words *seb* ‘wound; rapidity’ and *sebes* ‘wounded; rapid’, which are explained as early borrowings from Slavic.

**ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНО ТЕРМИНООБРАЗУВАНЕ В СТАРОБЪЛГАРСКИ ЕЗИК
(ВЪРХУ МАТЕРИАЛ ОТ ЙОАН-ЕКЗАРХОВИЯ ПРЕВОД НА БОГОСЛОВИЕТО)**

ТАТЯНА ИЛИЕВА

Лексико-семантичното словообразуване в съвременните езици е предмет на немалко лексиколожки изследвания [ДАНИЛЕНКО 1973; МУРДАРОВ 1983; МАНОЛОВА 1987; ЕМИРЗЯН 1989 и пр.]. Интересът към тази проблематика се дължи на факта, че се касае за един наистина всеобхватен процес, който подчинява до голяма степен останалите процеси в езика – словопроизводство, активизиране на едни лексикални средства за сметка на други, преосмисляне на наличните речникови единици. В исторически план обаче този въпрос остава все още недостатъчно проучен на фона на иначе детайлно анализирани повърхнинни процеси на чуждоезиково заимстване, морфологична деривация и калкиране, при които се създават неологизми. В предлаганата статия ще съсредоточа вниманието си именно върху тази по-незабележима страна от лексикалното строителство през периода на създаване на старобългарския книжовен език – изменението в семантичната структура на думите. Новото при него се заражда под стара форма във вековното русло на езика, като началото на този процес може да се търси в обективните, обществено-исторически условия, но характерът на самото изменение има своите определящи фактори в системата на езика [ЛЕКОВ 1946: 5–7]. Преобразуването в семантичната структура засяга предимно отделната дума като индивидуална лексикална единица и проследяването му само по себе си е проследяване на нейната история. Но в същото време множеството индивидуални промени се оказват подчинени на общите тенденции в лексикалната система като цяло.

Наблюденията си правя върху Йоан-Екзарховия превод на “De fide orthodoxa” от Йоан Дамаскин [SADNIK 1967–1983]¹. Това съчинение е особено подходящо за проучвания в областта на словопроизводството през старобългарския период, като се има предвид неговата представителност за развитието на книжовния ни език във времето X–XI в.

На анализ подлагам само терминологичната лексика като най-показателна за нивото на книжовния език през съответния период.

Лексико-семантичното терминообразуване или т. нар. **терминологизация** е един от основните методи за създаване на специална богословс-

¹ Нататък за краткост използвам съкращението ЙоЕБ.

ка лексика в старобългарски език и в частност в ЙоЕБ. Този езиков феномен е резултат от взаимодействието на всекидневен език и терминология. Да се терминологизира една общоупотребима дума означава да се специализира смислово, като стане носителка на ново допълнително терминологично значение. По своята лингвистична същност явлението терминологизация е семантична деривация. Тъй като този процес е много съществен, ще се спра по-подробно на неговия механизъм.

Измененията, които настъпват в лексикалното значение при терминологизация, имат различен характер и в различна степен се отразяват върху семантичната структура на терминологизираната дума.

През изучавания период от историята на старобългарския език и в частност у разглеждания автор, това езиково явление се развива предимно в посока на **разширяване значението и употребата на думите**. При този процес думата, означаваща отначало един предмет или явление, започва да се използва за назоваване и на други предмети и явления, следователно разширява семантичния си обхват. Разширяването на семантичния обем на думата поради активното ѝ включване в нови речевни сфери, където тя придобива нови значения, е една от тенденциите в лексикалната система на старобългарския книжовен език от IX–X вв. Този процес е много широк, ако се измерва не само според количеството на лексикалния материал, който се засяга от него, но и според многообразието на характерните семантично-лексикални промени, на които се подлага този материал. Изобщо развитието на речниковия състав на езика през разглежданата епоха бележи разрастване полисемията на думите.

Произведените посредством лексико-семантичното терминообразуване религиозни и философски термини, са резултат от изменение в смисловата страна на общоупотребими думи, вследствие на което настъпват промени в първоначалното им лексикално значение. Под промяна в лексикалното значение се разбира промяна в предметно-понятийната отнесеност на езиковия знак. По този начин са създадени космологическите термини място ‘пространство като форма на съществуване на материалните субстанции’; тѣло ‘материален обект, триизмерен предмет’; въздухъ, вода, земя, огнь – ‘четирите крайни елемента, изграждащи сложните материални субстанции’; антропологическите концепти оумъ ‘основен орган на съзнателния живот, мисленето и познанието’ и сръдъце ‘орган на висшия емоционален и нравствен живот’, тринитарните специални наименования слово ‘Второто лице на пресветата Троица’, рождѣнне ‘ипостасно свойство на Второто лице на пресветата Троица’ и пр., които означават както житейски, така и богословски понятия. Съдържанието на практическото или житейското понятие се различава повече или по-малко от съдържанието на теологическото, обаче за последното не се създава ново название, а се използва старото наименование.

В някои случаи разширяването на значението и употребата на думата е свързано само с **разширяване обема** и съдържанието на означаваното понятие. Например, съществителното *братъ* освен като роднински термин със значение ‘синовете на един баща и/или една майка по отношение към другите им деца’ започва да се употребява и като богословски термин. В религиозен смисъл братя се наричат всички хора, като произлезли от общи прародители – Адам и Ева. Терминът *връдъ* първоначално е имал по-тясно значение – телесна повреда като резултат от някакво отрицателно външно въздействие. По-късно думата разширява семантиката си и започва да означава не само телесна, но и душевна повреда.

Процесът на разширяване на значението се извършва предимно чрез посредството на новата съчетаемост на думата в словосъчетанието или в друга номинативна и синтактична единица, закрепваща, стабилизираща новото лексикално значение. Непосредственият резултат от това преместване на думата в новия съчетателен контекст е промяната в съотношението на нейните познати семантични варианти, а крайният може да бъде нейното пълно преосмисляне. Такъв е случаят с термините *отъць* и *сынъ* – думи от терминологията на родствените отношения, които, употребени като апозиция към *богъ* вече добиват значение на термини от тринитарното богословие.

Думата *изкупвам* *някого* означава ‘да купя свободата му на определена цена’. В контекста на християнското вероучение, отнесена към Иисус Христос, тя добива терминологично значение ‘изкупвам всички люде от греха, проклятието и смъртта’: *Посъла бѣ сѣна своего ... да подѣзаконьныхъ нскоупитъ* 327a.

В тази линия на семантично обогатяване на думите трябва да се изтъкне ролята на съчетаемостта на съществителните с прилагателни имена, която е средство за семантичното обновяване и съдейства за стабилизиране на новия семантичен вариант. Прилагателното име става своеобразен семантичен диференциатор на субстантивното значение и стабилизатор на новата деривационна семантика. Можем дори да смятаме, че в много случаи семантичната деривация настъпва от момента, в който съществителното име придобива способността да се свързва с прилагателно име, най-често относително, и по този начин неговото субстанциално значение се ограничава в определена посока поради отнесеност на означения от него предмет с друг предмет. А това довежда до по-нататъшно преосмисляне на съществителното име. За примери могат да ни послужат общоупотребими думи от рода на *тронца*, *дѣва*, *пнсаннѣ*, които в съчетание с прилагателни *прѣсватъ*, *сватъ*, добиват терминологично значение (срв. още *сынъ чловѣчьскъ*, *божнн рабъ* и др.). Такъв е случаят и със съчетанията *слово божнѣ*, *страхъ божнн*, *жизнь вѣчннннн*, *врагъ спъсѣнъ*, при които семантичната деривация се разраства като израз на ново свободно лексикално значение.

Обогатяването на семантичната структура на думата може да бъде резултат и от вътрешната диференциация на съществуващото отпреди по-общо значение: всяка дума се разчленява на диференциални признаци и се вземат няколко или дори само един от тях, който влиза в основата на богословската дефиниция. При това се наблюдава развитие в посока от общо към частно или **стесняване на значението** [ИВАНОВА-МИРЧЕВА 1964: 151–160]. Такава семантична промяна, например, се наблюдава в думите *владѣка* и *господѣ*. Тяхната общоупотребима семантика в езика е ‘владетел, господар изобщо’: *владѣкоу бо н бѣ поставн 160а*. Като богословски термини те стесняват обема си до индивидуални наименования на Бога, окачествяващи Го като Господар и Властелин на цялото творение: *нстоуѣннкы намъ спѣенна владѣка хъ моцн стѣхъ дасть 294а*. Подобен е случаят и с думата *прнѣастѣннкъ*, която е означавала първоначално изобщо ‘наследник, който получава дял от нещо’, но впоследствие се терминологизира и придобива допълнителна по-тясна семантика ‘причастник, който получава дял от тялото и кръвта Господни при св. тайнство евхаристия’. От общоупотребимата дума *мѣѣннкъ* ‘страдалец’ чрез семантична деривация *стесняване на значението* се получава нова специализирана терминологична номинативна единица с ново понятийно-семантично обкръжение (терминологично поле) ‘лице, което удостоверява с личните си страдания и смърт истинността на християнската вяра’².

Други примери:

оучѣннкъ – 1. общоупотр. Ученик, лице, ползващо се от уроците и наставленията на друг: *ѣнстѣн же сего (ііѣ, ск. Т. И.) оучѣннкъ 332с 14*; 2. св. истор. В Новия Завет така били наричани най-близките и верни последователи на Исуса Христа, в тесен смисъл 12-те апостоли, които Той избрал за свои спътници и помощници, а в широк – още 70 особено ревностни Негови привърженици.

оучнтель – 1. общоупотр. Учител, духовен наставник: *самъ творѣць н гѣ за свою тварѣ въздвнгнеть бранѣ н дѣлѣмъ оучнтель боудеть 224а*; 2. Особена група църковни писатели, на които Църквата дава почетното наименование „църковни учители“ поради изтъкнатата ученост и заслуги за църковната наука

² На семантичното развитие на думите в посока от общо към частно обръща внимание и И. ХРИСТОВА. Тя отбелязва, че замяната на *лѣто* с *врѣма* в различните преписи на Апостола отразява естественото развитие на езика, в който отначало всички *nomina temporalis* са имали по-общо значение, а постепенно всяко от тях е конкретизирало и стеснило значението си. Така в историята на българския език *лѣто* все повече е стеснявало значението си: от ‘време изобщо’, през ‘година’, до ‘летен сезон’. Подобна конкретизация е станала със значенията и на другите темпорални названия – *часъ*, *годъ*, *година* [ХРИСТОВА–ШОМОВА 2004: 511]. Вж. още у Лвов [Львов 1966: 265].

и в борбата за защита на църковното учение. Като велики вселенски учители се прославят св. Атанасий Александрийски, св. Василий Велики, св. Григорий Богослов и св. Йоан Златоуст, а след тях св. Кирил Александрийски, св. Кирил Йерусалимски и др.: мало жеже есмь приналн отъ оучитель стѣнхъ 25б.

храмъ – 1. общоупотр. Сграда, здание: сътворити ~ 75а; 2. култ.-ритуал. Храм – особено, отличаващо се от другите сгради, здание, посветено на Бога и предназначено за извършване на обществено богослужение в него: храмн божи 293а.

Промяна на семантиката от обща към частна е присъща и на редица глаголи, които в терминологичните си значения започват да се съотнасят само с определен субект или обект, да влизат в ограничени предикатни отношения. Например:

нсходити – 1. общоупотр. Излизам: како рѣка нсходитъ нс породе 151б; 2. тринит. Изхождам, проява на личното свойство на Дух Св.: н дхъ стѣн ѿ бца нсходитъ б3а.

нзвестн/нзводити – 1. общоупотр. Извеждам, вода извън пределите на нещо: азъ гъ бѣ твои нзвѣдын та ѿ земаля иеропутьскын 36б; 2. космологично. Извеждам от небитието, създавам нзъ небытъа (ѿ неощества) нзвестн/нзводити 155а; 3. тринит. за Бога Отца Извеждам Св. Дух: нзводѣа въсестго дха 52а.

Гореописаните семантични процеси на разширяване и стесняване на значението стават в рамките на основното понятие, като съотношението между основно и вторично значение е отношение между родово и видово понятие. Фактически в тези случаи се активизира някой от семантичните признаци, който заляга в структурата на новия семантичен вариант, в основата на новото значение.

Съществена роля за разширяването семантичния обем на думите играе също **абстракцията**.

Промяна на значението от конкретно към абстрактно се наблюдава:

а) при редица съществителни, например:

дохъ – 1. общоупотр. Дихание, дъх: тѣщеть бо сѧ мокроу н соухоу, н доухъ 182б; 2. абстр. Дух: по своѣмоу образоу сътворивъ ѧ ество бесплътно, какоже н дхъ нан огнь безвещствънъ 104а.

мѣсто – 1. общоупотр. Място: въ едно мѣсто събратн сѧ 150а; 2. абстр. Пространство: Мѣсто бо есть комужьдо тѣлесн того вѣатье 146с17.

б) при прилагателни – когато признакът се абстрахира от конкретен материален или идеален носител и се превръща в наименование на отвлечено качество: гладъкоу 192а, топло н студено 191б и т. н.

Пример за систематично семантично изменение на базата на абстракция ни предоставят отглаголните съществителни на -ниѣ. Тяхната изначална семантика е свързана със семантиката на мотивиращия ги глагол и най-общото

значение се определя като ‘название на действие, резултат от действие’. Впоследствие в развитието на тези имена се наблюдава различна степен на неутрализация на глаголната семантика и образуване на отвлечено значение. Те се превръщат в *nomina abstracta*, които не означават просто действие в конкретното му жизнено проявление, а неговото концептуално осмисляне. Действията се превръщат в понятия, на които може да се припишат разни свойства и признаци – атрибутивни и предикативни като на логически субект [СТАНКОВ 1994: 100]. Например:

ЗЪДАННІЕ – 1. общоупотр. Сграда, здание: ꙗкоже н намъ наукукъ гл҃ати: събъра сѧ градъ, не зъданые хотѧще мнѣти, нъ жнвоушаѧ въ градѣ 129б; 2. космол. Божият творчески акт: сын простъ н несъложенъ нѣсть прннмьннкъ вреда ни истока ни въ ражданни, ни въ зъданни 56б, срв. още 217а; 3. космол. Творение, сътвореното от Бога: та бо еста (Адам и Ева, ск. Т. И.) дѣвѣствьнаѧ, а не женствьнаѧ зъданые 335а; внднмоє / невнднмоє ~ (48б, 119б).

Срв. още възпльщеніе, възкрьсеніе, вѣдѣннє, нзволеніе, нестеченіе, нсхожденіе, обоженіе, оуловѣченіе, съложеніе, сътвореніе и др.

Получаването на ново значение може да стане и чрез пренасяне на бележите на основното значение или на някое от вторичните значения към друго ново понятие – **преносно значение** [ИВАНОВА-МИРЧЕВА 1959: 3–37]. Преносимостта, както е известно, е способност на думата, разширявайки своя обем, да назовава ново понятие, нов предмет или явление, което се намира във връзка или зависимост от първоначално назованото понятие, като се използва сходството на един предмет или явление с друг [БОЯДЖИЕВ 1986: 54]. В този случай терминът се явява като метафора или метонимия по отношение на породилата го дума [ИЛИЕВА 2005; ИЛИЕВА 2006].

С висока степен на лексикализация се характеризират метонимични преноси на базата на отношенията действие → резултат, действие → оръдие, абстрактно → конкретно. Те най-често се свързват с определени словообразователни модели, които развиват стереотипна семантична структура. Например съществителните с формантите -ство, -ствнє се характеризират с общо първично значение на отвлечен признак или процесуално свойство и вторично конкретно значение (метонимичен пренос абстрактно → конкретно) [СТАНКОВ 1994: 99]:

сѣщѣство – 1. Съществуване, битие: Ниъ образъ соущѣствоу б3а; 2. прен. метоним. Субстанция: все соущѣство нан зъдано естѣ нан нездано 25б

Срв. още пророуство, отъуство, цѣсарство и пр.

При дериватите на -ннє и -тнє с първична глаголна семантика на *nomina actionis* нерядко се наблюдава „опредметяване“ на значението, в основата на което лежи метонимичен пренос действие → резултат от действие [СТАНКОВ 1994: 100]. Например, в ЙоЕБ богословският термин *бѣтнє* се използва

от една страна за назоваване акта на възникване на творението от нищото по благата воля на Твореца и превежда гръцкото $\gamma\acute{\epsilon}\nu\epsilon\sigma\iota\varsigma$, $\tau\acute{o}$ $\gamma\epsilon\nu\acute{\epsilon}\sigma\theta\alpha\iota$: Все въдъдн прѣже бытнѣ нхъ 50б. От друга страна той означава самото съществуване като състояние в резултат от процеса на възникване. В този случай превежда гръцкото $\tau\acute{o}$ $\epsilon\acute{\iota}\nu\alpha\iota$: Тъ же нсточьникъ естъ бытъю сущннмъ 50а.

Срв. още:

творѣннѣ 1. Сътворяване 169а 2. Творение 184б

прнѣтнѣ 1. Приемане 94б 2. Сетивно възприятие 190б

Същата семантична деривация регулярно се среща при образуванията на -Øъ. Първично семантиката на съществителните е свързана със семантиката на мотивиращия ги глагол и най-общото значение се определя като 'название на действие, резултат от действие. Вторично се наблюдава "опредметяване" на значението:

СЪМЪСЪ – 1. общоупотр. Смесване 2. естеств. Смес, слияние: подоба же баше (sc. Ѡлкоу , бел. Т. И) Ѡ обою **СЪМЪСОУ** бытн 172б;

Освен лексикализирани метонимични и метафорични преноси в ЙоЕБ са застъпени и някои специални богословски термини, образувани на базата на нелексикализирана, контекстуално реализираща се метонимия и метафора. Ето няколко примера:

Думите **НЕБО** и **ЗЕМЛЯ** в тълкуванията на светите отци притежават твърде богата семантика, опираща се върху двуплановостта на първичното пространство и вторичното метонимично пренесено от наименованието на съдържащото върху названието на съдържимото значение. На редица места в свещените текстове и патристичната литература **небо** и **земля** означават понятия не просто за пространство, но едновременно с това и за всичко, което ги изпълва. Под **небо** се разбира както небесната твърд сама по себе си, така също и ангелите, които обитават там. Съответно и **земля** метонимично означава всичко, що съществува върху нея, срв. сътвори **небо**, **землю** 119а. Цитираният пасаж представлява реминисценция на първия член на Никео-Цариградския символ на вярата, който гласи: Върюю во еднаго бѣ бѣ всѣдѣ жнтѣлѣ творѣца **небоу** и **землѣ**, всѣмъ же внднмѣмъ и невнднмѣмъ . Този догматически текст се опира на Бит. 1:1 – В начало Бог сътвори небето и земята [Библия 1992] и върху официално възприетата му екзегеза, която тълкува **небо** в смисъл на невидимия духовен свят, чието обиталище е небето, а **земля** в значение на видимото материално творение, което я изпълва.

Терминът **мнръ** също е пример за метонимичен пренос, основаващ се на пространствена връзка. Думата е засвидетелствана 15 пъти в текста на ЙоЕБ. Само с едно изключение (144а) навсякъде другаде съответства на грц. κόσμος . Оттук недвусмислено следва, че **мнръ** е лексемата, с която

в старобългарски се предава семантиката на онаследения още от античността философски термин $\kappa\acute{o}\sigma\mu\omicron\varsigma$ 'видимият материален свят в неговата съвкупност, мислен с хармонията и принципите, заложен в него от Твореца' (169а, 259б, 299а, 331б, 332с8, 223а).

Под влияние на християнската теология $\kappa\acute{o}\sigma\mu\omicron\varsigma$ /мнръ разширява първоначалното си значение и започва да означава 'целокупното творение – видимо и невидимо – с вложения в него от Създателя строй'.

Глътъ же се оубо сего мнра седмъ вѣкъ рекъше нѣбьскаго и зѣмьнаго сътворенна даже и до обьщааго члкомъ сконьчанна и вѣстанна 100а.

Тук изразът нѣбьскаго и зѣмьнаго сътворенна означава 'от създаването на невидимия ангелски свят и всички видими и материални твари', което заедно с уточнението 'до тяхната гибел и всеобщо възкресение' фиксира екстенционала на понятието \acute{o} $\kappa\acute{o}\sigma\mu\omicron\varsigma$ $\omicron\upsilon\tau\omicron\varsigma$ / съ мнръ в съответната му контекстуална употреба – 'целокупното творение – видимо и невидимо, мислено във времевата реализация на неговото битие съобразно законите, вложени му от Твореца'. Това пределно широко значение на $\kappa\acute{o}\sigma\mu\omicron\varsigma$ /мнръ в терминологичното словосъчетание съ мнръ (вж. 100а, б; 131а; 206а) и неговата разновидност в 101б съде сын мнръ \acute{o} парѡν $\kappa\acute{o}\sigma\mu\omicron\varsigma$ 'настоящият, тук и сега присъстващият свят', се противопоставя на бъдещия – градѡщнн вѣкъ, грц. \acute{o} $\xi\rho\chi\acute{o}\mu\epsilon\nu\omicron\varsigma$ $\acute{\alpha}\iota\omega\nu$, на новото небе и новата земя, които ще се появят след всеобщото възкресение.

Третата регистрирана в ЙоЕБ семантика на $\kappa\acute{o}\sigma\mu\omicron\varsigma$ /мнръ е 'грешен свят'. Тя се развива вследствие предшествашо стесняване на прякото значение на думата, засвидетелствано най-напред у александрийците, употребяващи думата за назоваване 'познатия свят в неговата обитаема част – вселена $\omicron\iota\kappa\omicron\upsilon\mu\acute{\epsilon}\nu\eta$, η /срв. Мт. 26:26/. Оттук $\kappa\acute{o}\sigma\mu\omicron\varsigma$ /мнръ чрез метонимичен пренос започва да означава изобщо човечеството, което населява света, а оттам и преобладаващата грешна част от него (в противовес на малцината праведници): Да не въ градѡщнн вѣкъ съ мнръмь осѣднмъ са.

Терминът $\omicron\upsilon\tau\upsilon\alpha\rho\eta$, който е синоним на предидущия, е пример за атрибутивна метонимия³. Лексемата е засвидетелствана 10 пъти в текста на ЙоЕБ, където във всички случаи превежда грц. $\kappa\acute{o}\sigma\mu\omicron\varsigma$ и негови производни. Данните недвусмислено сочат, че старобългарската дума $\omicron\upsilon\tau\upsilon\alpha\rho\eta$ е изцяло обвързана със семантиката на $\kappa\acute{o}\sigma\mu\omicron\varsigma$ от подложката, явявайки се негов семантичен транспонент в рецептива, заел целия регистър от значения на античния

³ Този тип метонимичен пренос обединява ония случаи, при които се употребява названието на характерния признак вместо названието на неговия носител. При тези замени е съществено какво именно е изтъкнато за заместване, кое свойство на явлението се оказва най-важно [ПАВЛОВА 1982, ПОПОВА 1987].

философски термин. В 131а и 157б *оутварь* превежда прякото значение на *κόσμος* ‘красота, ред, външна изрядност’, което се подчертава и от контекстуалното обкръжение:

Свѣтъ крашеннѣ н оутварь всен виднмѣн тварн 131а

Покръпѣта бѣ н неоутроена н неоутворена бѣ да бѣу повелѣвъшоу водѣннн оудове
бѣша, тоже бѣнемъ повелѣнемъ свою оутварь прнѣ, всѣцѣмн злакѣи н садѣи
оукрашенѣи 157б

От това пряко значение вследствие на метонимична трансформация възниква ново, преносно ‘подреден, устроен свят’. Мирозданието се назовава с името на своя основен атрибут. Названието на характерния признак добива вторична номинативна функция и започва да означава и своя носител:

Н оутварн съма сохраннѣн повелѣваѣ емоу 332с5

Терминът *плътъ* е пример за метонимичен пренос, основаващ се на връзката между материала и изделието. В прякото си значение терминът означава ‘материята, от която е изградено тялото на живите същества’: *Улѣкомъ соуцѣмъ намъ н въ дѣбелюю сню плътъ вѣлауеномъ* 93б. Метонимично се използва за именуване на тялото като материален обект и органично цяло: *плътъ кѣсть на троѣ растоѣци сѣ (длъгость н шнрость н глаубость)*.

Интересно е да се отбележи, че в *ЙоЕБ* се наблюдава очевидно предпочитание на лексемата *плътъ* пред лексемата *тѣло*. Това по всяка вероятност е свързано с изместване акцента в християнския мироглед върху противопоставянето *плът* – *дух* в ценностен план, за разлика от античността, за чиято култура пластиката на тялото е основополагащ естетически принцип. Думата *тѣло* се среща предимно в натурфилософски контексти със значение ‘триизмерен обект’ (срв. термина *тяло* в съвременната физика). В останалите случаи тази лексема се използва почти изключително само там, където се цели да се подчертае органичното единство на цялото (229б, 343б) или където има степенуване в ценностната йерархия (354б). Когато не е от значение подчертаването на семантиката на грц. *σῶμα* с много малки изключения се използва винаги терминът *плътъ*.

Пример за синекдоха (метонимична употреба на частта вместо цялото) ни дава *Слово бѣистъ плътъ* 226б, където *плътъ* визира целия човек.

Изключително интересен случай на синекдоха е семантичното отношение между термините *дѣухъ* и *дѣуша*. Християнската концепция наследява Аристотеловото учение за разумната и неразумната душа. Реминисценция на това учение е пасаж 184а *раздѣлаютьсѣ слѣи дѣшныи въ мыслѣно н безмыслѣно...* Според него човешката душа има две страни – едната примитивна и неразумна, обща за човека и животните, носителка на виталността и сетивността у одушевените твари, и другата висша нематериална, свръхестествена по своя

произход, присъща единствено на човека духовна субстанция, в тесен смисъл дух. Неправилната интерпретация на това учение е довела до редица отклонения от ортодоксалната антропология, като например твърдението за наличието на две отделни души или за триделението на човешкото естество на дух, душа и тяло. Православната антропология възприема бинарната структура на човека от душа и тяло, като мисли духа за част от душата, най-висшата и съвършена богообразна нейна част. Неотчетената метонимична употреба на цялото вм. частта е довело до посочените недоразумения в тълкуванията. Срв.:

ἄψα бес плътн єсть 91a

ἄψα вѣсть вѣсе єже єсть въ ѹлвцѣ 15a

Във втория случай терминът *душа* е използван в смисъл 'висшата част на душата, дух' и превежда гръцкото *πνεῦμα*.

Освен в горепосочената метонимична употреба думата *душа* се среща и в още едно преносно значение – жива твар: прѣвое оубо водѣ повелѣ бѣ нзвестн ḁшю жнвоу, нмѣже бытн хоташе водою. Тук отново е налице синекдоха, при която наименованието на частта замества това на цялото.

Друг пример за терминологизация посредством разнородни преноси на една и съща дума ни дава терминът **рождѣство**:

рождѣство – 1. общоупотр. Раждане; 2. онтол. прен. метафор. Раждане, извеждане от същността на раждащия подобно по същество раждаемо: рождѣство бо єсть єже ѿ соущѣства раждающаго сѧ нзвестн рожденое подобно соущѣствѣмъ 55б; 3. мистериол. прен. метафор.: рожд(д)ѣство оубо водою н дѣхѣмъ ны сѧ дасть, рекѣше сѣго крѣщенна 264a; рождѣство въторое (263a, 262a).

Редица преноси имат съответна културно историческа конотативност, извън която не биха могли да бъдат пълноценно схванати. Да вземем, например, термина *рабъ* от свещената история. Както е известно, робите са били основната производителна сила в робовладелския строй, общественно-политическата формация, в която се намирала Римската империя по времето на Исус Христос. Те нямали статут на личности, защото били лишени от свобода и напълно обезправени. Римският писател Плиний Стари ги определя като „говорещи оръдия на труда“. Съгласно Мойсеевия закон един еврейин можел да бъде роб на друг заради неизплатен дълг, при кражба или по собствено желание (вж. 5аб, 6аб, 7б, 8а). Отразявайки тези общественоекономически отношения, Свещеното писание ги пренася в религиозната сфера и представя Адамовото потомство като доброволно продало свободата си на сатаната и по свое желание попаднало под робството на греха. Смисълът на изкупителната Христова жертва на кръста е в това, че Господ дал Себе Си откуп за греха и освободил човека от робията на дявола. Самоизживяването на вярващите като раби божи не противоречи на казаното. В този

случай *раб божии* означава доброволното предаване на човека под благото иго на Господа като инструмент за достойна употреба и е свидетелство за смиряване и надмогване на погибелната гордост.

Специфични преносни употреби се засвидетелстват още в следните контексти:

ЄДННЪ ДНЬ БОУДЕТЬ БЕЗ ВЕЧЕРА СЛНЦЮ ПРАВЪДНОУМОУ ПРАВЪДНЫМЪ
УБСНЮЩЮУ СВѢТЛЪ 102б

Съ хлѣбъ кєсть научѣтъкъ прѣдочѣнаго хлѣба, нже кєсть прѣсносоушьнѣн 27ба

И в двата приведени примера метафоричната преносна употреба на една дума се предхожда от употребата на същата в нейното пряко значение. В първия случай означаването на Иисус Христос с образа слънце правдното контактува с пряката употреба на израза *єдннъ днь без вечера*, визиращ есхатологичното време на второто пришествие.

В пасаж 27ба думата хлѣбъ първоначално е употребена в своето буквално значение на 'квасен евхаристиен хляб', а после наместо Иисус Христос, Който е хлябът на живота, сиреч насъщната храна за духовно оцеляване.

В цитираните примери е налице осезателно познавателно напрежение, възникващо при взаимодействието между обичайната лексикална съчетаемост, зависима от прякото значение на думите и отразяваща връзките между предметите и явленията в реалната действителност, и очевидното отклонение от установения узус на същата вследствие преносните словоупотреби *правдное слънце* и *прѣдочѣнн хлѣбъ*. Изразите биха могли да се интерпретират освен като метафорични и като метонимични преноси въз основа на отношението предобраз: образ. Тази двуплановост не изчерпва богатството от съдържание на разглежданите фрази, които са интересни с едновременната реализация и взаимно проникване на метонимия и метафора. Разглежданите случаи са твърде интересни от гледна точка на относителността на явленията метонимия и метафора в езика. Като семантични словообразувания те се оказват в тясна връзка с начина на мислене на дадения езиков субект, който може да не съвпада с начина на мислене на друг езиков субект, следователно са променливи в пространството и времето, потенциално заменими една с друга в различен езиков контекст.

Пряко свързано с процесите на лексико-семантично словообразуване, сиреч възникване на нови значения при думите, е развитието на полисемия в езика [Бояджиев 1986: 66–73]. При специалната богословска лексика в ЙоЕБ открих и двата вида полисемия – понятийна и функционална. Известно е, че при понятийната полисемия семантичната структура на многозначната дума се съотнася с толкова понятия, от колкото лексико-семантични варианти се състои, ще рече, че всяко нейно значение назовава отделно понятие. При функционалната полисемия семантичната структура на многозначната дума се равнява на обема и съдържанието на едно понятие, с което отделните значения са свързани, като при всяко обемът и съдържанието на понятието

варира (стесняват се или се разширяват) [ЛЕВИТ 1969: 65; ГЕОРГИЕВ–РУСИНОВ 1979: 80–84].

Примери за понятийна полисемия:

вѣкъ – 1. Век, дълъг времеви отрязък, едно от понятията за време; 2. Трансцендентна извънвременна вечност: трѣвъ є оубо вѣдѣти ѿко вѣчьное нма многоименно єсть· много бо нарече: вѣкъ бо речець са н когожьдо ѹлѣка жнтѣ; речець са пакы вѣкъ тысащн лѣтъ вѣкъ єдннѣ; пакы глѣть са вѣкъ все сіє жнтѣ н пакы прѣдан вѣкъ, нже по вѣскрѣсеннн бес конца, а бодѣть 99а

нзборъ – 1. етич. Избор. С този термин се означава относително свободната воля на духовните твари, в частност на човека: творнтѣ бо сего нзборъ оумѣ нашѣ н съ єсть вѣуало дѣлоу 199а; 2. Ерес: вбою бо нзбороу єресню пребываєть требованое 46а.

нсходъ – 1. общоупотр. 1. Извор: доубъ вѣ нсходѣхъ водьнынхъ вѣсажденѣ 306б; 2. тринит. Изхождане, личното свойство на Св. Дух, по което Той се отличава от Отца и Сина: а сѣтын дѣхъ н тѣже отъ оца, нѣ не рождѣствомъ, нѣ нсходѣмъ 72а; 3. библи. Старозаветна книга, в която се описва излизането на евреите от Египет.

клятѣ – 1. юрид. Уверяване някого в истинността на нещо казано или извършено като обезпечаване срещу лъжесвидетелство: клятвою оутвѣрждаємы заѣты 97б; 2. св. истор. Проклятие, лишаване от благословение и осъждане на бедствия. Произнесено от Бога при грехопадението на първия човек: роднѣше са отъ адама подобнн быхомъ къ немуу прѣнацыше са клятѣ н тѣан 263а.

Примери за функционална полисемия:

нензвратѣнъ – Неизменяем, който не подлежи на изменение а) теол. Определение на Бога като Същество, което винаги пребивава едно и също и по същност, и по сила, и по съвършенство: 19а, 26а, 27б, 48а, 58б, 106а; б) есхат. Свойство на обновената във възкресението човешка природа: възстанѣть тѣло доуховно нензвратѣно 354б

подобити са – Уподобявам се, подобен съм: а) христал. В христологията терминът ‘уподобявам се’ означава действителното /не привидно/ възприемане от Бога-Слово на човешката природа в личностно единство със Своята божествена природа: н народотворѣць рода нашего оутробомнлостню своєю подобнѣвъ са намъ всѣмъ бывъ ѹлкъ без грѣха 261а; б) антропол. В християнската антропология терминът ‘уподобявам се’ /в смисъл на богоуподобявам се/ означава ‘развивам и усъвършенствам духовните си сили’: не хощетѣ же єдннѣ бѣ правднѣвъ, нѣ всѣмъ подобовати се бо протнвоу снѣтъ 319а

Има редица случаи, при които част от значенията на един термин се съотнасят помежду си като понятийни, а други – като функционални, например:

рождѣннѣ – 1. Раждане: а) общоупотр. естество рождѣннѣ; б) христал./мариол. С този термин в христологията и мариологията се означава действителното, а не привидно възплъщение на Бога Слово и ипостасното Му съединение с човешкото естество още при зачатие от Духа Свети и Дева Мария, възприемайки плът от нея (против докетите и др. ереси): пребываеѣ оубо н по роже-
ннн дѣвою прнснодѣва 288б; 2. Роденото, рожба: рождѣннѣ женьско 297б

Приведеният материал показва, че многозначност в богословската терминология на ЙоЕБ възниква между:

а) общоупотребимото и терминологичното значение на думата (т. нар. междусистемна полисемия), напр.:

всауѣскѣ – 1. общоупотр. Всякакъв: всауѣскыѣ птнцы 308а; 2. еклесиол. Вселенски, определение на Христовата Църква, характеризиращо я като институция, неограничена по място, време или народ, а приемаща в себе си повярвалите в Христа от всички места, времена и народи оунѣ оубо всауѣскаѣ н апостольскаѣ црѣкы сѣга 60б.

поунваѣн – 1. общоупотр. св. в. поунѣн – Отдъхвам, почивам: въ съ бо (св.дѣнь /сѣмбѣота) поун бѣ отъ дѣлѣ свонхъ 320б; 2. тринит. С този термин св. Йоан Дамаскин означава взаимоотношението на вечно съсъществуване и единение между Второто и Третото Лице на Пресв. Троица в противовес на Западното учение за изхождане на Св. Дух и от Сина (Filioque): тѣ (сѣтын дѣхъ, ск. Т. И.) въ сыноу поунваеѣ 70а (срв. още 44б).

б) между употребите на термина в различните теологични подсистеми (т. нар. вътрешно-системна полисемия), например:

ѣдннѣство – Единство: 1. тринит. С този термин се означава тъждеството на Божествената природа у трите Лица на Пресв. Троица: естѣствнѣоѣ ѣдннѣство 46а (срв. и 45б); съ бѣ нашѣ нже ѣдннѣствѣмъ н тронцею славословнмъ ...119а; 2. христал. С този термин в христологията се означава единството на личността на Иисуса Христа. Църквата изповядва, че Иисус Христос има две естества – божеско и човешко, съединени в едно лице, в една ипостас: оупостаснѣоѣ ѣдннѣство 287б

в) в рамките на една терминологична подсистема:

вндѣннѣ – гносеол. 1. Зрение, способност за виждане, едно от петте сетива (активна семантика): слѣпынмъ вндѣннѣ 9а; 2. Видимостта, външността на нещата (пасивна семантика): наше явленѣ н вндѣннѣ лнцѣмъ биваеѣ 96а; 3. Знание: явѣ же естѣ ако большнн меньшннмъ подають свѣтъ н вндѣннѣ 110б. Този превод вероятно се дължи на паронимия. Пример за обратна замяна: вун бо оубо божн н вѣцѣ н вѣдѣннѣ всемоу творенью вндѣщюю слѣоу н не оутаѣе

сд 94а; 4. прен. метафор. Съзерцание (вж. вндъ): д̄шьныа (сладостнн) соуть ... кѣлкоже ѡ оученнхъ и вндѣннхъ 185а; и тѣмь едннемъ слаж(д)ьшнмъ ѡвощемъ вндѣнне(м) его пнташе сѣ ѣко и аѣглъ д̄роугын 167а, срв. също 166б, 169а; 5. Видение, откровение, един от чудесните способности, посредством които Бог благоволява да открива и съобщава волята Си на пророците. Човек получава видение в будно състояние, изпадайки в екзалтация под особеното въздействие на Св. Дух.

В много случаи полисемията в рамките на една терминологична подсистема е резултат от вторична *терминологизация на термина*, при която настъпва стесняване на терминологичното значение – с един термин се назовават едновременно родово и видово понятие. С термина аѣглъ, например, се именуват всички безплътни небесни сили. Чрез семантична трансформация стесняване на значението, при която с видово понятие се означава подвидово (с название на клас предмети се назовава подклас) същият термин започва да се употребява за означаване на един от ангелските чинове:

аѣглъ /1/ > аѣглъ /2/.

Терминологизацията на термини възниква винаги на основата на терминологичен пренос. Ето още няколко примера:

БОГОЯВЛЕННЕ – 1. св. истор. Явяване на Божеството не по умозрителен път, а чрез сетивни образи образънымн богоявленнн 222б; 2. култ-рит. Наименование на един от големите християнски празници, който възпоменава кръщението на Исуса Христа в реката Йордан заради зримото явление на Пресв. Троица в този момент.

ПИСАНИЕ – библи. 1. Под това сборно название се разбират библейските книги на Стария и Новия Завет, които са написани от боговдъхновени мъже – пророци и апостоли: ꙗко ~ (21б, 23а, 46б, 129а, 327а); 2. рl t Сборно наименование на летописните старозаветни книги: таже д̄роугына патѣры кннгы зовомаа писаннѣ ... аже соуть снце: ꙗко навгннъ, соудна съ роуфскыннн, цр̄ьскыа пр̄ввыа съ вѣторыннн кннгы еднны, и двоа отъ параланпоменъ кннгы еднны 311б

Ако и многозначността в богословската терминология да нарушава едно от основните изисквания – всеки термин да назовава само едно понятие, тя не е пречка при разбирането, понеже в минимален контекст думата конкретизира значението си посредством останалото терминологично окръжение. Например, в ЙоЕБ термините πάθος и ἀπαθής, респ. вѣдъ, безвѣда в етиката имат нравствено-оценъчна семантика ‘който не подлежи на отрицателни душевни емоции, безстрастен’ (16б добродавецъ богъ сы всемъ добру давецъ есть, не завнстн, нн зъан ннкоенже повнннъ сы. далече бо есть б̄жна естества зъль всака. того бо еднно естество б̄жнне без вѣда и безавнстї), а в онтологията се използват със значение ‘който не подлежи на външно въздействие’ отнесени към нематериалната природа на Божеството (31а, 48а и пр.). В кое

от двете значения е употребен терминът ни подсказва останалото му терминологично окружение – в първия случай термини като ἀγαθός/добродавъць, φθόνος/зълъ, а във втория такива като οπισανъ, съложнь и др.

На определен етап от развитието от езика многозначността може да бъде преодоляна и да се съхрани само терминологичната употреба. Настъпва обратен процес на семантична редуция, стесняване на значението. Първичното или прякото значение може да отпадат от обръщение и думата да продължи да битува в езика с вторичното си или с някогашното си преносно значение. Например, **страсть** по-рано е означавала изобщо ‘търпене на отрицателно външно въздействие, страдание (физическо или душевно)’. Впоследствие значението на думата се стеснява до ‘душевно страдание’. Греховните наклонности се наричат страсти, защото се възприемат като страдание (болестно състояние) на душата под въздействието на бесовете. Срв. още семантичното развитие на агньць, при което се съхранява само преносната употреба, владыка, господъ, прнѣастъннкъ, храмъ и др.

Нашите проучвания върху терминологичното образуване в ЙоЕБ ни дадоха възможност да наблюдаваме още едно интересно явление в областта на лексико-семантичното терминологично образуване – т. н. семантична компресия (кондензация).

Според А. Ф. ЖУРАВЛЕВ механизмът на семантичната компресия се състои във включването в семантиката на някоя дума значението на друга дума, свързана синтагматически с първата по такъв начин, че едната от думите, влизащи в някое словосъчетание, съдържа в себе си значението на словосъчетанието като цяло [ЖУРАВЛЕВ 1982: 62–65].

Различават се следните видове семантична компресия:

1. Семантична компресия, при която субстантивирани прилагателно става носител на терминологичното значение на цялото терминологично словосъчетание: бесловесънаѧ, дѣшънаѧ, бездѣшънаѧ (sc. същества). За „движещите се небесни светила“ Йоан Екзарх въвежда непреведения грц. термин планнта или калкира грц. съчетание ἄστρα πλανητά с плаваѧщата звѣзда или само плаваѧщата.

Тези прилагателни се явяват изключително в пълната си форма, която им придава генерализиращо значение: нерожъствъноѧ н рожъствъноѧ разлѣчънѧ разлѣчъванѧ 90б.

В 112б старобългарският преводач предава грц. θεολογία посредством субстантивирания ср. р. мн. ч. всѧ богословесънаѧ. Л. САДНИК обяснява тази употреба на ср. р. мн. ч. от прилагателното богослов[ес]ънаѧ в ЙоЕБ с текстологична причина – изпускане на писанъѧ (грц. γραφή). Тя се опира в това си становище на Бодянски, който отбелязва в S. 114 елипса от седем букви от писанъѧ.

Като семантична кондензация, възникнала по пътя на съкращаването на изходна начална фраза ‘книгите на пророците и евангелистите’, ‘апостолските послания’, ‘пастирските и учителските наставления’, може да се схване и употребата на името на автора за означаване на неговите произведения в Н законъ же н прѣцн, евангѣлн н апѣлн н пастѣрскн глѣшн н оучнтелн 306б.

2. Семантична компресия, при която терминоелементът – съществително име става носител на терминологичното значение на цялото терминологично словосъчетание, напр. пнсаннѣ (вм. стѣе пнсаннѣ), отъць (вм. богъ отъць), и др.

Сложното терминологично словосъчетание \bar{w} небытна въ бытнѣ прѣвестн, грц. ἐκ τοῦ μη ὄντος εἰς τὸ εἶναι παράγειν някъде се явява в компресирана форма въ бытнѣ нзвестн, 52б въ бытнѣ прѣвестн, 58а, 103б, 104а, 119а, 155б нз небытъа нзвестн.

Термините, създадени посредством лексико-семантично терминообразуване, били лесно разбираеми и усвоими. Много от тях твърдо са се закрепили във философския терминологичен състав не само на първия литературен език на славяните, но и в съвременните книжовни славянски езици.

Посочените примери и направените разсъждения целят да обърнат внимание върху някои съществени страни от развитието на речника през периода IX–X вв. Промените в семантичната структура на думата имат по-дълбоки причини и не са така забележими, както процесът на възпримане и съставяне на нови думи. Но те са по-съществени и основни, тъй като могат да обуславят останалите. Семантичната диференциация на отделната дума може да доведе до синонимизиране с едни и противопоставяне с други думи или до специализиране на част от семантичните ѝ варианти, от чието единство тя се откъсва, за да получи свое собствено съществуване или да се приобщи към нова семантична група. Процесът е много активен и изисква систематично проучване в рамките на един по-продължителен период от време, в който се изявяват всички последиствия за лексикалната система на езика.

Съкращения

абстр.	абстрактно
антропол.	антропология
библ.	библейстика
гносеол.	гносеология
еклесиол.	еклесиология
есхат.	есхатология
етич.	етика
иконом.	икономия (домострой)
космол.	космология
култ.-рит.	култ и ритуал
мариол.	мариология
метафор.	метафора
метоним.	метонимия
мистериол.	мистериология
общоупотр.	общоупотребително
онтол.	онтология
прен.	преносно
разночет.	разночетене
респ.	респективно
св. в.	свършен вид
св. истор.	свещена история
сотириол.	сотириология
теол.	теология (в тесен смисъл)
христал.	христология
юрид.	юридически

Библиография

- Библия 1992: Библия сиреч книгите на Священото Писание на Ветхия и Новия Завет. София.
- БОЯДЖИЕВ 1986: Бояджиев, Т. Българска лексикология. София.
- ГЕОРГИЕВ–РУСИНОВ 1979: Георгиев С., Р. Русинов Учебник по лексикология на българския език. София.
- ДАНИЛЕНКО 1973: Даниленко, В. П. О терминологическом словообразовании // Вопросы языкознания, 1973, 4.
- ЕМИРЗЯН 1989: Емирзян, А. Общоезикови семантични процеси в терминологията // Български език 1989, 1, 39–48.
- ЖУРАВЛЕВ 1982: Журавлев, А. Ф. Технические возможности русского языка в области предметной номинации. // Способы номинации в современном русском языке, 62–65.
- ИВАНОВА-МИРЧЕВА 1959: Иванова-Мирчева, Д. Преносно значение на думата и преносимост на значението // Известия на Института за български език, кн. VI. София, 1959, 3–37.

- ИВАНОВА-МИРЧЕВА 1964: Иванова-Мирчева, Д. Стесняването на семантичната структура на думата като исторически процес // Известия на Института за български език. кн. XI. София, 151–160.
- ИЛИЕВА 2005: Илиева, Т. Метонимията като словообразователен способ в старобългарския език (върху материал от Йоан-Екзарховия превод на Богословието) // Български език, ЛП (2005), 3, 39–46.
- ИЛИЕВА 2006: Илиева, Т. Метафората като словообразователен способ в старобългарския език (върху материал от Йоан-Екзарховия превод на Богословието) // *Slavia* 75, (2006), 149–155.
- ЛЕВИТ 1969: Левит, З. Н. Очерки по лексикологии современного французского языка. Москва.
- ЛЕКОВ 1946: Леков, Ив. Отражение на обществените промени в лексиката // Език и литература, кн. 1, 5–7.
- ЛЪВОВ 1966: Львов, А. С. Очерки по лексике памятников старославянской письменности. Москва, 265.
- МАНОЛОВА 1987: Манолова, Л. Семантичната трансформация като средство за терминологизация на българския речников състав // II Международен конгрес по българистика. Доклади. Съвременен български език. София, 81–93.
- МУРДАРОВ 1983: Мурдаров, В. Съвременни словообразователни процеси. София.
- ПАВЛОВА 1982: Павлова, Е. Метонимията като стилно-езиково средство. София.
- ПОПОВА 1987: Попова, М. Метонимията като средство за номинация (по материали от българската терминология) // II Международен конгрес по българистика. Доклади. Съвременен български език, София, 81–93.
- СТАНКОВ 1994: Станков Р. Лексика Исторической Палеи. Велико Търново.
- ХРИСТОВА-ШОМОВА 2004: Христова-Шомова, И. Служебният Апостол в славянската ръкописна традиция. София.
- SADNIK 1967–1983: Sadnik, L. Des Johannes von Damaskus 'Εκθησις ἀκριβῆς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως in der Übersetzung des Exarchen Johannes, herausgegeben von Linda Sadnik. B. 1, 2, 3. Wiesbaden–Freiburg I. Br., 1967–1983 // *Monumenta linguae Slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes*, T. 5, S. 322–412–302.

Abstract

Lexical-semantic term-formation in Old Bulgarian (on the basis of John-Exarch's translation of "De fide orthodoxa")

The paper deals with the terminologisation of the common words as one of the main ways of the theological term-forming in Old Bulgarian, in particular in John-Exarch's translation of "De fide orthodoxa". The author have analyzed various changes to the semantic structure of the words – the expanding and the narrowing down of the word meaning, the abstraction, the metaphorical and the metonymical transfer of the meaning (lexical and contextual). She have discussed also the main types of the polysemy, which has emerged as a consequence of the lexical-semantic word-formation (conceptual and functional). There are in the article any examples for the phenomena as a terminologisation of the terms and semantic compression.

ИМПЛИЦИТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ В ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ РУССКИХ ПЕЧАТНЫХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ

КРИСТИНА К. КОВАЧ

0 Введение

«Раньше исследователи современного русского языка выбирали темы в основном по описательной и контрастивной грамматике, чтобы полученными результатами облегчить преподавание трудностей этого языка в венгерской аудитории на всех уровнях обучения. [...] направления теоретической лингвистики, конечно, были раньше известны в других, особенно западных странах, но их появление в венгерской русистике обозначает „смену парадигмы...“» [АДЯГАШИ 2011: 9].

Данная статья является продолжением исследования, посвященного структурным типам семантической пресуппозиции в русских печатных рекламных текстах, которое ведется в рамках выше упомянутой «смены парадигмы», входящей в основу исследовательского проекта¹, которым руководит профессор Клара Адягаши. При использовании современных лингвистических теорий и методов логической семантики, до сих пор – после периодизации русских печатных рекламных текстов [КОВАЧ 2002], – нами были рассмотрены некоторые типы семантической пресуппозиции в русских печатных рекламных текстах [КОВАЧ 2004], анализировались пресуппозиции с помощью модели двойного силлогизма [КОВАЧ 2007а], была выявлена связь между лексической неполнотой и пресуппозицией на материале рекламных текстов [КОВАЧ 2007б], а также описывался компаратив как структурный тип семантической пресуппозиции в русских печатных рекламных текстах [КОВАЧ 2009].

Семантика вопросительных предложений исследуется с применением разных методов семантического описания [АДАМЕЦ 1966, БЕЛНАП 1981, МЕЛИГ 1991, ШАТУНОВСКИЙ 2001, КОБОЗЕВА 2004]. В последние годы велись исследования, в которых семантическое описание вопросительных предложений основывается на объяснении их употребления в тексте или дискурсе. В настоящей статье рассматриваются рекламные тексты, содержащие неявно выраженную информацию, в которых обнаруживается вопрос с каким-либо ведущим приемом подачи этой имплицитной информации. При исследовании

¹ ОТКА № 68568 К

вопросительных предложений в русских печатных рекламных текстах мы хотели бы показать дополнительную информацию, воплощенную, но явно не выраженную в вопросах рекламных текстов.

Прежде всего необходимо пояснить некоторые понятия. В первой части работы дается определение и перечень возможных трактовок, а также видов имплицитных компонентов, релевантных для данного исследования. Во второй части ведется семантический анализ вопросов и различаются два основных вида имплицитности в вопросах: исходное предположение вопроса и пресуппозиция вопроса. В третьей части следует основная задача статьи – выявить явно не выраженные элементы в вопросительных предложениях русских печатных рекламных текстов (РПРТ).

1. Имплицитные семантические компоненты высказывания

Термин «имплицитный компонент смысла высказывания» в современной лингвистике употребляется в узком и широком смысле.

По узкой трактовке под имплицитными компонентами понимают только презумптивные составляющие смысла высказывания. Это компоненты, имеющие статус пресуппозиции. Такая трактовка восходит к работам Г. Фреге [ФРЕГЕ 1952], связывающего разграничение между ассертивными и неассертивными компонентами с возможностью, или же невозможностью отрицания. Этот подход также свойствен работам Н. Арутюновой [АРУТЮНОВА 1973], Е. Падучевой [ПАДУЧЕВА 1985] и др. Имплицитные компоненты содержат дополнительную информацию, разделяемую участниками коммуникации.

Развитие лингвопрагматики привело к появлению широкой трактовки имплицитных содержаний, таких как пресуппозиции, имплицитности, условия успешности речевого акта, исходное предположение вопроса и др. [ПАДУЧЕВА 1996, ХВОРОСТИН 2003, СИВЕНКОВА 2006]. В современной лингвистике закрепился второй подход.

Использование имплицитных смыслов в персуазивных текстах обусловлено тем, что «при помощи преднамеренной имплицитности происходит целенаправленное изменение картины мира у партнера по коммуникации. Такое воздействие на адресата происходит благодаря корректировке его представлений о предмете/явлении, представлений о соотношении предметов/явлений и действительности, представлений о действии, временной соотнесенности и т. д.» [ХВОРОСТИН 2003: 203].

При исследовании рекламных текстов до сих пор нами рассматривались тексты по отношению к семантической пресуппозиции. В данной работе исследуются пресуппозиция вопроса и исходное предположение вопроса как имплицитные содержания, а также анализируются их примеры в русских печатных рекламных текстах.

2. Семантический анализ вопросов

Одна и та же лингвистическая форма может означать различные намерения, а также, различные лингвистические средства могут служить выражению какой-то интенции. Существует много конструкций для выражения вторичного значения, появляющегося при коммуникации. Таким образом появляются косвенные речевые акты. Использование вопросительных конструкций для выражения косвенных речевых актов – известное лингвистическое явление. Многие, формально вопросительные выражения не являются, так сказать, «настоящими вопросами»². Они не направляются на получение ответа, а выражают просьбу, приглашение, совет, предложение, предположение, удивление, иронию, недоумление и др. Как Г. Колшанский отмечает: «Вопросительные предложения вообще могут рассматриваться как «пробный камень» теории речевой коммуникации, поскольку их всеобъемлющая структура вмещает такое разнообразие различных смыслов, которые умещаются в диапазоне от так называемого прямого до так называемого обратного смысла» [КОЛШАНСКИЙ 1984:74].

Прежде чем рассматривать конкретные примеры рекламных текстов, нам предстоит дать подходящую типологию вопросительных предложений.

2.1. Типология вопросительных предложений

В шестидесятых годах прошлого столетия О. Ахманова определяет вопросительное предложение как предложение, выражающее вопрос, а «вопрос – высказывание, имеющее целью побудить слушающего сообщить нечто неизвестное говорящему или представляемое говорящим как требующее выяснения» [АХМАНОВА 1965:84]. Наводящие вопросы внушают подходящий, желаемый ответ. В лингвистической литературе находим разные категоризации вопросительных предложений, проведенные по разным аспектам и на основе разных теорий.

В русской лингвистической традиции выделяют два основных класса: общевопросительные и частновопросительные предложения [ШВЕДОВА 1982 и ТЕСТЕЛЕЦ 2001], хотя трактовка в двух работах дается немного по-разному. В ряде функционально-семантических типов вопросительных предложений в Русской грамматике [ШВЕДОВА 1982: 394], в зависимости от характера и объема ожидаемой информации, общевопросительные предложения описываются как предложения, направленные «на получение информации о ситуации в целом: «Что случилось?; Что ему нужно?; Как поступить?; Как себя вести?», а «частновопросительные предложения заключают вопрос об отдельной стороне какого-либо факта, о деятеле, носителе состояния, о признаке, о тех или иных обстоятельствах: Кто это плачет?; А вы как сюда попали?...». Типология у Н. Шведовой далее следует на основе знаний спра-

² Термин был предложен Е. Линдстромом [LINDSTROM 1996].

шивающего и на основе ожидаемого ответа³. Г. Тестелец [ТЕСТЕЛЕЦ 2001:243], различает общие вопросы, которые содержат в себе призыв говорящего к слушающему оценить истинность высказывания (высказывание истинно или ложно, ответ да или нет, например, Мама приехала?), и частные вопросы, в которых говорящий ставит вопрос с вопросительным местоимением (Что ты мне принес?). Г. Тестелец также отмечает, что существуют косвенные вопросы, особенность которых «заключается в том, что придаточное оформляется так же, как и вопросительное независимое предложение, ср. Он не знает, что Иван приехал (косвенная речь, но не косвенный вопрос) и Он не знает, приехал ли Иван и Он не знает, зачем приехал Иван (косвенный вопрос)» [ТЕСТЕЛЕЦ 2001: 246].

При семантическом анализе требуется разграничение вопросительного предложения как синтаксического понятия и вопроса как семантической категории. По последней категории О. Есперсен [ЕСПЕРСЕН 1958] различает вопросы как предложения, выражающие собственно вопрос по коммуникативной функции, и интеррогативы, которые имеют вопросительные элементы в структуре, но не обязательно выражают просьбу об информации (как например в слогане: И кто же не хотел бы стать удачным?). На этом основании, вопросительные предложения подразделяются на предложения со стандартной семантикой и с нестандартной семантикой. В последнюю группу входят риторические вопросы, вопросы-просьбы, вопросы-предложения, вопросы-осуждения, переспросы, рефлексивные вопросы, и др. [ПАДУЧЕВА 1985: 233]. П. Рестан [РЕСТАН 1969] кроме этого сюда причисляет дубитативные, неуверенные, презумптивные, контактные и эмоциональные вопросы (вопросы-удивления). Типология вопросительных предложений, конечно, не исчерпывается видами, приведенными нами на этом месте.⁴

³ В зависимости от осведомленности говорящего о том, что спрашивается, вопросы делятся на три группы. Собственно-вопросительные предложения отражают неосведомленность спрашивающего (*Что в газетах пишут?*), неопределенно-вопросительные предложения совмещают вопрос с предположением, сомнением, неуверенностью (*Вы не меня ждете?*) и констатирующе-вопросительные предложения отражают полную уверенность (*Значит, я не ошибся?*). В зависимости от ожидаемого ответа отмечаются две группы: вопросы, требующие ответа-подтверждения или ответа-отрицания (*Тебе больно?*), и вопросы, требующие в ответе информации (*А где хозяин?*) [ШВЕДОВА 1982:394].

⁴ Д. Розенталь и М. Теленкова [РОЗЕНТАЛЬ – ТЕЛЕНКОВА 1985], а также Н. Валгина [ВАЛГИНА 1991], подобно Н. Шведовой, различают следующие типы вопросительных предложений: собственно вопросительные предложения, на которые реально ожидается ответ; вопросительно-утвердительные предложения, содержащие вопрос к собеседнику, от которого ожидается утверждение сказанного; вопросительно-побудительные предложения, и вопросительно-отрицательные предложения [РОЗЕНТАЛЬ – ТЕЛЕНКОВА 1985:43, ВАЛГИНА 1991: 76]. Ш. Балли в своей классификации вопросительных предложений, помимо деления их на обще- и частновопросительные (в терминологии Балли модальные и диктальные соответственно, т. е. относящиеся к

Иногда по форме общий вопрос нацелен на ответ, который скорее требует частного вопроса. Например, Ты далеко собрался? в смысле: Куда ты собрался? Имеют нестандартный характер также и предложения, которые содержат вопросительное слово, но не имеют вопросительного смысла ни в какой интерпретации: Почему бы Вам не попробовать наш йогурт? Что вы только не делаете за свою красоту?

Дж. Серль [СЕРЛЬ 1986:215] утверждает, что когда просьбы косвенно выражаются с помощью вопросительных предложений, в них главная мотивировка – вежливость. Однако, в виде вопроса выражаются даже и приказы, распоряжения, например Вы закончите разговор, наконец-то? или Сколько раз я говорил тебе не входить в мою комнату?. Р. Конрад отмечает, что «далеко не при всяких обстоятельствах считается вежливым задавать вопрос, не всегда это соответствует и условиям успешности речевого акта» [КОНРАД 1985: 370]. Вопрос иногда даже оказывается оскорбительной.

Вопросительная конструкция, теряя интеррогативную функцию при коммуникации, эффективно воздействует на воспринимателя и быстрее достигает желаемого результата. Именно поэтому в языке рекламы очень популярны риторические вопросы. вопросительные предложения в слогане являются как бы обращениями, т.е. попытками диалога с потенциальным потребителем, как например в слогане «Перейдем на “Т”?»⁵.

В нашем анализе представляется целесообразной типология на основе наличия в вопросительном предложении вопросительного местоимения, и на этом основании будут различаться общие вопросы (без вопросительного ме-

элементу модуса – истинностной оценке – либо к – сообщаемому содержанию), ввел еще противопоставление – полных и частичных вопросов в зависимости от того, охватывает ли сфера действия вопроса все предложение или же какую-то его часть [БАЛЛИ 1955]. Типология вопросительных предложений дается А. Стрельцовым по трем аспектам [СТРЕЛЬЦОВ 2009:55]. По характеру ожидаемого ответа вопросы подразделяются им на: (1) собственно-вопросительные – квеситивы, на которые требуется ответ: открытые (специальные); закрытые (дихотомические, т. е. общие и разделительные); альтернативные – обычно бывают закрытыми, но могут допускать и не содержащийся в вопросе вариант ответа; (2) вопросительно-утвердительные – в ответе ожидается утверждение сказанного: наводящие и повествовательные вопросы и риторические вопросы; и вопросительно-побудительные предложения: вежливая или скрытая просьба: этикетный вопрос, вопрос-намек; и квеситивный комиссив. По форме вопросительного предложения даются следующие типы: полные и эллиптические; положительные и отрицательные; прямые и косвенные. По сфере применения: в публицистическом и художественном дискурсе – переспрос, вопрос-повтор, встречный вопрос, риторический вопрос; а в научном и учебном дискурсе – исследовательский, гипотетический, и философский вопрос.

⁵ В слогане молодежного пивного бренда «Т» намек на более легкий способ знакомства. Расшифровка такова: пей пиво «Т» и сможешь перейти на «ты», например с красивой девушкой. Слоган скоро стал популярным крылатым выражением среди потребителей.

стоимения) и частные или специальные вопросительные предложения (с вопросительным местоимением). Семантическое исследование дальнейших имплицитных элементов содержания вопросительных предложений происходит на этом основании. Однако, прежде чем рассматривать вопросительные предложения в рекламных текстах, уместно выявить два типа имплицитной информации, дающие о себе знать в вопросах русских печатных рекламных текстов.

2.2. Исходное предположение вопроса

При описании общих вопросов в русском языке, Е. Падучева высказывает свое мнение о важной роли категории исходного предположения [ПАДУЧЕВА 1981]. Позже Е. Падучева [ПАДУЧЕВА 1985: 233] описывает в первую очередь вопросительные предложения со стандартной семантикой, но ее результаты также применимы к нестандартным интерпретациям вопросительных предложений. На основе допустимых ответов, она характеризует (1) вопросы, требующие прямой (а) и не прямой ответ (б) (Она придет? – а, Да/Нет. б, Вероятно.), (2) вопросы, требующие полный и неполный ответ (Кого Маша позвала на вечер? – Маша позвала на вечер Джона. – полный, но в ситуации, если Маша позвала Джона и Билла – неполный). В связи с полным и неполным ответами, Падучева опирается на трактовку Хинтиikki [ХИНТИИКИ 1974], который говорит о например-вопросах, таких, которые допускают неполный ответ. Например-вопросы – это вопросы без презумпции единственности [ПАДУЧЕВА 1985: 236], так как, если в вопросе есть такая презумпция, ответ на него становится полным.

В описании вопросо-ответного соответствия, Е. Падучева разграничивает (3) общие (Ты решил задачу?), альтернативные (Ты решил задачу или списал?) и специальные/частные вопросы (Кто решил задачу?) по синтаксической структуре, а также (4) вопросы, ответы которых (а) соблюдают и (б) не соблюдают предметную область вопроса⁶ (а, Кто из Петиних друзей тебе больше всего нравится? – Мне больше всего нравится Коля. – значит Коля – друг Пети. б, Какой день был самым памятным в вашей жизни? – Это была ночь.), (5) вопросы, допускающие информативный и не информативный ответ для спрашивающего (тавтологические ответы, напр. Что ты сказал? – Я сказал то, что я сказал.), и наконец (б) вопросы с ответами, соблюдающими и не соблюдающими **исходное предположение вопроса**.

Для специального вопроса исходное предположение (в дальнейшем ИП) – это «дизъюнкция всех возможных альтернатив, то есть $P(x_1) \vee \dots \vee P(x_n)$ », где x_i пробегает по всей предметной области вопроса (т. е. в наборе допустимых значений переменной), а $P(x_i)$ – результат подстановки x_i в матрицу вопроса (сентенциальную форму, которая получается в результате замены в предло-

⁶ Предметная область вопроса (ПОВ) – это набор допустимых значений переменной, на которую заменяется вопросительное местоимение в предложении.

жении вопросительного компонента на переменную). ИП специального вопроса – это существование по крайней мере одного объекта, обладающего нужным свойством: $\exists x P(x)$ » [ПАДУЧЕВА 1985: 239]. Некоторые лингвисты приравнивают ИП такого вопроса к его презумпции [КИНЭН – ХАЛЛ 1973].

Для общего вопроса ИП определяется по аналогии с частным вопросом, как дизъюнкция предложения и его отрицания. Е. Падучева принимает пример Хинтикки [ХИНТИККА 1978: 281]: Существуют ли единороги? ИП: Единороги либо существуют, либо нет.

Однако, Е. Падучева определяет ИП общего вопроса и по-другому [ПАДУЧЕВА 1985: 239]: ИП – это тот из дизъюнктивных членов, который говорящим считается более вероятным.

Вы хотите чаю?

ИП: Вы хотите чаю. (утвердительное)

Вы не хотите чаю?

ИП: Вы не хотите чаю. (отрицательное)

Вы хотите чаю или нет?

ИП: \emptyset

В вопросах с нестандартной семантикой в своей предпочтительной интерпретации, именно в значении просьбы, ИП утвердительное, например:

Ты не хочешь прогуляться?

ИП: Ты хочешь прогуляться. (утвердительное)

2.3. Исходное предположение вопроса и пресуппозиция

В описании вопросов среди лингвистов первыми обратились к понятию **пресуппозиции** Дж. Катц и П. Постал [КАТЦ – ПОСТАЛ 1964]. По их трактовке пресуппозицию вопросов составляют те условия, которые адресат принимает как данное. Задавая вопрос Кто видел Павла?, спрашивающий исходит из предпосылки, что кто-то видел Павла [АРУТЮНОВА 1973:86]. Позднее Э. Кинэн [КИНЭН 1971] предложил следующее формальное определение пресуппозиции вопроса: предложение S составляет пресуппозицию вопроса Q, если S есть логическое следствие всех возможных ответов на Q. Так, например, предложение Кто-то опоздал является пресуппозицией вопроса Кто опоздал?, что является логическим следствием всех мыслимых ответов на этот вопрос.

Исходное предположение играет иную роль в коммуникации, чем пресуппозиция вопроса [ПАДУЧЕВА 1996: 236], ведь исходное предположение может нарушаться без ущерба для коммуникации, пока реплика, нарушающая пресуппозицию вопроса, свидетельствует о неудаче коммуникативного акта:

Кто хочет выступить?

ИП: Кто-то хочет выступить.

В число допустимых ответов входит и: Никто не хочет.

Е. Падучева также ссылается на пример Ф. Кифера [КИФЕР 1977: 44–47]:

В каких странах проводится исследование загрязнения воды?

ИП (= background assumption): В некоторых странах проводится исследование загрязнения воды.

Без ущерба коммуникации допустим и ответ: Ни в каких не проводится. В случае же пресуппозиции (ПР), речь идет о неудаче коммуникативного акта при ответе:

Загрязнения воды не существует (или Какое загрязнение воды?).

По Ф. Киферу [КИФЕР 1983:33] «пресуппозиции общих вопросительных предложений могут описываться как пресуппозиции ответа на данный вопрос». Например, Сын Анны врач? Возможные ответы: (а) Да, он врач. (б) Нет, он не врач. Пресуппозиции (а) и (б) совпадают. Значит, пресуппозиции вопроса Сын Анны врач? совпадают с пресуппозициями (а) и (б), т. е. ПР₁: Есть некто, кого зовут Анной. и ПР₂: У Анны есть сын. «Сложнее оказывается ситуация с частными вопросами. Здесь невозможно просто отождествить пресуппозицию вопросительного предложения с пресуппозициями ответа на данный вопрос. Пресуппозиции утвердительного предложения остаются неизменными только при общем вопросе. Дело обстоит по-другому в случае частного вопроса». Кифер исходит из вопроса-ответа, пригодного для логического описания, и думает, что пресуппозиции вопроса в таком случае отождествляются с логическими следствиями вопроса-ответа [КИФЕР 1983:33–34], то есть совпадают с исходным предположением. Кто врач? ПР/ИП: Кто-то врач. Мы предполагаем, что в ответе будет назван кто-то.

3. Исходное предположение и пресуппозиция в вопросах РПРТ

Вопросительные предложения [МЕДВЕДЕВА 2004:124] более типичны для неличной рекламы, при которой коммуникация с потребителем ведется опосредованно при помощи технического средства. С психологической стороны вопрос предполагает ответ, поэтому потребитель подсознательно втянут в рекламный диалог, то есть в целом использование вопросительных предложений связано с контактоустанавливающей функцией рекламы.

Обычно в рекламных текстах используются два семантических типа вопросительных конструкций: риторический вопрос, не сопровождающийся ответом (напр. Может ли прокладка обеспечить и защиту, и комфорт одновременно?), и такой, ответ на который дан в рекламном тексте. Вопросительные предложения обычно используют в заголовках в качестве зачина. Они как бы смягчают следующую обычно за ними побудительную конструкцию. Например, Как спасти свое дело от банкротства и краха? Не отчаивайтесь,

выход есть! Обратитесь в компанию X. / Не хочешь платить дорого? Подключайся к Теле2. / Счастливые моменты семейной жизни. Вам нужен семейный автомобиль, вместительный и динамичный? Вы хотите подчеркнуть свою индивидуальность? Тогда NISSAN NOTE создан именно для вас.../ Хочешь иметь длинные сильные волосы? Новый Garnier Fructis «Длина и сила» с активным концентратом фруктов. / Все еще болит горло? Примите Стрепсилс!

Вопросы интересуют воспринимающего и позволяют его вовлечь в «дискуссию»: Можно ли создать великолепную кожу? Вы хотите хорошо выглядеть? Вам нравится элегантная одежда? На эти вопросы ожидается ответ «да». Также используются вопросы-загадки, активизирующие фоновые знания воспринимающего и воздействующие на него более эффективно. Примерами могут стоять следующие вопросы: Снова дали себе обещание питаться правильно в новом году? Вы чувствуете эту необыкновенную легкость? Как стать лучшей мамой на свете? Иногда в рекламах вопрос появляется со сказуемым в форме сослагательного наклонения: Почему бы Вам не заглянуть в наше кафе?

Исходное предположение вопроса очень распространенный тип имплицитной информации в рекламе. В классическом примере Ю. Пироговой, анализирующей проявления имплицитной информации в рекламном дискурсе, рекламный заголовок Что заменит пылесос? (реклама встроенных систем уборки) содержит ИП: Что-то заменит пылесос [ПИРОГОВА 2008].

3.1. Слоганы, содержащие частные вопросы

На основе вышесказанного, можем сделать вывод, что исходное предположение и пресуппозиция частного вопроса совпадают и в следующих слоганах передается надежность товара или компании.

Почему большинство использует мобильную связь Би Лайн?⁷
ИП/ПР: Почему-то большинство использует мобильную связь Би Лайн.

Что делает сигареты R1 Minima особенными?
ИП/ПР: Что-то делает сигареты R1 Minima особенными.

Что делает видеомэгафоны Акаі такими замечательными?
ИП/ПР: Что-то делает видеомэгафоны Акаі такими замечательными.

⁷ Вопросы с местоимением *почему* имеют особый характер, т. к. они не имеют вопросительный компонент, в котором замена переменной зависит от вопросительного слова. Ответы на *почему* не связаны с «телом» вопроса. Такой вопрос начинается с *почему* и продолжается с декларативным предложением, который представляет собой настоящий вопрос. Это декларативное предложение – внутренний вопрос, на который ответ *да* или *нет*. Например, (а) *Почему солнце встает на востоке?* (б) *Солнце встает на востоке?* – внутренний вопрос, (в) *Солнце встает на востоке.* – пресуппозиция [МАДАРАСНЭ – ФАРКАШ 2007: 2]. Чтобы ответить на вопрос *почему?*, необходимо принять (в) истинным через (б).

Когда Вы зайдете в наш автосалон?

ИП/ПР: Вы когда-нибудь зайдете в наш автосалон.

Где самый широкий ассортимент мужской обуви?

ИП/ПР: Есть где-то самый широкий ассортимент мужской обуви.

Механизм таков: рекламодатель наверно не будет задавать вопрос, на который возможен отрицательный ответ, поэтому восприниматель не подвергает предположение и пресуппозицию в вопросе сомнению. Вопрос привлекает внимание, может озадачить воспринимателя. Он почувствует желание прочитать рекламу до конца, чтобы найти ответ.

3.2. Слоганы, содержащие общие вопросы

Исходное предположение общего вопроса – дизъюнкция предложения и его отрицания, поэтому в слогане внушается, что восприниматель имеет альтернативу.

У Вас проблемы с кожей? (Есть решение! Телефон:...)

ИП: У Вас либо есть проблемы с кожей, либо нет.

ПР: Существуют проблемы с кожей.

Все еще ищете качественный Интернет? (Навигатор Онлайн – в поисках лучших находят нас!)

ИП: Вы либо ищете качественный Интернет, либо нет.

ПР: Существует качественный Интернет.

Вы все же не купили Комтел?

ИП: Вы либо купили Комтел, либо нет.

ПР: Существует Комтел.

Вы заметили, насколько удобен этот спальный гарнитур?

ИП: Вы либо заметили, насколько удобен этот спальный гарнитур, либо нет.

ПР: Существует факт «удобен спальный гарнитур», независимо от того, заметили ли восприниматели или нет.

Знаете ли Вы, что у нас самые низкие цены?

ИП: Либо знаете, что у нас самые низкие цены либо нет.

ПР: Существует факт «у нас самые низкие цены», независимо от того, знают ли восприниматели или нет.

В этих слоганах сочетается возможность выбора и надежность рекламируемого объекта, таким образом, покупатели убеждены в правильности своего выбора. Рекламодатель пользуется приемом накопления согласия.

4. Заключение

В рекламных текстах используют ряд вербально-суггестивных приемов, чтобы воздействовать на получателя и склонить его к согласию. Призыв к действию через вопрос один из самых распространенных методов. Исходное предположение и пресуппозиция вопросов служат манипуляционными средствами при восприятии слоганов. При общих вопросах, исходное предположение дает как бы альтернативу для воспринимающего, не принуждая его ни к чему, чего он не хочет. А пресуппозиция представляет передаваемую информацию надежной и само собой разумеющейся. Исходное предположение и пресуппозиция частного вопроса совпадают, и этим самым выражается надежность товара или компании. Поскольку воспринимающий исходит из того, что рекламодатель не станет задавать вопрос, на который возможен отрицательный ответ, он склонен принять исходное предположение вопроса как данность, не подвергая его сомнению.

Анализированные примеры также показали, что рядом с явно выраженной информацией, семантический разбор может представлять и скрытую, имплицитную информацию видимым элементом.

Литература

- АДАМЕЦ 1966: Адамец, П. Порядок слов в современном русском языке. Прага.
- АДЯГАШИ 2011: Адягаши, К. Введение // *Tractata Slavica* 3:9. Дебрецен.
- АРУТЮНОВА 1973: Арутюнова, Н. Д., Понятие пресуппозиции в лингвистике // *Известия Академии Наук СССР, Серия Литературы и Языка*. 32:1. Москва.
- АХМАНОВА 1965: Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов. Москва.
- БАЛЛИ 1955: Балли, Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. Издательство иностранной литературы, Москва.
- БЕЛНАП 1981: Белнап, Н. Логика вопросов и ответов. Прогресс, Москва.
- ВАЛГИНА 1991: Валгина, Н.С. Синтаксис современного русского языка. Высшая Школа, Москва.
- ЕСПЕРСЕН 1958: Есперсен О. Философия грамматики. Издательство иностранной литературы, Москва.
- КАТЦ–ПОСТАЛ 1964: Katz, J., Postal, P. An Integrated theory of linguistic descriptions. [Интегрированная теория лингвистических описаний] Cambridge, pp. 115–117.
- КИНЭН 1971: Keenan, E. L. Quantifier structures in English [Структуры квантора в английском языке] // *Foundations of Language*, 7/2:268.
- КИНЭН–ХАЛЛ 1973: Keenan, E. – Hull, R. The logical presuppositions of questions and answers [Логические пресуппозиции вопросов и ответов] // *Presuppositions in philosophy and linguistics*. Ed. J. Petőfi, D. Franck. Athenäum, Frankfurt.
- КИФЕР 1977: Kiefer, F. Some semantic and Pragmatic Properties of WH-questions and the Corresponding Answers [Некоторые семантические и прагматические свойства частных вопросов и их ответов] // *SMIL* 3:42-71. Stockholm.
- КИФЕР 1983: Kiefer, F. *Az előfeltevések elmélete* [Теория пресуппозиций]. Akadémiai Kiadó, Budapest.
- КОБОЗЕВА 2004: Кобозева, И. М. Лингвистическая семантика. УРСС, Москва.

- КОВАЧ 2002: К. Ковач, К. Стереотипность в языке реклам. Текстовые и культурологические явления. // Избранные вопросы русского языка и лингводидактики, 193–201. Познань.
- КОВАЧ 2004: К. Ковач, К. Некоторые типы пресуппозиций в русских печатных рекламных текстах. // *Slavica* 33: 105–127. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debreceni Egyetem.
- КОВАЧ 2007а: К. Ковач, К. Esettanulmányok az ellentétviszonyban megfogalmazott preszuppozíciók feltárására az orosz nyomtatott reklámszövegekben [Анализ пресуппозиций, выражающихся в оппозиционных конструкциях в русских печатных рекламных текстах]. // *Argumentum* 3: 19–33. Online: <http://argumentum.unideb.hu/2007-anyagok/KissneKK.pdf> Debrecen.
- КОВАЧ 2007б: К. Ковач, К. К вопросу о связи между лексической неполнотой и пресуппозицией (На материале русских печатных рекламных текстов). // *Slavica* 36: 33–50. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debreceni Egyetem.
- КОВАЧ 2009: К. Ковач, К. Компаратив как структурный тип семантической пресуппозиции в русских печатных рекламных текстах. // *Slavica* 38: 59–65. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debreceni Egyetem, Debrecen.
- КОНРАД 1985: Conrad R. Fragesatze als indirekte Sprechakte // *Studia Grammatica*, XXII: Untersuchungen zur Semantik / R. Ruzicka und W. Motsch (Hrsg.). Berlin: Akademi Verlag, 1983. P. 343–367.
- КОЛШАНСКИЙ 1984: Колшанский, Г. В. Коммуникативная функция и структура языка. Наука, Москва.
- ЛИНДСТРОМ 1996: Линдстром, Е. Н. Сопоставление прагматических функций вопросительных предложений. // http://pbunjak.narod.ru/gosti/L_Lindstrom_Pragma.htm 10.09.2012.
- МАДАРАСНЭ–ФАРКАШ 2007: Madarászne Zsigmond M., Farkas Gy., A MIÉRT kérdések szemantikájáról és pragmatikájáról [О семантике и прагматике вопросов с «почему»] www.phil.elte.hu/institute/course/0708o/XX-064.02.rtf 22.09.2009
- МЕДВЕДЕВА 2004: Медведева, Е. В. Рекламная коммуникация. УРСС, Москва.
- МЕЛИГ 1991: Мелиг, Х. Экзистенциальные и экспликативные вопросы // *Russian Linguistics* 15: 117–125.
- ПАДУЧЕВА 1981: Падучева, Е. В. Презумпции и другие виды неэксплицитной информации в предложении. // НТИ, Москва, сер. 2/11: 23–30.
- ПАДУЧЕВА 1985: Падучева, Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. Наука, Москва.
- ПАДУЧЕВА 1996: Падучева, Е. В. Семантические исследования. Школа «Языки русской культуры», Москва.
- ПИРОГОВА 2008: Пирогова, Ю. К. Основные разновидности имплицитной информации и ее источники в тексте: www.ae-lib.org.ua/texts/pirogova_information_ru.htm, 17.08.2008.
- РЕСТАН 1969: Рестан, П. Синтаксис вопросительного предложения. Осло.
- РОЗЕНТАЛЬ–ТЕЛЕНКОВА 1985: Розенталь, Д. Э., Теленкова, М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов. Просвещение, Москва.
- СЕРЛЬ 1986: Серль, Дж. Р. Классификация иллокутивных актов // *Новое в зарубежной лингвистике*. 17: 170–195. Прогресс, Москва.
- СИВЕНКОВА 2006: Сивенкова, М. А. Неассертивные компоненты смысла высказывания в различных типах диалогических контекстов // www.russcomm.ru/rca_biblio/s/sivenkova_oref.doc 21.09.2009.

- СТРЕЛЬЦОВ 2009: Стрельцов, А. А. Опыт типологий вопросительных предложений. Ростов-на-Дону.
- ТЕСТЕЛЕЦ 2001: Тестелец, Я. Г. Введение в общий синтаксис. РГГУ, Москва.
- ФРЕГЕ 1952: Frege, G. On Sense and Reference [О разуме и референции] // *Translations from the philosophical writings of Gottlob Frege*. Oxford.
- ХВОРОСТИН 2003: Хворостин, Д. В. Неассертивные компоненты смысла высказывания как средство корректировки языковой картины мира // Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах: Материалы II Междунар. науч. конф., Челябинск, 5–6 дек. 2003 года. Отв. ред. Л.А. Нефедова; Челяб. гос. ун-т. Челябинск, 203–205.
- ХИНТИККА 1974: Hintikka, J. Вопрос о вопросах // *Философия в современном мире*. Наука, Москва.
- ХИНТИККА 1978: Hintikka, J., *Answers to Questions* [Ответы на вопросы] // *Questions*, ed. H. Hiz. Dordrecht: Reidel. 279–300.
- ШАТУНОВСКИЙ 2001: Шатуновский, И. Б. Основные типы полных (общих) вопросов в русском языке // *Русский язык: пересекая границы*. Дубна, 246–265.
- ШВЕДОВА 1982: Шведова, Н. Ю. (гл. ред.), *Русская грамматика т.2*. Наука, Москва.

Abstract

Implicit Meanings in Questions in Russian Print Advertisements

In advertising texts, a range of verbal and suggestive methods are used to influence the recipients and persuade them to purchase a product or use a service. A call to action through a question is one of the most common methods. The background assumption and presupposition serve as a means of manipulation in slogans. For example, background assumption in slogans provides an alternative to the recipients, not forcing them to do what they do not want to and presuppositions suggest reliable information.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПАРАДОКСАХ ЭТИМОЛОГИИ

ЖИВКА КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА

Этимология – одна из старейших языковедческих наук. Еще древнегреческие философы рассуждают над вопросами о происхождении слов, стремясь постичь истину, которую они несут в себе, в соответствии с внутренней формой самого термина «этимология» (от гр. *ἐτιμολογία* ‘истина’ и *λόγος* ‘слово; наука’). Попытки оценить сегодня этимологию с разных сторон дают основание говорить о парадоксах этой старой и заслуживающей уважения лингвистической научной области.

Первый парадокс

Как раздел сравнительно-исторического языкознания, этимология имеет большие заслуги в становлении научных основ языковедческой науки. Формулирование точных фонетических законов и их приложение в объяснении лексической эволюции и доказывании языкового родства явилось решающим фактором в утверждении научного подхода к языку и в частности в превращении сравнительно-исторического языкознания в точную науку. По словам Вл. ГЕОРГИЕВА, открытием безысключительных фонетических законов «языкознание получило право считаться настоящей наукой, потому что область знания заслуживает права нести благородное имя строгой науки, если она в состоянии установить закономерности в явлениях, которые исследует (разрядка моя: Ж. К.)» [1985: 8]. Не случайно фонетические законы можно определить как одно из самых замечательных открытий лингвистики.

Но если этимология XIX века для своего времени находилась на самом высоком уровне научного познания, так как сформулированные этимологические гипотезы опирались на достигнутом к тому времени языковедческой наукой, то для этимологии XXI века этого утверждать уже невозможно. Все еще актуальна сделанная В. И. АБАЕВЫМ констатация, что «этимология – наука консервативная», которая «живет в основном в русле младограмматических традиций» [1986: 20], что означает единственно беспрекословное соблюдение фонетических законов и игнорирование вопросов содержательной стороны слова. По словам В. Сандерса, в большей своей части этимология остается «исторической дисциплиной, основанной на формах» [SANDERS 1977: 48]. В. К. ЖУРАВЛЕВ тоже отмечает, что решение этимологических задач – это «прежде всего решение задач формальных, реконструкция звуковой

стороны слова» [1986: 61]. В современной этимологии так и не получили должного применения результаты семантических исследований, отметившие во второй половине XX века значительные успехи как в эмпирическом, так и в методологическом отношении. И сегодня остается актуальной констатация Р.И.БУДАГОВА, сделанная полвека тому назад, что в этимологических словарях довольно часто можно встретить замечание «фонетически невозможно» и почти никогда – «семантически невозможно» [1963: 10].

Не может не произвести впечатления и то сопротивление, с каким авторитетные этимологи относятся к идее о приложении достижений современной лингвистики в этимологии. Показательна в этом отношении статья О. Н. ТРУБАЧЕВА, посвященная семантической реконструкции, где критике подвержен и генеративистский, и структуралистический подход к лексическому значению, а также использование метаязыка при его экспликации, и одновременно с этим подчеркивается важность всецело субъективного «семантического инстинкта» этимолога, базированного на богатом исследовательском опыте [1988]. При реконструкции значения слова этимолог продолжает располагать слишком большой свободой и руководствоваться, прежде всего, «соображениями правдоподобия, основанными на „здоровом смысле“», на личной оценке, на параллелях, которые он может привести [БЕНВЕНИСТ 1974: 331]. Этот «здоровый смысл» или «семантический инстинкт», однако, трудно определить, невозможно измерить. Следует отметить, что научные исследования, в которых инстинкт исследователя является руководствующим фактором, трудно признать научными в высшей степени.

Доминирующее соблюдение фонетических законов, как ведущий, а иногда и как единственный критерий для научности этимологической гипотезы, не может не вызвать возражений со стороны теоретической лингвистики. Слово как знаковая единица имеет двусторонний характер. Оно является элементом системы языка, и его семантика системно обусловлена. Сохраняется в семантической памяти человека, зависит от его познавательных способностей и осуществленной познавательной деятельности. Поэтому семантическая реконструкция имеет такую же важность для этимологии, как и реконструкция формы. В этимологических словарях обычно не ставится вопрос, возможно ли реконструированное лексическое значение с предположенными семантическими связями и внутренней формой с точки зрения семантической памяти человека другой эпохи. Актуальность этого вопроса особенно возрастает, когда реконструируются значения древних лексем. Тогда необходим учет особенностей примитивного мышления. И в этом отношении ценными могут быть исследования когнитивной лингвистики и психолингвистики, в частности психолингвистики развития. Возможно ли, например, чтобы корень индоевропейского названия для глаза **ok^w* - имел первоначальное значение 'видеть; смотреть', как утверждают многие этимологические словари [BRÜCKNER 1985: 377; WALDE-HOFMANN 1938, III: 201; KLUGE 1963: 38; POKORNY, I: 775-777; WAHRIG 1985: 485; DUDEN ETYMOLOGIE: 40; ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 1958, I: 347; СКОК, II: 551; БЕР, IV: 844;

ЧЕРНЫХ 1999, I: 594], т. е. чтобы глаз был назван словом с внутренней формой «видящий; смотрящий»? Возможно ли существование слова с такой внутренней формой в семантической памяти древнего человека? Иными словами, возможно ли, чтобы индоевропейцы сначала располагали перцептивным глаголом со значением ‘видеть; смотреть’ и впоследствии от него образовали название для глаза? А это самое старое индоевропейское название глаза. Возможно ли также, чтобы индоевропейское название камня, к которому восходят др.-болг. *камъ*, лит. *akmuõ* ‘камень’, др.-гр. ἄκμων ‘наковальня’ (< ‘большой камень’), др.-инд. *ásma* ‘камень; скала; небо’, авест. *asman-* ‘камень; небо’ и др., в момент своего создания осознавалось как слово с внутренней формой «что-то острое» [SŁAWSKI, II: 38; БЕР, II: 189], чтобы первоначальное значение корня слова (**ak*'-, **ok*'- или **ak*-) было значение ‘острый’ [BRÜCKNER: 215; SŁAWSKI, II: 38; БЕР, II: 189; BEZLAJ, II: 13; ЭССЯ, IX: 138]. Данные этимологизации представляют слово как отадъективное образование, мотивированное функционально. В [ЭССЯ, IX: 138–139] отмечено, это название камня старое, возможно, что «восходит в дометаллический век каменных орудий». Правдоподобно ли, чтобы древний человек образовал функционально мотивированное название для камня? Как показали исследования когнитивной лингвистики, для примитивного, магического мышления, каким является и детское мышление, характерны эгоцентрические, агентивные, конкретные, богатые информации, часто употребляемые понятия [DEANE 1992: 195]. Агентивность понятий следует понимать как наделенность соответствующих сущностей действенной силой, причем налицо синкретичность, неделимость объекта и его признака в сознании. Эта точка зрения подтверждается и отмеченным Б. Уорфом фактом, что в языках примитивных культур, какими являются и индианские языки, существительным из европейских языков иногда соответствуют глаголы. В языке хопи, например, названия молнии, волны, пламени, метеора и др. являются глаголами, а в языке нутка все слова похожи на глаголы, даже о доме можно сказать, что он «бывает», иными словами, что он «домит» (цит. по [УОРФ 1960: 177]). Это означает не что иное, как агентивность имен. Учитывая этот факт, связь между значениями ‘камень’ и ‘острый’ можно осмыслить в когнитивной перспективе и определить название камня как агентивное, наделенное действенной силой, признаком ‘острый’. Если все-таки можно указать какую-либо дискретность и направление семантического развития, то это, скорее всего в обратную сторону – от предмета, наделенного действенной силой, к его признаку. Так проявляется агентивность древних понятий. Как проявление агентивности следует рассмотреть и семантическую связь ‘глаз’ > ‘видеть; смотреть’ относительно индоевропейского названия глаза и его производных. При реконструкции древних значений следует иметь в виду, что средства современного языка, использованные в их метаязыковой функции, трудно могут эксплицировать точно древнюю диффузную семантику. Поэтому при толковании древних значений необходимо использовать все ресурсы современного

языка, в том числе и искусственные описания, чтобы максимально точно представить древнюю семантику.

Вне внимания этимологов в целом остались и достижения в области изучения механизмов знакообразования, типов мотивированности, в том числе и фонетической, в частности звуковой символики, иконической связи между звуковой формой знака и незвуковым значением. Отметим, что рассуждения о происхождении слов, о соотношении между словами, являющимися делом социального договора, и словами с отприродной связью между звуковой формой и значением начаты еще древними греками. И сегодня не потерял актуальности спор между Сократом, Гермогеном и Кратилом, представленный в известном диалоге Платона «Кратил» – одном из первых сочинений, посвященных философии языка. Не опровергнуты современной наукой слова Сократа, что «одни имена составлены из более ранних, другие же – самые первые» [ПЛАТОН]. Однако в настоящее время, хотя уже никто не сомневается в существовании звукового символизма, о чем свидетельствует и создание новой науки – фоносемантики, лексика звукосимволического происхождения в этимологических словарях почти не реконструируется. Вполне основательно С. В. ВОРОНИН отмечает, что можно говорить о «парадоксе отношения к звукоизобразительным словам», который заключается в том, что «этимологические и сравнительно-исторические штудии обычно всячески отрешиваются от звукоизобразительной лексики, но обойтись без нее, увы, объективно не могут» [1990: 64]. В результате применения неподходящей для их исследования всей процедуры сравнительно-исторической этимологизации (см. эту констатацию в цитированной выше статье В. И. АБАЕВА [1986: 17]) такие слова попадают либо в число слов, обозначенных как неясные, либо получают неадекватное объяснение. Как неясные в этимологических словарях указаны, например, следующие иронические названия человека: сербск. *бам-була* ‘неотесанный, неуклюжий человек’ (цит. по [ЕРСЈ: II: 141]), укр. диал. *бэм-б-а, бэм-бул* ‘дурак, балда’ (цит. по [ЕСУМ, I: 166]), укр. диал. *вер-гел-а* ирон. прозвище высокого человека, *вир-гел-а* ‘здоровенный человек’, *вер-гил-о* ‘высокий неуклюжий человек’, *вер-вел-а* ‘высокий, долговязый человек’ (цит. по [ЕСУМ, I: 352]), белорусск. *кур-куль* ‘богатый крестьянин’ (цит. по [ЭСБМ, IV: 168]), болг. диал. *брам-бал-о* ‘толстый, здоровенный человек’ (цит. по [БЕР, I: 73]), болг. диал. *гър-гон-я* ‘сгорбившийся человек’, *з-гър-гор-ил се, з-гър-гуш-ил се* ‘о сильно постаревшем человеке’ (цит. по [БЕР, I: 302]), укр. диал. *гёр-гель* ‘человек с длинной шеей’, *гёр-гуль* ‘неуклюжий человек с длинной шеей’ (цит. по [ЕСУМ, I: 498]), укр. диал. *гор-гол-я* ‘высокий человек’, *гор-гон-я* ‘очень высокая женщина’ (цит. по [ЕСУМ, I: 563]), чешск. диал. *гай-гор-а* ‘грубиян’ (цит. по [МАСНЕК 1971: 149]), укр. диал. *дун-д-ук* ‘упрямый человек; старый холостяк; тупой, недоразвитый человек; старый болван’ (цит. по [ЕСУМ, II: 145]). На основании того, что данные слова содержат редуцированные звуковые комплексы, характеризуются образностью, экспрессивностью, для них можно предположить звукоизобразительное происхождение, точнее – звукосимволическое. Более подробно о критериях

распознавания слов звукосимволического происхождения см. [Колева-Златева 2008]. Если судить по большинству этимологических словарей индоевропейских языков, в том числе и славянских (многие из которых вышли и в последние годы), звукосимволических слов в этих языках якобы нет или почти нет. Этот вывод касается и древних языков, и праязыков, континуантами которых являются современные индоевропейские языки.

Не превратился в жесткое требование этимологического анализа и учет внутренних факторов развития языка: тенденции к экспрессивности, эмотивности и к экономии, к мотивированности и к немотивированности языкового знака, к дифференциации и унификации языковых единиц. При этом игнорируется факт, что развитие каждого слова происходит на стыке действия внешних и внутренних движущих сил, закономерных и случайных (более подробно об учете тенденций развития языка в этимологии см. [КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА 1998: 23–32]). Общей слабостью этимологических исследований является то, что слова не исследуются в их динамике, не ищутся причины их появления в языке и изменений, которым подвергаются. Если известно, например, что данное название сменяет уже существующее название денотата, то для него возможно образование в соответствии с тенденцией к экспрессивности, эмотивности. Такой генезис можно предположить, например, для болгарского названия для ноги *крак*, вытеснившего псл. **noga*, также и для самого псл. **noga*, поскольку вытеснило ие. **pod-*; для русского *глаз*, вытеснившего псл. **oko*. Отсутствие единого для группы родственных языков названия определенного денотата тоже можно объяснить экспрессивными причинами. Предварительная гипотеза об экспрессивном характере исследуемого слова даст важный толчок в поиске мотивирующего признака названия. Нередко факт отсутствия единого для группы родственных языков названия просто констатируется без последующих исследовательских шагов в сторону раскрытия акта номинации. Например, относительно псл. **bedro* в [ЭССЯ, I: 179] отмечено следующее: «Лексема **bedro* обозначает верхнюю часть ноги от таза до колена, бедренную кость, кстати сказать – самую длинную кость человека. Лексические инновации, экспрессивные по природе, отмечены здесь и для других языков. Характерно отсутствие общего и.-е. названия бедра, в отличие от нижней части ноги, ступни (и.-е. **pod-*).» Приведенные факты никаким образом не послужили для аргументации представленной гипотезы об образовании слова от глагольной основы со значением ‘бить, колоть’. И если слово возникло как экспрессивное, оно должно было войти в конкурентные отношения с существовавшим до этого нейтральным названием. Не становится ясным и какое значение для представленной гипотезы имеет факт, что слово называет самую длинную кость человека. Также и Й. Русек подчеркивает отсутствие единого славянского названия для икры ноги, не объясняя этот факт [RUSEK 1984: 45]. А относительно индоевропейского названия для руки (*hand*) Брюкнер пишет: „Странно (разрядка моя – Ж. К.-З.), что нет первичного, единого для всех индоевропейцев названия для руки (*hand*), все по-разному ее называют...” [BRÜCKNER: 458–459]. Ко-

нечно, отсутствие единых названий в данных случаях мнимое, нужно объяснить причины динамики образования новых слов, которые, вступая в отношения конкуренции с существующими обозначениями, вытесняют их.

Итак, для того, чтобы этимологическая гипотеза была на необходимом научном уровне, этимолог должен считаться и с рядом дополнительных факторов, а не только с фонетическими законами. Односторонний учет только фонетических законов и игнорирование других закономерностей, установленных лингвистической наукой, позволяющих оптимизировать семантическую реконструкцию, делает этимологические гипотезы в большой мере субъективными (а это означает и ненаучными). Без критериев семантической реконструкции не могут быть разграничены древние омонимы, невозможно дать вероятностную оценку реконструированному первоначальному значению слова и предположенному семантическому развитию. Не могут быть решены адекватно и вопросы формальной реконструкции, так как только на основании научно обоснованной семантической реконструкции возможно правильное определение родственных языковых форм, которые нужно вывести из одного и того же этимона. Получается околдованный круг, в котором страдает и сама формальная реконструкция, о которой давно уже все известно.

Второй парадокс

Сравнительно-исторический метод обязан своим рождением этимологии, накопленным этимологическим исследованиям, в большей своей части наивным, основанным на интуиции. Встав на плечи этого гениального метода, вооруженная созданными им фонетическими законами, этимология, однако, как справедливо отмечает Фердинанд дьо СОСЦИОР, «не задерживает своего внимания на выяснении характера тех операций, которые ей приходится производить» [1933: 173]. Вопросы использованной процедуры анализа, последовательность осуществляемых действий, их охват, обязательный или факультативный характер, остаются вне ее поля зрения. Целесообразность соблюдения определенной методики не стоит перед этимологией, которая чаще всего ставит перед собой чисто эмпирические задачи. Это противоречие нельзя не определить как парадокс. Наука, которая лежит в основе рождения самого замечательного из методов лингвистики, не стремится к методологическому самоусовершенствованию. По словам В. Н. ТОПОРОВА, «подлинной теорией этимологии, к сожалению, нет, хоть есть немало ценных заключений и наблюдений этимологического характера, которые и помогают этимологу, как правило и в удачных опытах, сформулировать некий конечный результат в виде реконструкции источника исследуемого слова в том, что касается его звуковой формы и связываемого с нею смысла [2004: 12]. Слишком редко появляются теоретические обобщения относительно целесообразности приложения той или иной методики в этимологии.

Также и сделанные выводы относительно методологии этимологических исследований не становятся обязательными при последующей исследовательской работе. Например, несмотря на то, что многие исследования доказали целесообразность системного подхода в этимологии (см., например, [ГРУБАЧЕВ 1959; 1960; 1963; 1966; МЕРКУЛОВА 1965; МЕЛЬНИЧУК 1969; МАРТЫНОВ 1971; ИВАШИНА 1975; НЕМЕС 1980; BLANÁR 1984; ГОРЯЧЕВА 1986 и др.]), этот подход все еще не стал практикой в новоизданных этимологических словарях. Нередко работа между составителями словарей распределяется на алфавитном принципе, и случаи взаимосвязанного семантического развития остаются незамеченными. Например, в Болгарском этимологическом словаре диалектное слово *мишка* ‘стебель, ветка растения’ представлено как один из омонимов болг. диал. *мишка* ‘часть руки от плеча до локтя’ и указано как неясное [БЕР, IV: 143]. При этом не учтены следующие факты, представленные в том же словаре: др.-болг. *ржѣца* ‘ветка’, производное от праславянского названия руки **rǫka* [БЕР, VI: 383]; болг. диал. *колтук*, означающее ‘часть руки от плеча до локтя’ и ‘лишняя ветка’, ‘лишний побег на стебле помидора’ [БЕР, II: 562]. Разрозненность этимологизаций не дала возможность заметить устойчивую связь между значениями ‘рука’ и ‘расклонение, ветка’. Такие случаи показывают, что системный подход должен быть обязательным условием этимологического анализа, для того чтобы сформулированная гипотеза в более высокой степени соответствовала требованию научности. Тем более, что структурная лингвистика неоспоримым способом доказала системный характер языка на всех его уровнях.

Совсем не будет преувеличенным, если сказать, что этимология сегодня самая закостенелая в методологическом отношении область лингвистической науки, по словам В. И. АБАЕВА – наука, в которой «наблюдается определенный методологический застой», в то время, когда другие области языкознания пережили подлинную революцию [1986: 8]. Несмотря на сильный старт научной этимологии в XIX веке, отмеченный рождением сравнительно-исторического метода, современная этимология далеко от научного уровня, на котором могла бы быть. Прежде всего, из-за своего методологического неусовершенствования, из-за своего консерватизма, из-за дистанцирования от достижений таких современных областей науки о языке, как когнитивная лингвистика, психолингвистика, социолингвистика, лингвосемиотика, фоносемантика.

Третий парадокс

Другой парадокс, связанный с наукой этимологией – это контраст между все более уменьшающимся интересом ученых к ее проблематике и в противовес этому – устойчивым интересом со стороны обыкновенных носителей языка, которые среди всех научных областей лингвистики в наибольшей степени оказываются привлеченными вопросами о происхождении слов, их внутренней форме и развитии. В этом отношении сравни с множеством

изданных популярных этимологических словарей, радующихся большим тиражам. Показателен и факт, что только к термину «этимология» существует параллельный термин «народная этимология». Сравни также с любопытным фактом, что защищены диссертации, доказывающие важность этимологии в школе, как средство формирования интереса учеников начальных классов к украинскому языку [МОВЧУН 2000], как средство обогащения словарного запаса учащихся [ЛЕВКУШИНА 2000]. Одновременно с этим все меньше и меньше молодых ученых оказываются вовлеченными в исследовательскую работу по этимологии. И сама этимология не оказывается очень гостеприимной научной областью для новых исследователей, особенно молодых. Ведь, как отмечает О. Н. ТРУБАЧЕВ относительно ведущей роли «семантического инстинкта», он определяется в основном опытом этимолога, а не его способностями или теоретической подготовкой: «К счастью, сейчас составители этимологических словарей по большей части обладают примечательным семантическим инстинктом (...), т. е. они извлекли из большого числа исследованных ими историй слов такой опыт, что они держат в памяти множество параллелей смысловой эволюции или номинации» [1988: 197]. Поэтому исследователь без опыта, только с теоретической подготовкой, не будет принят в обществе опытных, авторитетных этимологов, которые могут и пренебрегать теоретическими выводами современной лингвистики, ее исследовательской парадигмой, использованными подходами. Поэтому трудно преодолеть косность и рутину в этимологической работе, в то время как другие области языкознания переживают революционное обновление, меняя исследовательскую парадигму. Как отмечает В. Н. ТОПОРОВ, «при сравнении места, которое занимали этимологические труды в прошлом веке и сейчас, оказывается, что доля этимологии в лингвистических исследованиях в целом уменьшается в количественном отношении, но как бы в ожидании новой этимологической „волны“». Нечего и говорить, что проблемы этимологического анализа в современном теоретическом языкознании пока оттеснены на периферию» [2004: 19]. Этимология испытывает «беспрецедентный кризис, порожденный внутренними противоречиями», который, по мнению Я. Малкиела, проявляется также в университетском образовании, где этимология уже редко преподается, и в издательской политике влиятельных лингвистических журналов [MALKIEL 1993: xi].

Указанные парадоксы этимологии взаимосвязаны. Ее научное отставание, отсутствие целостной теории этимологических исследований имеет своей предпосылкой отсутствие любого стремления ведущих этимологов к методологическому усовершенствованию и последствием – дистанцирование молодых ученых от иначе самой аттрактивной для неспециалистов лингвистической области.

Как справедливо отмечает В. Н. ТОПОРОВ, «перед этимологией открываются два пути: или примириться с ее уменьшающимся значением, или же выбрать новые методы анализа, приведя их в соответствие с достижениями современного теоретического языкознания» [2004: 20]. А современная

теоретическая лингвистика многое постигла в изучении факторов, от которых зависит функционирование и эволюция языка. Эти факторы психологического, когнитивного, неврологического, социального, культурного естества. Установлено, что и лексическая семантика, в какой бы мере она не зависела от внеязыковых факторов, не стихийное явление, подчиняется закономерностям, терпит ограничения со стороны человеческого перцептивного и когнитивного аппарата. Слова с их значениями сохраняются в семантической памяти человека, а там не все возможно. Рожденные в XX веке междисциплинарные науки – психолингвистика, нейролингвистика, когнитивная лингвистика, социолингвистика, этнолингвистика, фоносемантика – каждая из своего угла позволила проникнуть в самую глубину закономерностей создания и развития лексических единиц языка. Вернемся к цитированной выше мысли Вл. Георгиева и добавим, что настоящая наука должна не только «устанавливать закономерности в явлениях, которые исследует», но также и учитывать уже открытые закономерности другими, смежными науками.

Литература:

- АБАЕВ 1986: В. И. Абаев. Как можно улучшить этимологические словари // *Этимология* 1984. Москва, 7–27.
- БЕНВЕНИСТ 1974: Э. Бенвенист. *Общая лингвистика*. Москва: «Прогресс».
- БЕР: Български етимологичен речник. София: Издателство на БАН, 1971–
- БУДАГОВ 1963: Р. А. Будагов. *Сравнительно-семасиологические исследования*. Москва.
- ВОРОНИН 1990: С. В. Воронин. *Этимология и фоносемантика (на материале тюркских и некоторых других языков)* // *Проблемы этимологии тюркских языков*. Алма-Ата, 62–70.
- ГЕОРГИЕВ 1985: Вл. Георгиев. *Проблеми на българския език*. София, 1985.
- ГОРЯЧЕВА 1986: Т. В. Горячева. *К изучению славянской метеорологической терминологии* // *Этимология* 1984. Москва, 43–49.
- ЕРСЈ: *Етимолошки речник српског језика*. Београд: САНУ, 2003–
- ЕСУМ: *Етимологічний словник української мови*. У 7-ми т. Т. I–V. АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. Ред. кол. О. С. Мельничук (головний ред.) та ін. Т. I–V. Київ, 1982–2006.
- ЖУРАВЛЕВ 1986: В. К. Журавлев. *Принцип йерархичности звуковых изменений в этимологии* // *Этимология* 1984. Москва, 60–66.
- ИВАШИНА 1975: Н. В. Ивашина. *К реконструкции лексической подсистемы* // *Методы изучения лексики*. Под ред. А. Е. Супруна. Минск, 1975, 179–185.
- КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА 1998: Ж. Колева-Златева. *Семантична реконструкция (Методологични аспекти)*. В. Търново, 1998.
- КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА 2008: Ж. Колева-Златева. *Славянская лексика звуко-символического происхождения*. *Tractata Slavica Universitatis Debreceniensis*. Vol. 1. Дебрецен, 2008.
- ЛЕВУШКИНА 2000: О. Н. Левушкина. *Этимологический анализ на уроках в начальных классах как средство обогащения словарного запаса учащихся: Дис. ... канд. пед. наук*. Ульяновск, 2000.

- МАРТИНОВ 1971: В. В. Мартынов. Анализ по семантическим микросистемам и реконструкция праславянской лексики // *Этимология* 1968. Москва, 1971.
- МЕЛЬНИЧУК 1969: А. С. Мельничук. Об одном из важных видов этимологических исследований // *Этимология* 1967. М.: «Наука», 57–67.
- МЕРКУЛОВА 1965: В. А. Меркулова О некоторых принципах этимологии названий растений // *Этимология* 1964. М.: «Наука», 72–87.
- ПЛАТОН: Платон. Кратил. Перевод Т. Васильевой. Online: <http://philosophy.ru/library/plato/kratil.html>. <01.07.2012>.
- ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 1958: Преображенский А. Г. *Этимологический словарь русского языка*. Т. I–II. 1. Москва, 1910–1914. – Репродуцировано с выпусков 1910–1914 годов и последнего выпуска 1949 г., АН СССР.
- СОССЮР 1933: Ф. де Соссюр. *Курс общей лингвистики*. Москва, 1933.
- ТОПОРОВ 2004: В. Н. Топоров. *Исследования по этимологии и семантике*. Т. 1. Москва: Языки славянской культуры.
- ТРУБАЧЕВ 1959: О. Н. Трубачев. *История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя*. Москва, 1959.
- ТРУБАЧЕВ 1960: О. Н. Трубачев. *Происхождение названий домашних животных в славянских языках*. Москва, 1960.
- ТРУБАЧЕВ 1966: О. Н. Трубачев. *Ремесленная терминология в славянских языках*. Москва, 1966.
- ТРУБАЧЕВ 1988: Трубачев О. Н. *Приемы семантической реконструкции // Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Теория лингвистической реконструкции*. Отв. ред. Н. З. Гаджиева. Москва, 197–222.
- УОРФ 1960: Б. Л. Уорф. *Наука и языкознание (О двух ошибочных воззрениях на речь и мышление, характеризующих систему естественной логики, и о том, как слова и обычаи влияют на мышление) // Новое в лингвистике*. Вып. I. Москва, 1960, 169–182.
- ЧЕРНЫХ 1999: П. Я. Черных. *Историко-этимологический словарь современного русского языка*. 13560 слов. 3-е издание, стереотипное. Т. I. Москва.
- ЭСБМ: *Этымалагічны слоўнік беларускай мовы*. АНБССР. Мінск, 1978–
- ЭССЯ: *Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд*. Под ред. О. Н. Трубачева. Москва, 1974–
- BEZLAJ: Bezlaj, Fr. *Etimološki slovar slovenskega jezika*. Т. I–IV. Кн. III, IV dopolnila in revidirala Marko Snoj in Metka Furlan. Ljubljana, 1976–2005.
- BLANÁR 1984: V. Blanár. *Lexikálno-sémantická rekonštrukcia*. Bratislava, 1984.
- BRÜCKNER: A. Brückner. *Słownik etymologiczny języka polskiego*. Warszawa, 1957.
- DEANE 1992: P. Deane. *Grammar in Mind and Brain (Explorations in Cognitive Syntax)*, Cognitive Linguistics Research, Mouton de Greyer, Berlin–New York.
- Duden *Etymologie: Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache*. Bearbeitet von der Dudenredaktion unter Leitung von Paul Grebe in Fortführung der neuhochdeutschen Sprache von Konrad Dun. Mannheim: Bibliographisches Institut, 1963.
- KLUGE 1963: F. Kluge. *Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache*. Berlin, 1963.
- МАЧЕК 1971: V. Machek. *Etymologický slovník jazyka českého*. Druhé, opravené a doplněné vydání. Praha: Akademia.
- MALKIEL 1993: Y. Malkiel. *Etymology*. Cambridge University Press, 1993.
- NĚMEC 1980: I. Němec. *Rekonstrukce lexikálního vývoje*. Praha, 1980.
- RUSEK 1984: J. Rusek. *Studia z historii słownictwa bułgarskiego // Monografie slawistyczne*, 46, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdansk – Łódź.

- SANDERS 1977: W. Sanders. Grundzüge und Wandlungen der Etymologie // Etymologie. R. Schmitt (Hrsg.). Darmstadt 1977, 7–49.
- SKOK: P. Skok. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. I–IV. Zagreb, 1971–1974.
- SŁAWSKI: Sławski, Fr. Słownik etymologiczny języka polskiego. T. I–V. Kraków, 1952–1982.
- WAHRIG 1985: Wahrig, G. Deutsches Wörterbuch (Mit einem „Lexikon der Deutschen Sprachlehre“) Die Neuausgabe 1980 wurde bearbeitet von Ursula Herman. Gütersloh: Bertelsmann Lexikon.
- WALDE–HOFMANN 1938: A. Walde. Lateinische etymologische Wörterbuch. 3. umgearbeitete Auflage von J. B. Hofmann. B. I–III. Heidelberg.

Abstract

Some reflections on paradoxes of etymology

The article discusses theoretical issues of etymology, and some facts in connection with this old study have been highlighted as paradoxical. As a section of comparative linguistics etymology of the 19th century has great merit in setting the scientific foundations of linguistics but contrary to this for the etymology of the 21st century it is impossible to say that it is at the highest level of scientific knowledge. A methodological stagnation is observed in the modern etymology: the compliance with the phonetic laws remains the basic requirement to the etymological research, and the criteria of semantic reconstruction still remain underestimated. Etymology, which is credited with the birth of comparative method, the most respected research method, nowadays does not aim at methodological self-improvement. In connection with this comes the fact that etymology, which is the most attractive linguistic field for the average person, doesn't attract young researchers to its investigations.

**О ПРАВОПИСАНИИ И. КОТЛЯРЕВСКОГО И ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕГО МЕСТА
В ИСТОРИИ УКРАИНСКОЙ ГРАФИКИ И ОРФОГРАФИИ**

МИХАЙ КОЧИШ

В настоящей статье мы стремимся охарактеризовать графические и орфографические особенности *Энеиды* Ивана Котляревского, представляющей собой увертюру современного украинского литературного языка, а, после этого, коснемся также проблемы определения места Котляревского в истории украинского правописания.

Нина ТОЦКАЯ выделяет следующие графические и орфографические черты, по которым И. Котляревский писал [ТОЦЬКА 1981: 178].

Он сохраняет буквы **и**, **ы** при передаче двух прежних древнерусских гласных, уже давно слитых в один своеобразный звук, напр., **сыннь**, **робити**. Этот специальный украинский звук, в позиции перед *j*, передается через третью букву **і**, напр., **великій**.

Знак **ѣ**, вслед за буквами твердых согласных, применяется последовательно: **ѣхавъ**.

Для передачи звука *i* употребляются три буквы: на месте этимологических *o* или *e* – **и**, напр., **винь**, **жинка**; на месте **ѣ** сохраняется старая буква, напр., **лѣто**; а, в позиции перед буквами гласных и **й** пишется **і**, напр., **Пріамъ**, **твій**.

Вместо современных сочетаний букв **йо** и **ьо** у Котляревского видим **ію**: **іюму**, **сліюзи**.

Такое правописание характерно для третьего издания *Энеиды*. Как известно, это произведение впервые, а также и второй раз (Спб., 1798, 1808) вышло в свет без ведома и согласия автора. Только третье, дополненное и исправленное издание (Спб., 1809 г.) было подготовлено к печати самим Котляревским [об истории изданий см. ШАБЛЮВСЬКИЙ–ДЕРКАЧ 1980: 5–8]. С 26-й страницы мы цитируем последнюю строфу второй части на основе того фотоснимка, который встречается в мировой сети (<http://uk.wikipedia.org/wiki/Файл:Виргилиева_Энеида_Спб_1809_by_Russianname.jpg>31. 05. 2012):

Но видно вже пану Тарасу
Написано такъ на роду,
Щобъ тилько до сіюго винь часу
Терпѣвъ на свѣтѣ семь бѣду.

Бо розхитавшись, бризнувъ въ воду,
Нырнувъ – и не спытавши броду,
На ввыринки пишла душа.
Эней хотѣвъ, щобъ окошилась
Бѣда и билшъ не продолжилась,
Щобъ не пропали всѣ съ коша.

В правописании Котляревского этимологический и фонетический принципы, очевидно, смешиваются. С одной стороны, сохраняется написание букв **ы**, **и**, **і** для передачи специального украинского гласного *у*, по-прежнему употребляются буквы **ѣ** и **ѣ**, обозначающие, по их очереди, звук *i* и конец слова. С другой стороны, четко передается измененное в новых закрытых слогах произнесение звуков *о* и *е*, переход *е* в *о* после мягкого согласного и т. п.

Энеида, однако, имеет еще одно (четвертое) издание, подготовленное к печати также ее автором, но вышедшее уже посмертно (Харьков, 1842 г.). Его текст показывает совершенно другое правописание. Вот новый вариант приведенной выше строфы поэмы [КОТЛЯРЕВСКИЙ 1842, II: 42]:

Но выдно що пану Тарасу
Напысано такъ на роду,
Щобъ тилько до сього винъ часу
Терпивъ на свити симъ биду.
Бо розхитавшись, бризнувъ въ воду,
Нырнувъ – и не спытавши броду,
Наввыринки пишла душа.
Эней хотивъ, щобъ окошылась
Бида и билшъ не продолжылась,
Щобъ не пропалы вси съ коша.

Едва ли может подлежать сомнению, что Котляревский, который был свидетелем и некоторых орфографических реформ (см., напр., системы А. Павловского [ПАВЛОВСКИЙ 1818] и редакторов *Русалки Днестровой* [Русалка 1837]), в конце своей жизни и сам перешел на фонетическое правописание. Во-первых, он оставил в стороне букву **ѣ**, заменив ее на **и** (**терпивъ**, **на свити**, **бида**), которая обозначала звук *i* последовательно, т. е. также на месте *о* и *е* в новых закрытых слогах (**билшъ**, **симъ**). Во-вторых, звук *у* передавался только одной буквой **ы**, независимо от своего происхождения (**напысано**, **бризнувъ**). Мягкость же звука *з* перед *о* обозначалась знаком **ь** (**сього**). Однако **ѣ**, как излишняя буква, все-таки была сохранена на письме в позиции конца слова. Имея в виду *Таблицу исторического развития украинского правописания*, напечатанную в книге И. Огиенко [ОГИЕНКО 1919], графика и орфография Котляревского показывают наибольшую схожесть

с системой Степана Писаревского от 1840 г. (имеющей место в его посмертной книге, вышедшей в свет также в Харькове).

Таким образом, И. Котляревский от находящегося между этимологическим и фонетическим правописания перешел на (почти чистое) фонетическое, но в науке он все же считается представителем старой орфографии.

По И. Огиенко [ОГІЄНКО 2001], в своем правописании Котляревский придерживается старых традиций, он писал так, как это было принято у авторов конца XVII и XVIII в. Н. Тоцкая [ТОЦЬКА 1981: 178] говорит о том, что автор *Энеиды* – представитель историко-этимологического принципа.

Однако иначе оценил его акад. А. Крымский в 1927 г., по мнению которого данная орфография лишь кажется русской, произношение – совсем иное, уподобляющееся украинскому [КРИМСЬКИЙ 2004: 401]. И. Франко в 1894 г. подчеркивал то же самое: и до П. Кулиша многие писали по фонетическому принципу, но они следили за русскими правилами употребления букв, что никак не может считаться этимологическим написанием [ФРАНКО 1961: 26]. Мы разделяем подобное мнение и смотрим на Котляревского не как на представителя старой орфографии, а, наоборот, как на одного из пионеров современного украинского правописания. Наша точка зрения подкрепляется еще некоторыми аргументами.

В предисловии *Украинского правописания* мы читаем, что, начиная от *Энеиды* Котляревского вплоть до 1905 г., были в употреблении приблизительно 50 орфографических систем [УП 1993: 3]. Редакторы причисляют И. Котляревского, очевидно, к последнему периоду развития правописания [о периодизации см. НІМЧУК 2004: 5–6]. В определении места автора *Энеиды* важную роль играет мнение проф. А. Метлинского, который в середине XIX в. видел в Котляревском своего предшественника, пройдя по следам которого он нашел свою орфографию. А орфографию А. Метлинского Иван Франко считал первой систематизацией украинского фонетического правописания [ФРАНКО 1961: 29]. Интересно, что она появилась также в сороковые годы XIX в. (а, именно, в 1848 г.) и в том же городе (в Харькове), когда и где вышли из печати труды С. Писаревского и И. Котляревского [о проф. Метлинском см. еще КОСИС 2012].

Литература

- КОТЛЯРЕВСКИЙ 1979: Котляревский 1842. *Виргилієва Енеїда, на малоросійській мові перекладена І. Котляревським, I–VI*. Харьков: Въ Университетской типографіи, 1842. (Факсимильное изд. – Київ: Дніпро.)
- КРИМСЬКИЙ 2004: Кримський, А. *Нарис історії українського правопису до 1927 року. Історія українського правопису XVI–XX століття. Хрестоматія. Упорядники: В. В. Німчук, Н. В. Пуряєва*. Київ: Наукова думка, 393–414.
- НІМЧУК 2004: Німчук, В. *Передне слово. Історія українського правопису XVI–XX століття. Хрестоматія. Упорядники: В. В. Німчук, Н. В. Пуряєва*. Київ: Наукова думка, 5–26.

- ОГИЕНКО 1919: Огиенко, И. Таблица історичного розвитку українського правопису. // Огиенко И.: Курс украинского языка. Изъ лекцій по истории украинского языка. Изд. 2, К., 1919. <<http://litopys.org.ua/ukrmova/um81.htm>> 12. 09. 2011.
- ОГИЕНКО 2001: Огиенко, І. Історія української літературної мови. Київ, 2001. (Перше видання: Вінніпег, 1949). Ч. III, гл. XVIII, п. 7 (Правопис за І. Котляревського). <www.litopys.org.ua/ohukr/ohu20.htm> 04. 06. 2012.
- ПАВЛОВСКИЙ 1818: Павловский, А. Грамматика Малороссійскаго наречія. Санкт-Петербург.
- Русалка 1837: Русалка Днѣстровая. У Будимѣ, 1837.
- ТОЦЬКА 1981: Тоцька, Н. І.: Сучасна українська літературна мова. Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія. Київ: Вища школа.
- УП 1993: Український правопис. 4-те видання, виправлене й доповнене. Київ: Наукова думка, 1993.
- ФРАНКО 1961: Франко, І. Етимологія і фонетика в южноруській літературі. Хрестоматія матеріалів з історії української літературної мови. Частина II. Упорядкував П.Д. Тимошенко. Київ: Радянська школа., 22–37. (Перепечатано из ж. «Народ», № 13–15, 1894 г.)
- ШАБЛІОВСЬКИЙ–ДЕРКАЧ 1980: Шабліовський, Є. С., Деркач, Б. А.: Перлина української літератури. Передмова до факсимільного видання «Енеїди» 1842 року. Київ: Дніпро.
- KOCSIS 2012: Kocsis M. Egy elfeledett professzor: Adalék az ukrán helyesírás történetéhez. Legendák, kódexek, források. Tanulmányok a 80 esztendő H. Tóth Imre tiszteletére. Szeged, 143–145.

Abstract

Kotlyarevsky's orthography and the definition of his place in the history of Ukrainian graphics and orthography

Ivan Kotlyarevsky created the modern Ukrainian literary language with his *Eneyida*. The present article is dedicated to the orthography of this work: it contrasts the 3rd and 4th editions cured personally by the author. The orthography of the 4th edition is almost entirely based on the phonetic principle.

**БЪЛГАРСКАТА И ПОЛСКАТА КАРТИНА НА СВЕТА, ОТРАЗЕНИ В РАЗГОВОРНАТА
ОЦЕНЪЧНА ЛЕКSIKA**

ПЕТЪР СОТИРОВ

0. Въведение

Конкретният повод за написването на този текст е публикуването на първия том на *Българо-полски речник на разговорната реч* [СОТИРОВ и др. 2011]. Работата върху това издание потвърди изразеното в някои публикации мнение, че всеки речник, чрез факта, че представлява «нарация на колективен автор»,¹ е важен източник на информация – не само за езика, но също и за обществото, в което даденият език съществува, за начина на възприемане и оценка на света от страна на неговите носители, за тяхната езикова картина на света [ХЛЕБДА 2010б: 201; ПЕРНИШКА 2006]. Двуетичният речник пък, съдържащ по същество съпоставка на модела на мислене на две отделни общества, дава още по-големи възможности на изследователя, тъй като чрез съпоставяне на двете общества може да се опише по-подробно всяко едно от тях.

Понятието ‘езикова картина на света’, разбирано като «комплекс от утвърдени в езика, съдържащи се в значенията (или имплицирани чрез значенията) оценки и представи относно чертите и начина на съществуване на обектите от извънезиковия свят [БАРТМИНСКИ–ТОКАРСКИ 1986, 72]», заема важно място в съвременното славянско езикознание. Изследванията на езиковите картини на света на различни славянски народи показват, че са налице както много общи черти, произтичащи от общата им културна база², така и някои специфично национални елементи. Автори на едни от най-известните изследвания в тази област от последните години са представители на полската етнолингвистика като Й. БАРТМИНСКИ [2006], Р. ТОКАРСКИ [1990; 2004], Р. ГЖЕГОРЧИКОВА [1999], В. ХЛЕБДА [2010а] и др. Заслужават да бъдат отбелязани също и някои публикации на български учени [напр. ДИМИТРОВА и др. 2004; БУРОВ 2005; ПЕРНИШКА 1993, 1998, 2003; ПЕНЧЕВА 2001; ПЕТРОВА 2000; ПУХАЛЕВА 2003; ЛЕГУРСКА–БЕЧЕВА 2006 и др.].

За изследователите на езиковите модели на света не подлежи на съмнение, че един от основните източници на материал представлява разговорната реч на членовете на изследваното общество. Това произтича от същността

¹ Някои автори наричат съдържанието на речника «накъсан език» [напр. МЪОДУНКА 1989: 215].

² В терминологията на Т. А. ВАН ДАЙК – *cultural common ground* [ВАН ДАЙК 2003: 9].

на разговорността, за която се смята, че «се корени в дълбоките пластове на езика, в начина на възприемане на действителността [БАРТМИНСКИ 2001: 119]». Заслужава да се припомни също, че разговорността е характерна за комуникативни ситуации, в които комуникантите са освободени от контрола на строгия регламент и затова се държат свободно, непринудено и се стремят към по-точно описание на обекта на речта, при това дават воля и на своята емоционална оценка за него. Следователно обосновано би било твърдението, че разговорната реч в сравнение с тази, пораждаща се в официалните сфери, по-обективно, по-правдиво предава мислите на авторите на речта, че тя е по-пряк и по-искрен изразител на тяхното мислене. От друга страна, масовостта на разговорния вариант на езика – той се владее от всички член на обществото, дава основание въз основа на него да се формулират изводи, засягащи цялото общество.

1. Обект, цел и езиков материал на изследването

Обект на изследване в настоящата работа е българската и полската езикова картина на света, като целта е да се представят и съпоставят някои от нейните компоненти, отразени в разговорната оценъчна лексика на двата езика. Основен източник на езиковия материал е споменатият в началото *Българо-полски речник на разговорната реч*, изработен от авторски колектив от Катедрата по славянско езикознание при Университета «Мария Кюри-Склодовска» в град Люблин, Полша [СОТИРОВ и др., цит. съч.]. Освен този речник са използвани и някои други речници, съдържащи разговорни изрази [напр. РБЕ 1977; БУРОВ и др. 2000; ЛАСКАРОВ 2007; ЧЕШЕВСКИ 2006; Ученическа реч 2012], както и други източници (например резултатите от анкети с носители на българския и полския език).

С оглед на ограниченията по отношение на обема на текста в центъра на вниманието в него е поставена единствено разговорната лексика (съществителни имена, прилагателни имена или фразеологизирани изрази), която съдържа отрицателна оценка за лице въз основа на някакакъв негов признак. Изборът на тези езикови единици като изследователски обект може да се смята за оправдан и поради факта, че в използваните извори за езиков материал в количествено изражение те значително преобладават над съдържащите положителна или неутрална конотация лексикални разговорни изрази. Както и при някои други изследвания [напр. ПЕРНИШКА 2003] в основата на анализа тук е залегнало схващането, че въз основа на облика и количеството на емотивните разговорни изрази в рамките на отделни по-големи семантични групи могат да се направят изводи за отношението на носителите на езика (в случая отрицателно) към определени явления от заобикалящата ги действителност.

2. Анализ на езиковия материал

Огледът на изразите от целия езиков корпус показва, че в процеса на вербалната комуникация вниманието на членовете на двете общества по-силно привличат определени страни от поведението и личностните характеристики на лицата от обкръжаващата ги реалност, което личи в по-голямото разнообразие на определени групи емотивни разговорни изрази. Такива групи изрази са преди всичко тези, които са свързани с характера и социалното поведение на човека, със социално-демографските му характеристики, с неговото здраве и с външния му изглед.

2.1. Анализът на езиковия материал показва, че във фокуса на вниманието на българите и поляците в рамките на неофициалния дискурс най-често се оказват **характерът и социалното поведение на човека** и по-точно онези поведенчески прояви, които влизат в противоречие с установени обществени норми – от морален или юридически характер.

Без съмнение най-голям брой синонимни лексикални разговорни единици и в двата езика се среща във връзка с дейността **проституция**. В българския език като примери могат да се посочат изразите: *амазонка, брантия, гащи самосвалки, гейша, джадия, изтребител, курва, кушетка, магистралка, мистрия, оборотка, парантия, парцалеса, пачавра, пиростия, развратница, самосвалка, стерва, тротоарка, урусия, целелин, шаврантия, шантаж, шантонерка* и др. Многобройни са разговорните изрази за лице, упражняващо същата дейност, също в полския език, срв.: *alejówka, bajzelówka, bladź, bramówka, burdelówa, chawira, chodnikówka, cichodajka, córa Koryntu, darmodajka, dewizówka, dobrzedziałka, druciara, dupodajka, dziwka, jawnogrzesznica, hotelówa, kokota, kuna, kurtyzana, kurwa, ladacznica, lafirynda, metresa, nierządnicza, parówa, rura, tirówka, wszetecznicza, wywłoka, zdzira, szmata* и др. Тези изрази, подредени тук по азбучен ред, притежават различна по съдържание и сила конотация (напр. насмешка, пренебрежение или презрение) и се характеризират с различна функционална дистрибуция (т. е. присъщи са за различни ситуации и социални групи и могат да бъдат евфемистични, книжовно-разговорни, жаргонни или вулгарни).

И в двата езика голямо е разнообразието на лексикални изрази, чрез които се подлага на негативна оценка **злоупотребата с алкохола**. Така например в българския език за изразяване на семантичния признак 'лице, което редовно злоупотребява с алкохола' се използват изрази като: *алкохолик, инвентар на заведението, кърканде, къркач, манекен на винпром, пиянде, пияница, попивателна, поркач, поркаджия, смок, фиркаджия* и др. Не по-малко е също количеството на изразите, отнасящи се до признака 'лице, което в момента се намира под влияние на алкохола', срв.: *анестизиран, вързал кърките, гипсиран, гипс, джапан, замаян, къркан, мортос, мотан, нажморен, наквасен, налал джама, нарязан, насвяткан, натряскан, нафиркан, олян, пиян, пиян като гъз, поркан, фиркан* и др. Подобна е ситуацията и в полския език, като за признака 'лице, което редовно злоупотребява с алкохола' синонимни

са изразите: *alkoholik, fend, pijak, menel, moczygęba, moczymorda, pijus, ochlapus, opijus, opilca, opilec, opóј, pijaczyna, pijaczysko* и др., а за признака 'лице, което в момента се намира под влияние на алкохола' – изразите: *nawalony, spity, upity jak bela, źul, zachlany, nalany, pijany jak bąk, zalany, narąbany, napruty, pijany jak szpak, nabity jak szkło, nachlany jak szpadel, zaliczył zgoną, zapity, najebany, dziobnięty* и др.

Обект на особено внимание и в двете общества е и поведение, което, най-общо казано, влиза в конфликт с лоялността към околните, например **правенето на доноси, издаването на тайни** или **измяната**. По отношение на лица, занимаващи се с подобни дейности, българите използват разнообразни разговорни изрази с ясно изразена негативна конотация, напр. *антена, доносник, дрънкалка, дрънкало, клепар, кука, порта, портаджия, слушалка, синигерче, топач, ухо* и др. От своя страна поляците подобни лица назовават с изрази като: *gumowe ucho, kabel, kapo, kapuś, kapuśniak, konfident, ормо, podpierdalacz, sprzedawczyk, szpicel, wtyczka, zdrajca* и др.

Езиковият материал показва също, че както българите, така и поляците определено критично се отнасят и към такива черти на човешкия характер като **ленивост, самохвалство и скъперничество**. Потвърждение на казаното например са лексикалните изрази за назоваване на лице, което с поведението си влиза в конфликт с утвърдилите се трудови обичаи. В българския език в това отношение широка популярност имат изрази като: *безделник, влечуго, готован, готованец, готованко, канап, канапчия, клатикур, ленивец, лентяй, думпен, михлюз, мърда, мързел, мързеливец, мързеланко, паразит, сопол, търтей, черво, иматка, хайлазин* и др. В полския език като еквивалентни на посочените български лексеми функционират също разнообразни изрази: *bumelant, lawirant, leniuch, leń, Leser, nierób, niepoń, niebieski ptak, nyugus, obibok, pasożyt, próżniak, truteń, wałkoń* и др.

В българското и полското общество определено осъдително е отношението и към такъв тип личностно поведение, чрез което се преекспонират собствените достойнства или към поведение, което отразява пренебрежително отношение към околните. За номинация на подобно лице в българския език се използват изрази като: *въздухар, гъзар, перко, петел, пунтьор, пуюк, стойкаджия, тежкар, фукльо, фукня, хвалбаджия, хвалипръцко* и др., а в полския език изразите: *bubek, bic, bifton, chwalipięta, egotyк, fanfaron, megaloman, mitoman, narcyz, pyszałek, samochwała, wagas, ważniak, zadufek, zarozumialec* и др.

Прекалената пестеливост също не принадлежи към положително оценяваните качества на личността, което се вижда в български разговорни изрази като: *вариклечко, дзифтар, пинтия, скръндза, сметкаджия, стипца, стиснат, цинцър, циция, цени косъма* и др., както и в техните полски еквиваленти: *centuś, chytrus, dusigrosz, harpagon, kutwa, liczykrupa, sęp, skąpiec, skąpigrosz, skąpiradło, sknera, żyła* и др.

Друга голяма група емотивни лексикални изрази в двата езика е свързана с оценката на социално поведение, влизащо в конфликт с правните норми.

В рамките на тази група езикови номинации могат да се отбележат номинациите във връзка няколко семантични признака:

А) ‘лице, което присвоява чужда собственост’ – в българския език: *апаиш, джебчия, джобар, крадец, лява ръка – десен джоб, киризчия, кокошкар, левкач, левкаджия, муфтаджия, обирач, обирник, покривка, ръкаров, свивач, тафкач, туфтаджия, чопкач* и др.; в полския език: *jułacz, kieszonkowiec, kradziej, lepka rączka, podpierdalacz, podwędzacz, rabuś, złodziej, złodziejaszek*;

Б) ‘член на престъпна група’ – в бълг. ез.: *бандит, вагабонтин, гангстер, главорез, разбойник, злодеи, злосторник, катил, корсар, мародер, разбойник, пират* и др.; в пол. ез.: *bandyta, bandzior, drab, dres, gangster, gangysta, łobuz, mafiozo, oprych, opryszek, rabuś, rozbójnik, rzeźmieszek, szumowina, typ spod ciemnej gwiazdy, zakapior, zbir, zbój* и др.

В) ‘лице, което лъже, заблуждава’ – в бълг. ез.: *лъжец, гявол, играч, измамник, комбинатор, кондикар, ментарджия, мошеник, тенекеджия, фалшификатор, шарлатанин, лицемер* и др.; в пол. ез.: *aparant, bajerant, bajkopisarz, cwaniak, kanciarz, kiciarz, kłamca, kombinator, krętać, kuglarz, szachraj, matacz, migłanc, oszukaniec, oszukista, oszust, spryciarz, szuler* и др.

Г) ‘лице, което грубо нарушава обществения ред и спокойствието на околните’ – в бълг. ез.: *гамен, грубиян, кавгаджия, нехранимайко, побойник, скандалджия, тиранин, уличник, хаймана, хайта, хулиган, хъшлак* и др.; в пол. ез.: *apasz, awanturnik, baciars, blockers, chuligan, ławka, łobuz, opryszek, rozrabiaka, rzeźmieszek, ulicznik, wandal* и др.

2.2 Значителна част от емотивната разговорна лексика в българския и в полския език е посветена на **социално-демографските характеристики на личността**, например тези, които се отнасят до пола, местопроизхода, възрастта, етническата, националната, расовата или религиозната принадлежност, сексуалната ориентация, семейното положение и др.

Сред номинациите, свързани с **пола**, и в двата езика се откриват най-различни определения, които са „специализирани” за употреба само по отношение на лице от женски пол, повечето от тях със силно иронична или пренебрежителна конотация, съдържаща еротичен подтекст, намекваща за лош външен вид или за ниска оценка на умствените възможности. Като потвърждение на това в българския език могат да се посочат изрази като: *женска, гърла, кукла, мадама, парче, пунда, сладкиш, слива, цепенячка, джофра, дропла, кикимора, кобила, кобра, крава, кукумявка* и др., а в полския език изразите: *baba, babka, babsko, babsztyl, babochłop, blachara* (‘момиче, на което се харесват момчета с хубави леки коли’), *blyrwa, gazela, cizia, cipoląg, dojara* (‘жена с големи гърди’), *dupa, dziunia, facetka, gościówa, kobitka, lalka, laska, lachon, laczon, łodziara, paszczur, pasztet, ryża, sarenka, szpucha* и др. В същото време и в двата езика за лице от мъжки пол и за характеристики, приписвани само на мъже, в ежедневната разговорна реч се използват несравнимо по-малко на брой синонимни изрази с отрицателна конотация, произтичаща от пола (например в българския език изразите *тип*

или *гларус*, в полския език – *typ (typek), klient* и др.). Посочените примери са потвърждение за наличието на андроцентризъм (сексизъм) в българския и в полския концептуален модел на света, което е характерно и за много други общества и езици.³

Като отделна група сред разговорните изрази, отразяващи андроцентризма на българите и поляците са тези, които са свързани със семейното положение и по-точно с релациите ‘съпруг-съпруга’. И в двата езика обект на номинация с отрицателна конотация са мъже, за които се смята, че са доминирани от съпругите си. В българския език за подобни съпрузи се използват изрази като: *мъж на жена си, {някой е} под чехъл, Путьо Маринкин* и др., а в полския език – *pantoflarz, pod pantoflem* (< пол. *pantofel* – чехъл). Като български феномен обаче би трябвало да се споменат два вида разговорни изрази, свързани със семейно-родовите отношения: 1) тези, които съдържат иронично отношение към женен мъж, живеещ у съпругата си: *домазет, заврян (приведен) зет*; 2) тези, които отразяват различия и известна неравнопоставеност между съпруга и съпругата при употребата на езика от страна на всеки от тях, например в българския разговорен дискурс всеобщо е прието мъжът да се обръща към родителите на съпругата си с *бабо* и *дядо* или да говори за тях, използвайки изразите *баба ми, дядо ми* като синоними на изразите за официална употреба *тъща, тъст*, докато жената задължително се обръща към родителите на съпруга си с изразите *мамо* (майко) и *татко (тата)*, а когато говори за тях, ги нарича *майка (ми), татко (ми)* или с официалните названия *свекърва, свекър*.

Номинациите, свързани с *местопроизхода*, изразяват противопоставянето *град – село (столица – провинция)*, като изразите, свързани с втория компонент на тази дихотомия, са с конотация, експонираща качеството ‘малоченност/непълноценност поради местопроизхода’. В българския език като представителни за тази тематична група могат да се посочат изрази като: *абориген, калтак, каскет, пейзан, прованс, рогач, селинджър, селяк, селчо, туземец, чесън, шаяк, шушляк* и др. От своя страна, полският език също разполага с немалък брой синонимни единици за изразяване на оценка по отношение на лице във връзка с неговия местопроизход, срв.: *burak, gmin, chłop, ojszczytur, ojszczyptot, plebs, {komuś} słoma wystaje z butów, społeczniak, świniopas, wieśniak, wieśniara, wiochmen, wsiok, {ktoś jest} z zadupia* и др. Цитираните лексеми изразяват пренебрежителност, ирония и са разговорните езикови прояви на българския и полския урбоцентризъм.

Анализираният материал съдържа също и голям брой изрази, които изразяват отрицателна конотация във връзка с признака *възраст*. Българският език изобилства от разговорни изрази за назоваване на лице (от мъжки и от женски пол), преминало активната си възраст, например: *бабе, бабка, бабушкер, бастун, вехто, дърт(-а), дъртак(-чка), дъртофелник(-ца), дъртанян(-*

³ За полския езиков андроцентризъм подробно вж. [КАРВАТОВСКА–ШПИРА-КОЗЛОВСКА 2005].

ка), *дъртел(-ка)*, *дядка*, *пенсия*, *склери*, *склероза*, *старчок* и др. В полския разговорен дискурс също функционират изрази с подобна конотация, повечето от тях обаче са по отношение на лице от мъжки пол (като подсилващ елемент се използва най-често съответните форми на прилагателното *stary*): *dziadek mróz*, *dziad*, *dziadyga*, *grzyb*, *piernik*, *próchno*, *pryk*, *ramol*, *skleroty*, *staruch*, *babka* и др., за ‘баща’ и ‘майка’ – *stary*, *stara*.

И в двата езика съществуват също и изрази, които съдържат пренебрежителност или ирония спрямо лица, намиращи се в ранна възраст. Например за ‘бебе’ и ‘дете’ в българския език функционират изразите: *биберон*, *бръмбазък*, *запетайка*, *запъртък*, *изтърсак*, *пича вѝшка*, *ремарке*, *фарфалак*, *фѝстѝк*, *хищник* и др., синоними на ‘младеж, момче’ пък са: *говно*, *гѝзарче*, *дупе*, *зелен*, *копелак*, *лайнарче*, *миксерче*, *мочко*, *свежар*, *пубер*, *швец* и др. В полския език като еквиваленти на посочените български лексеми се използват изрази от рода на: {*mały*} *pyrdek* (за бебе и малко дете); *efeb*, *gnojek*, *gotowas*, *gówniarz*, *młodzieniaszek*, *młokos*, *niedorostek*, *pampers*, *panicz*, *paniczek*, *smarkacz*, *wrzodas*, *wyrostek*, *zielony* и др. (за лица в младежка възраст). Както се вижда, цитираните назовавания с оглед на признака ‘възраст’ в двата езика отразяват гледната точка на говорителя на средна възраст, т. е. на активния, на по-силния във физиологично-анатомично, социално и професионално отношение човек (срв. изразите за тази възрастова група – в бълг. *зрял*, *улегнал*, в пол. *dojrzały*, *wytrawny* и др.). От всичко това може да се направи извод за наличието и на (езиково проявен в различна степен), ейджизъм в отношението на българите и поляците към заобикалящата ги субекти.⁴

Важно място в системата на разговорната лексика заемат емотивните изрази, свързани с ***етническата, националната, расовата и религиозната принадлежност***. С малки изключения [напр. хиперонимът *европеец* – вж. ГЕНЕВ–ПУХАЛЕВА 2007] най-често употребяваната лексика се отличава с отрицателна конотация. В рамките на тези изрази могат да се забележат както прилики, така и някои различия при назоваванията на представителите на отделни раси, етноси или нации.

Прилики между българския и полски език се наблюдава при номинациите, свързани с определени раси или народности, което показва наличие на общи (не само за българите и поляците) представи, стереотипи или предразсъдъци. Най-голяма прилика – както по отношение на разнообразието от езикови изрази, така и по отношение на тяхната силно отрицателна конотация, може да се забележи при номинациите във връзка с признака ‘представител на негроидната раса’. В разговорната реч на българите например редовно се конкурират десетина израза от типа: *антрацит*, {*африкански*} *патладжан*, *брикет*, *кюмюр*, *негатив*, *негро*, *печка*, *сажда*, *снежинка*, *тарамбука*, *чернилка* и др., а в полския език изразите: *asfalt*, *beton*, *bambus*, *bananiak*, *brudas*, *czarnuch*, *czarny*, *czekolada*, *dzikus*, *koks*, *kolor*, {*czarna*} *matpa*,

⁴ За ейджизма като понятие по-подробно вж. [ЯКИМОВА–ТОРНСТОН 1994].

negatyw, smoła, smoluch, zulus и др. Представителите на други неевропейски раси също могат да бъдат обект на номинации с негативна окраска и в двата езика, напр. за ‘лице от азиатски произход’ в българския език са познати изразите *жълт, жълтур, дръпнат*, а в полския език – *żółtek, skośnooki, kitajec, chinol* и др.

Прилики в областта разговорните изрази, следователно и в отношение на българите и поляците, могат да се открият при назоваванията на представителите на някои отделни народи, т. е. при т. нар. етнически названия или етноними, например: за ‘руснак, руския’ в българския език се използват няколко изрази с подигравателна и пренебрежителна конотация: *альоша, бала-лайка, колхозник, мужик, серьожка, басмьоначка, наташка* и др., в полския език: *rusek, ruski* (мн. ч. *rusczy*), *rusol, ser* и др.; за ‘италианец’ – бълг. *жабар, макарон, макаронджия*; пол. *mafioso, spageciary, makaroniary, panikary* и др.⁵

Разбира се, освен прилики съществуват и много различия между българския и полския език в областта на разговорните етноними. Известно е, че тези изрази възникват във връзка с конкретни исторически, културни и географски фактори и затова могат да бъдат национално специфични, затова и често трудни за превод от даден език на друг [ПАЙСЕРТ 1992: 209]. В потвърждение на това може да се посочи фактът, че в двата езика се наблюдава различно количество лексеми с отрицателна експресия по отношение на представителите на определени етнически, национални и религиозни групи. Така например в българския език обект на по-интензивен процес на номинация е признакът ‘лице от ромски произход’, срв. *джипси, мангал, мангасар, мангафа, манго, мангуст, печенег, цинго* и др.;⁶ както и ‘лице от турска народност или изповядващо ислям’, срв. (за мъж) *гаджал, зелени гащи, потури, рязан, фес, чалма*; (за жена) *нинджа, фередже* и др., ‘румънец’: *влах, мамалигар, мокър* и пр., ‘грък’: {*хитър*} *византиец, малака*. В полския език оценъчна лексика по отношение на изброените признаци почти не може да се открие,⁷ в същото време по-разширена номинация с помощта на оценъчна лексика се забелязва във връзка с представителите на други народностни групи, които историче-

⁵ Българският израз *жабар* и полският му еквивалент *zabojad* представят случай на междуезикова омонимия (апроксимация), тъй като полският израз се отнася за французи.

⁶ Сред тези примери не е включена лексемата *циганин*, която и в двата езика в зависимост от контекста може да бъде и неутрална по отношение на емоционалното съдържание, макар че все по-честите случаи на отказ от нея и нейните производни и заместването ѝ с лексемата *ром* и нейни производни (напр. *роми, ромски произход*) е свидетелство за настъпила трансформация в областта на конотацията – от неутрална в отрицателна.

⁷ Въпреки географската отдалеченост подобен стереотип по отношение на представителите на гръцката нация не е чужд и на поляците, което личи в изказа *udawać Greka* (букв. *правя се на грък*, т. е. *хитрувам*)

ски са свързани с полското общество, например ‘евреин’: *żydłak, cybuch, parch, obrzezany, jude*; ‘германец’: *szwab, szop, niemra, adolfek, iberales* и др.⁸

Сексуалната ориентация също е обект на повишена номинация чрез оценъчна разговорна лексика с отрицателна конотация в българския и в полския разговорен дискурс. В българския език по-голямо е разнообразието от изрази за признака ‘мъж, който изпитва полово влечение към лица от своя пол’, напр.: *вазелинче, геврекчия, гей, дупе, манафчия, мека китка, обратна резба, педал, швестер* и др., сравнително по-малък е броят на изразите за признака ‘лице, което се проявява и като мъж, и като жена в секса’ (т. е. ‘бисексуален’): *двойна резба, работи на два стана, ха на тебе, ха на мене*, също и за ‘жена, която изпитва полово влечение към жени’ – *бентаджийка, клиторна вендуза, лесби* и др. В полския език пък се използват изрази като: *ciencias, ciota, cwel, gejos, homo, homek, homuś, homoserek, homo-nie-wadomo, lesba, obwieś, parówa, pedał, pederasta, pedzio* и др. Всички тези изрази свидетелстват за наличието на определена **хомофобия** в мисленето на онези носители на българския и полския език, за които тук цитираните изрази са активен речников ресурс.

2.3. Една от най-големите тематични групи разговорна лексика в съвременния български и полски език може да се определи като «медицинска», тъй като включва изрази, предназначени да подчертават **отклонения от здравето** – психическо, умствено или физическо. Езиковият материал показва, че в рамките на тази група обект на най-голямо обществено внимание, потвърдено чрез голям брой лексикални изрази, са аномалиите по отношение на **психическото здраве**. В българския език в активна употреба са изрази като: *алтав, гламав, дебил, заблуден, идиот, крейзи, кретен, ненормален, нередовен, неуред, пернат, перко, Перко Наумов, психо, откачен, откачалка, отперен, падалка, смотан, хахо, хлопа му дъската, хухавел, шантав, шантавел* и др. В полския език функционира не по-малка група изрази с подобно значение, напр.: *czubek, debil, głab, idiota, kretyn, menel (mendi), nienormalny, niob, noobek, opętaniec, pet, pomyleniec, postrzeleniec, psycho, psychlast, psychol, świr, świrus, skrzywiony emocjonalnie, szaleniec, wariat, worek* и др.

В българския и в полския език изразите, отразяващи оценката за лице, смятано за непълноценно поради **ограничени умствени възможности**, представляват също многобройна група, което показва, че интелектуалните възможности на човека заемат важно място при възприемането на заобикалящия социум от страна на българския и полския носител на езика. В това отношение като примери в българския език могат да се посочат разнообразни изрази, напр.: *абдал, албански реотан, ахмак, баламурник, балък, будала, бунак, галфон, глупак, глупендер, дърво, задръстен, застрелян, капут, кютюк, ливада, льолю, лъохман, мотика, муньо, плиткоумен, пън, рапон, ренде,*

⁸ Подробно за етничните названия в полския език и тяхната конотация вж. [БАРТМИНСКИ 2002, 2007а, 2007б; ПИСАРКОВА 1976; ПАЙСЕРТ 1992].

ръб, тиква, тиквеник, тъпак, тъпанар, тъпунгер и др. Голям е броят на разговорните изрази за същия признак и в полския език: *baran, bezmózgi, dureń, głąb, głupiec, głupol, kiep, kottun, matoł, młot, pascan, przyglup, tępak, tuman, ułom* и др.

По отношение на **физическото здраве**, т. е. на неговата липса, също могат да се открият разнообразни изрази, като в двата езика могат да се забележат някои различия по отношение на образуването и на количеството при отделните подгрупи. Така например в българския език за назоваване на признака ‘лице с увреждания на горните или долните крайници’ се използват няколко много изразителни разнокоренни лексеми от рода на: *къопав, недъгав, сакат, патрав, чолак*. Изрази с подобна семантика са налице и в полския език, някои от които са деривати от общ корен, напр. *kulawy, kulas, kulawiec*, използват се също: *kaleka, kuśtyk, kuternoga, utyka* и др. Номинациите във връзка с увредено зрение в българския език също са много изразителни, напр.: *къорав, къорчо, недоскив, очко, очиларко, слепок, цайс, цъкльо* и др.; в полския език се използват по-малко разговорни изрази за иронично назоваване на лице, изпитващо проблеми със зрението, напр.: *ociemniały, okularnik, ślepy*. Във връзка с увреждания на слуха в българския език могат да се чуят определения като *глухар* и *телефонист*, а в полския език – *głuchy*.

2.4. Поредната група разговорни изрази с оценъчна конотация се отнася до **външните черти на човека**. Тук вниманието на българските и полските носители на езика привличат преди всичко теглото, ръстът и общият изглед.

Безспорно най-многобройна е групата изрази, свързани с качеството ‘човек с прекомерно тегло’. В това отношение в българския език най-активно се използват изразите: *буре, барабан, бойлер, гуда, гуце, дебелак, дебелан, дебеланко, демби, дирижабъл, мешка, плондер, свиня, слон, тулуп, шамандура, шишо* и др., а в полския език: *baleron, beczka, beka, berta, grubas, maciora, stoń, smalec, świnia, świniak, tłuścioch, zapasiony kebab na kaczych łapach, {tłusty} warchlak, wieloryb, woleń* и др. Противоположното качество – ‘прекалено слаб’, също е обект на разширена оценъчна номинация, в българския език: *гърчав, гюдерия, джезве кокали, жогляв, издишалка, кожа и кости, манекен на бухендвал, мръвка, скоба, спица, флейка, хилка, хърбел, шпригла, щека* и др., в полския език: *anorektyk, chuderlak, chudzielec, patyk, patyczek, skóra i kości, strach na wróble, suchotnik, {chuda} szczapa, {chuda} szkap, szkielet, tyczka, wieszak* и др.

Качеството ‘прекомерно висок’ е обект на оценъчност чрез дълъг ред синонимни изрази и в двата езика, например в българския език се използват изрази като: *антена, бастун, гюдерия, дингил, дългуч, кула, лонгур, маркуч, слез да вечеряме, теле-кула* и др., а в полския език: *długi, drabina, drag, dragal, dryblas, koszykarz, żyrafa* и др. За признака ‘прекомерно нисък’ в българския език са налице изразите: *бичме, бръбазък, тиндик, сачма, тантурест, тапа, тапишон, трътльо, фъстък, шебек, фарфалак* и др., в полския език същият признак е подложен на оценка чрез изрази като: *gimli*,

karzeł, konus, krasnal, kurdupel, mały, maluch, mikrus, niskoskanalizowany (nisko sika), szkrab, ping-pong, pokura, z metra cięty и др.

Заслужава да се спомене фактът, че в полския език функционира по-дълъг синонимен ред разговорни изрази за номинация на лице с характерен изглед на ушите, срв.: *ciapiek, uszaty, ushi (uszi), usher, uszambaj* – ‘човек с големи уши’, *gacek, plastyś* – ‘човек с шръкнали уши’. В българския език във връзка с тези човешки органи широко разпространение има единствено изразът *клепоушко* – ‘който е с увиснали уши’, но се употребява по-често за животни.

В българския и в полския език разговорните изрази, посветени на общия изглед на човека, съотнесен към представите във връзка с естетическите категории ‘красиво’ и ‘грозно’, не отстъпват по разнообразие на горните. Така например за признака ‘лице с грозен външен изглед’ в българския език се използват изрази като: *алигатор, бит от градушка, борсук, вампир, горгодзил, грозней, зъбер, крокодил, очукан, урунгел, уруплан, утрепан, баба Яга, джофра, дропла, кикимора, коцрамба, кукумявка, чапла* и др. Сред тези изрази няма такива, които да са специализирани само за лица от мъжки пол – една част от тях са от общ мъжко-женски род, други са само за жени. В полския език могат да се срещнат изразите: *bazyliśzek, brzydal, brzydula, kosmita, paskuda, paszczur, plastyś, pokemon, potwór, smok, zombi* и др.

3 Заключение

Анализът на разговорната лексика в българския и полския език показва, че основният компонент на българския и полския концептуален модел на света, така както и при много други народи, е антропоцентризмът, т. е. човекът най-често се оказва в центъра на номинацията и през погледа на човека се пречупва обкръжаващият го свят. Освен тази обща констатация анализът дава възможност да се опишат по-подробно някои от компонентите на българската и полската картина на света. Тематиката и количествените измерения на разгледаните в тази работа разговорни изрази, които са обединени от факта, че изразяват оценъчност във връзка с определени признаци на човека дават основание да се направят и следните по-важни изводи:

1) Обект на най-разнообразна езикова номинация в рамките на българската и полската разговорна реч е социалното поведение на личността и преди всичко личностните прояви, които влизат в остро противоречие с господстващите в българското и полското общество норми за социално поведение. Оказва се, че на негативна оценка чрез емотивни изрази са подложени най-вече прояви, които нарушават утвърдените морални норми и обичаи, както и тези дейности и постъпки, които са в конфликт с официалното право (напр. проституцията, безделието, пиянството, самохвалството, злоупотребата с доверие, лъжата, присвояването на чужда собственост, хулиганството и др.). Отражаващите тази оценка разговорни изрази са свидетелство за силната социализация на българина и на поляка, за тяхната

нравствена чувствителност, наблюдателност, критичност и възискателност по отношение на околните.

2) Значителна част от разгледаните лексикални единици са свързани с някои общочовешки стереотипи и предразсъдъци, най-вече с тези, които в процеса на социалната практика се проявяват като различни видове дискриминация, например въз основа на пола, на възрастта, на расовата принадлежност, на сексуалната ориентация, на местопроизхода, на здравословното състояние и др., с други думи, тези случаи на езикова номинация са израз на явления като *андроцентризъм (сексизъм)*, *ейджизъм*, *расизъм*, *хомофобия*, *урбоцентризъм* и пр., които са характерни и за много други общества и техните езици. Част от емотивните разговорни изрази в тази група отразяват българското и полското виждане по отношение на опозицията 'свой – чужд', често описвана в литературата по етнолингвистика като «основен инструмент за изграждане на групова идентичност [BARTMIŃSKI 2007: 36]». Натоварените с отрицателна конотация изрази за представители на други етноси и нации е конкретна форма на проява на въпросната опозиция в българския и полския вербален дискурс, която потвърждава наличието също на *етноцентризъм* в българската и полската езикова картина на света.

4) Една от най-многобройните групи изследвани разговорни изрази с негативна конотация се отнася до отклонения от здравето – психическо, умствено или физическо. Този факт може да бъде обект на разнопосочни интерпретации. От една страна, подобни изрази могат да се разглеждат като далечен отглас на закона за естествения подбор, следователно, като проява на обществена нетолерантност. От друга страна, възможно е те да се представят като естествена реакция на явления, носещи непосредствена заплаха (например номинациите за лица с психически отклонения). Възможно е също така да се приеме, че отрицателната емоция при номинирането на определено качество на личността всъщност отразява виждането на носителя на езика относно значението на оценяваното качество (например нормалното умствено развитие, високите интелектуални възможности).

Към най-многобройните групи оценъчни разговорни изрази в българския и в полския език принадлежат и тези, които изразяват противоречието с общите представи за «нормален» външен вид на човека. В зависимост от интерпретацията на този факт тук би могло да се говори както за израз на естетическото чувство на носителя на езика, така и за липса на обществена толерантност. Със сигурност обаче тези изрази, заедно с останалите коментирани тук случаи на оценъчна разговорна лексика, потвърждават факта, че ненормалността, отклоненията от господстващите обществени представи привличат по-силно вниманието на участниците във вербалната комуникация и пораждат повече номинации в сравнение с явленията, които се вписват в приетите норми.

5) Важна за разкриване на спецификите в българския и в полския концептуален модел на света, е групата на онези разговорни изрази, които отразяват типично национални обществени реалности. Като примери тук

могат да се посочат изразите, които съдържат емоционално отношение към определени етноси и народи, с които българското и полското общество по исторически и географски причини са имали трайни контакти. Като специфични могат да се определят и тези изрази, които отразяват отношения, типични само за някое от двете общества (например българските изрази, които отразяват традиционните български семейно-родови отношения).

б) С изключение на изразите, свързани с типично национални реалности, в рамките на двата езика се наблюдава функционална еквивалентност, като и за двата езика е характерна както номинация чрез разнокоренни синонимни изрази (напр. бълг. *къопав, недъгав, сакат, патрав, чолак*; пол. *gimli, karzeł, konus, krasnal, szkrab, pokura*), така и чрез деривация с помощта на характерните за всеки от езиците словообразователни средства (напр. бълг. *манго, мангал, мангасар, мангафа, мангуст*; пол. *pijus, opijus, opilca, opilec, oróј, pijaczyna, pijaczysko*). Количественото съотношение между тези два начина във всеки от езиците може да бъде предмет на отделно проучване. В процеса на номинацията носителите на двата езика посягат както към вътрешноезикови ресурси (напр. младежкия жаргон, архаичната и диалектната лексика), така и към външни източници (напр. лексикални заемки от чужди езици). Особено забележима в българския език в рамките на изследваните тук номинации е ролята на ориенталното езиково влияние – на турския език и на други източни езици като източници на готови емотивни разговорни изрази (напр. *абдал, апаи, хаймана*) или на определени словообразователни компоненти (напр. суфиксите *-чия, -джия*).

Направените дотук изводи потвърждават принадлежността на българите и на поляците към една по-голяма общност от народи с приличащи си картини на света. Трябва да се подчертае обаче, че сам по себе си представеният тук анализ не дава основания за генерализация по отношение на определени концептуални модели или нагласи, например да се говори за наличието им сред цялата съвкупност от носители на българския и полския език. Може да се предположи, че определен тип мислене и нагласи е характерен само за определени социални групи комуниканти, за чиито представители анализираната тук разговорна лексика е част от активния им речников ресурс.⁹ В същото време обаче съпоставянето на резултатите от нашия езиков анализ с резултатите от други изследвания, например от представителни социологични проучвания на общественото мнение, дава основание да се говори за висока надеждност на метода на когнитивния езиков анализ и за неговото значение

⁹ Социалният обхват на оценъчността, отразена в емотивните изрази на даден език, е дискуссионен въпрос, обсъждан в редица публикации. Според някои автори тя е обща за всички членове на обществото [ЗАЛИЗНЯК и др. 2001], според други автори е вариативна при различните социални групи [ПЕРНИШКА 2012].

за изучаването и експлицирането на начина на мислене и нагласите на обществото като цяло.¹⁰

Библиография

- БАРТМИНСКИ–ТОКАРСКИ 1986: Bartmiński, J., Tokarski, R. Językowy obraz świata a spójność tekstu // T. Dobrzyńska red.), Teoria tekstu. Zbiór studiów, Wrocław, s. 65–81.
- БАРТМИНСКИ 2001: Bartmiński, J. Styl potoczny // Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001, s. 115–134.
- БАРТМИНСКИ и др. 2002: Bartmiński J., Lappo I., Majer-Baranowska U., Stereotyp Rosjanina i jego profilowanie we współczesnej polszczyźnie // „Etnolingwistyka” t. 14, Lublin, s.105–151.
- БАРТМИНСКИ 2006: Bartmiński, J. Językowe podstawy obrazu świata, UMCS, Lublin 2006.
- БАРТМИНСКИ 2007a: Bartmiński, J., Polskie stereotypy narodowe // Tegoż, Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Lublin, s. 229–314.
- БАРТМИНСКИ 2007б: Bartmiński, J. Opozycja *swój/obcy* a problem językowego obrazu świata // Etnolingwistyka, 19,s. 35–59.
- БУРОВ и др. 2000: Буров, С., Бонджолова, В., Илиева, И., Пехливанова, П. Съвременен тълковен речник на българския език с приложения, Gaberoff, Велико Търново.
- БУРОВ 2005: Буров, С. Познанието в езика на българите, Фабер. Велико Търново.
- ГЕНЕВ–ПУХАЛЕВА 2007: Генов–Пухалева, И., За новите значения на прилагателното ”европейски” в няколко европейски езика (български, полски и гръцки), Славяните в Европа. София, с. 212-215.
- ГЖЕГОРЧИКОВА 1999: Grzegorzczkova R., Pojęcie językowego obrazu świata // Językowy obraz świata, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin, s.43–45.
- ВАН ДАЙК 2003: van Dijk, T. A. Dyskurs polityczny i ideologia // J. Bartmiński (red.), Etnolingwistyka 15, Lublin, s. 7–28.
- ГОЛОВАНЕВСКИ 2002: Голованевский, А. Л. Оценочность и ее отражение в политическом и лексикографическом дискурсах (на материале русского языка) // Филологические науки, Москва, 2002, № 3, с. 78–87.
- ДИМИТРОВА и др. 2004: Димитрова, С., Алмалех, М., Стаменов, М., Карагьозова, С. Език и менталитет, Военно издателство. София.
- ЗАЛИЗНЯК и др. 2001: Зализняк, А., И. Левонтина, А. Шмелев. Ключевые идеи русской языковой картины мира // Русский журнал, Москва.

¹⁰ Данните от редица проучвания на българското обществено мнение са в унисон с направените тук изводи. Така например проучване на агенция „Скала” за дискриминационните нагласи в българското общество, проведено през 2007 г., е показало, че 80% от българите имат негативно отношение към хомосексуалистите [в-к Монитор 21.12.2007], а според друго изследване – на агенция „Афис”, посветено на масовите нагласи по отношение на различията между хората, основани на произход, вяра, традиции и обичаи, проведено през 2011 г., излиза, че българите изпитват най-голяма нетърпимост към наркоманите (54%), серопозитивните (45%) и психично болните (43%), ромите (28%) турците (18%) и пр. (www.vesti.bg, 21.01.2012)

- КАРВАТОВСКА–ШПИРА-КОЗЛОВСКА 2005: Karwatowska, M., Szpyga-Kozłowska, J. *Lingwistyka polski. Ona i on w języku polskim*, UMCS, Lublin.
- ЛАСКАРОВ 2007: Ласкаров, С. Българско-френски идеографски речник на разговорната реч, Колибри. Велико Търново.
- ЛЕГУРСКА–БЕЧЕВА 2006: Легурска, П., Бечева, Н. Съпоставително-типологични аспекти на полисемията на названията за животни (в български, руски и сръбски) // Српски језик, бр. 10/ 1–2, 235–271.
- МЬОДУНКА 1989: Miodunka, W. *Słownik jest tekstem przerwany* // *Podstawy leksykologii i leksykografii*, PWN, Warszawa.
- ПАЙСЕРТ 1992: Peisert M., *Nazwy narodowości i ras we współczesnej polszczyźnie potocznej*, „Język a Kultura” t. 5, Wrocław, s.209–223.
- ПЕНЧЕВА 2001: Пенчева, М. Човекът в езика. Езикът в човека. София.
- ПЕРНИШКА 1993: Пернишка, Е. За системността в лексикалната многозначност на съществителните имена. София.
- ПЕРНИШКА 1998: Пернишка, Е. *Nektoré zhodné inovačné javy v bulharskom a slovenskom jazyku za posledné desa trocie* // *Slovensko-bulharské jazykové a literárne vzťahy*, Bratislava, s. 68 – 75.
- ПЕРНИШКА 2003: Пернишка, Е. Структурни и семантични особености на новите имена за лица в български и чешки език (1990–2000) // *Dinamika a inovace v češtině a bulgarštině (90 léta 20. století)*. Sborník příspěvků z pracovního setkání v Sofii (7. 10. 2002), ÚJČ. AV. Praha.
- ПЕРНИШКА 2006: Пернишка, Е. Съвременната лексикография – извор на познания за богатството и системните връзки в лексиката // Български език и литература, 2006, № 6 (електронно издание, дост. 06.02.2012).
- ПЕРНИШКА 2012: Пернишка, Е. Времето в нас, в езика и в лингвистиката, <http://earthandman.org/bgezik/statia06EP.htm>, дост. 06.02.2012
- ПЕТРОВА 2000: Петрова, А. Езикова метафора и балканската картина на света (върху материал от семантичното поле `отрицателни емоции` в балканските езици). Дисерт. за присъждане на образ и науч. степен д-р (автореферат). В. Търново.
- ПИСАРКОВА 1976: Pisarkowa K., *Konotacja semantyczna nazw narodowości*, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1, s. 5–26.
- ПУХАЛЕВА 2003: Пухалева, И. Оценъчни фразеологични единици в български, новогръцки и полски. Дисерт. за присъждане на образ. и научн. степен д-р (автореферат). София.
- РБЕ 1977: Речник на българския език, т. I–XIII, БАН, София, 1977–2008.
- СОТИРОВ и др. 2011: Sotirov, P., Mostowska, M., Mokrzycka, A. *Bułgarsko-polski słownik leksyki potocznej*, T. I–, UMCS. Lublin.
- ТОКАРСКИ 2004: Tokarski, R. *Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie*, wyd. drugie rozszerzone, Lublin.
- ТОКАРСКИ 1990: Tokarski, R. *Językowy obraz świata w metaforach potocznych* // *Językowy obraz świata*, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 69–86.
- Ученическа реч 2012: *Słownik gwary uczniowskiej*, http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Słownik:Gwary_uczniowskiej, 06.02.2012.
- ХЛЕБДА 2010а: Chlebda, W. *W poszukiwaniu językowo-kulturowego obrazu świata Słowian*, [w:] *Etnolingwistyka a leksykografia*, red. W. Chlebda, Opole, s. 7–20.
- ХЛЕБДА 2010б: Chlebda, W. *W jakim zakresie słownik dwujęzyczny może być źródłem informacji etnolingwistycznej?*, [w:] *Etnolingwistyka a leksykografia*, Opole.

ЯКИМОВА–ТОРНСТОН 1994: Якимова, Е. В., Торнстон, Л. Геронтология в динамическом обществе // Социальная геронтология: современные исследования, ИНИОН РАН, Москва, с. 58–68.

Abstract

On Bulgarian and Polish linguistic worldview depicted in colloquial evaluative vocabulary

The paper analyzes various components of Bulgarian and Polish linguistic worldview, depicted in colloquial evaluative vocabulary. The analysis leads to the conclusion that most varied in Bulgarian and Polish languages are verbal nominations referring to social behaviour, especially such in respect to social aspects strongly opposing traditional collective moral values. It appears both the Bulgarian and Polish conceptual worldview contain many components, typical of other nations, such as anthropocentrism, sexism, ageism, urbocentrism, ethnocentrism et al. Some of the analyzed expressions depict characteristics typical of the Bulgarian or the Polish linguistic worldview, e.g. nominations referring to local public realities: attitude towards specific ethnic groups or towards neighbouring nations, family relations (e.g. patriarchal stereotypes) et al. This study confirms the thesis that a society's colloquial vocabulary is an important and authentic source for studying its linguistic worldview.

**ON CONCEPTUAL DIFFERENTIATION: THE CASE OF THE HUNGARIAN
AND RUSSIAN VERBS MEANING ‘CUT’**

KÁROLY BIBOK

1. Introduction

1.1. Theoretical background

The present paper is set in the framework of **lexical pragmatics** [BIBOK 2004] which critically amalgamates the views of Two-level Conceptual Semantics [BIERWISCH 1983, 1996], Generative Lexicon Theory [PUSTEJOVSKY 1995] and Relevance Theory [SPERBER and WILSON 1995] concerning word meanings in utterances. Lexical pragmatics accepts, as a starting point in the construction of word meanings in utterances, lexical-semantic representations which can be underspecified and allow for methods other than componential analysis. Since words have underspecified meaning representations, they reach their full-fledged meanings in corresponding contexts through considerable pragmatic inference. One of these interpretation operations is what has been called conceptual differentiation, which originates from Two-level Conceptual Semantics but resembles mechanisms such as PUSTEJOVSKY’s [1995] selective binding and CRUSE’s [1986] contextual modulation. Conceptual differentiation modifies the underspecified meaning belonging to the linguistic level in slightly different ways within one and the same conceptual domain. The paper uses the notion of conceptual differentiation combining it with those of lexical stereotype and prototype.

1.2. Aims

I have one general and two specific goals in this paper. As to the **general** one, I aim to thoroughly investigate how conceptual differentiation, lexical stereotype and prototype co-operate in the lexical field of Hungarian and Russian verbs meaning ‘cut’ in order to construct their actual contextual meanings in utterances. With this general aim in mind, I **first** analyze such Hungarian verbs as *vág* ‘cut’, *nyír* ‘cut through pressing/shearing/mowing’, *fűrész* ‘saw’ and *borotvál* ‘shave’. The **second specific aim** is to compare the Hungarian verbs against their Russian counterparts, viz. *rezat* ‘cut through pressing’, *rubit* ‘cut with a blow/blows’, *strič* ‘cut through pressing/shearing/mowing’, *pilit* ‘saw; file’ and *brit* ‘shave’.

2. Hungarian verbs of cutting

2.1. The verb *vág* 'cut'

On the basis of a fairly wide range of contexts in which this word occurs, its core meaning can be paraphrased in non-formalized terms as follows:

- (1) 'using a sharp-edged instrument, x (= a physical object) causes y (= a physical object) to become not whole'.

Objects to be cut evoke our everyday knowledge about the typical instruments as well as how and for what they are used:

- (2) (a) cutting bread with a knife (the knife may move back and forth or only press down on the object to be cut),
- (b) cutting wood with an axe or a saw (the axe hits wood, and the saw moves back and forth),
- (c) cutting the hedge with hedging-shears,
- (d) cutting grass with a scythe, a sickle or a lawn-mower,
- (e) cutting one's hair with scissors or a hair-clipper,
- (f) cutting one's nails with nail-scissors or a nail-trimmer (in the latter cases – in addition to becoming not whole – there can be special purposes: to shorten and/or to cut a shape), etc.

Non-typical cases of x's causing y to become not whole with a sharp-edged instrument which can be expressed by a single lexeme (and not a periphrastic causative construction) are restricted in terms of the lexical stereotype. Lexical stereotypes prescribe the corresponding – perhaps culture-dependent – manner (if any) and goal (if any) of the events [GERGELY and BEVER 1986]. The lexical stereotype of the verb *vág* 'cut' does not allow the non-standard use of a typical cutting instrument. For example: If John fastens a knife to the surface of a table, puts some bread on the edge of the knife and a heavy stone on the bread causing it to be divided into two parts, one can hardly call this event cutting. Instead, one would express it with a periphrastic construction: *Doing this and this, John causes that...* However, the lexical stereotype of the verb *vág* 'cut' does not exclude the application of typical instruments without the special purposes of shortening and cutting a shape as well as the use of non-typical instruments. In the latter case the agent who cuts something may use non-typical instruments in at least the following two ways, though such situations are not very likely to occur in reality:

- (3) (a) either in a way characteristic of the instrument used but uncustomary for the object which is cut (e.g. cutting bread into two with an axe (at one blow)),
- (b) or in a way uncharacteristic of the instrument used but customary for the object which is cut (e.g. moving the edge of an axe on bread in a way we use a knife).

Furthermore, a small flat rock is not an instrument and, consequently, it is not inherently assigned any goals. Nonetheless, it can occasionally be used to cut something in a way we cut with a knife. This cutting event is similar to that of the type (3b) with the difference of not using an instrument. Moreover, the object (or the instrument) to cut with does not necessarily have any sharp edge. So such a non-typical object can be applied in a way uncustomary for both the instrument used (if any) and the object which is cut, but the result of a causative event, i.e. a not-whole physical object, comes into being in a way similar to cases of typical cutting and to the cases in (3a) and (3b) of non-typical cutting (e.g. cutting a bar of soap with a thread).

Because of the above-mentioned possibilities of (non-typical) cutting, the formula in (1), i.e. ‘using a sharp-edged instrument, x (= a physical object) causes y (= a physical object) to become not whole’, does not necessarily hold true for *vág* ‘cut’. Instead of (1), we can state (4) as a formula containing the common core, or necessary components, of *vág* ‘cut’ as follows:

- (4) ‘using z (= a physical object), x (= a physical object) causes y (= a physical object) to become not whole’.¹

However, in order to get conceptually differentiated meanings in contexts, i.e. slightly different meanings within one and the same conceptual domain, one needs to supplement the representation based on (4) and the lexical stereotype of *vág* ‘cut’ with the indication of the prototype and consequently with possible deviations from it. So, we reach a special pattern of the division of labor between the under-specified linguistic encoding, combined with lexical stereotype and prototype, and the contextual interpretation. However, it differs from the previously elaborated conception of conceptual differentiation in Two-level Conceptual Semantics [BIERWISCH 1983, 1996], not only in connection with the Hungarian verb *vág* ‘cut’ in particular but also in general. In terms of SCHWARZE [1982], the lexeme *vág* ‘cut’ does not have such a relational meaning inside which it may differentiate conceptually according with contexts. Rather, the verb at stake owns a **partly** relational meaning, in case of which – since necessary relational components are not sufficient ones at the same time – prototypicality conditions also play a crucial role in the identification of its denotation. As to the general aspect of the present analysis, from my lexical pragmatics point of view [BIBOK 2004], which allows for the

¹ For a comparison of (3) with the dictionary definitions, see BIBOK [2002].

conceptual meaning of words to be represented by means of decomposition and prototype, there is a more relevant distinction than that between language knowledge and world knowledge (proposed in Two-level Conceptual Semantics). It is the distinction between decoding and inference that is relevant for the delineation of lexical pragmatics. In other words, the point is how a great number of meanings appearing in contexts are inferred from lexically encoded information.

2.2. Other Hungarian verbs: *nyír* ‘cut through pressing/shearing/mowing’, *fűrész* ‘saw’ and *borotvál* ‘shave’

These Hungarian verbs have more specialized meanings than *vág* ‘cut’ in the sense that they indicate a typical instrument to be used or at least a narrower range of typical instruments. In the case of *nyír* ‘cut through pressing/shearing/mowing’, the typical instrument is one or another kind of scissors: *nyírja valakinek a haját/körmét* ‘cut one’s hair/nails’ – with scissors, nail-scissors, *nyírja a birkát, a sövényt* ‘shear the sheep, cut the hedge’ – with shears, hedging-shears (in Hungarian these instruments are also called scissors). Technical progress can change the range of typical instruments: e.g. cutting one’s hair with a hair-clipper and cutting grass with a lawn-mower. In case of the verbs *fűrész* ‘saw’ and *borotvál* ‘shave’, the typical instruments are already clear from the word-formation structure. These verbs are derived from the nouns denoting the instruments used typically to carry out the given actions, namely, from *fűrész* ‘saw’ and *borotva* ‘razor’, respectively.

Non-typical cases of *x*’s causing *y* to become not whole with a pair of scissors, a saw or a razor which can be expressed by a corresponding single lexeme (and not a periphrastic causative construction) are restricted in terms of the lexical stereotype: like the verb *vág* ‘cut’, it does not allow the non-standard use of a typical instrument. However, the lexical stereotypes of these verbs do not exclude the use of instruments not characteristic of an object which is cut/shorn/mown, sawed or shaved, the application of non-typical instruments (and even objects without inherent functions) in a way customary for typical instruments (cf. (3a) and (3b) above).

What has to be added to the prototype of the verb *nyír* ‘cut through pressing/shearing/mowing’ is that typical instruments are used with the special purpose of shortening and/or cutting a shape. Without these purposes the event becomes non-typical (even in the case of using typical instruments).

3. Russian verbs of cutting

There are two properties in which the Russian verbs under investigation differ from their Hungarian counterparts. On the one hand, in the Russian language a general verb for cutting, like Hungarian *vág* ‘cut’ (and also English *cut*), does not exist. There are Russian verbs with more specific meanings which are not lexicalized by the hyponyms of Hungarian *vág* ‘cut’. These Russian verbs are *rezat* ‘cut through pressing’ and *rubit* ‘cut with a blow/blows’. The English translations

themselves indicate that their specificity concerns the manner of events, which can be formulated as in (5) and (6), respectively:

(5) manner: ‘through pressing’;

(6) manner: ‘with a blow/blows’.

As necessary components, the general manner specifications in (5) and (6) have to be added to the formula in (4) in order to obtain the invariant meanings of *rezat* ‘cut through pressing’² and *rubit* ‘cut with a blow/blows’. Their corresponding prototypes should be formed in accordance with the specificity of these invariant meanings.

On the other hand, among the other specific Russian verbs, namely, *strič* ‘cut through pressing/shearing/mowing’, *brit* ‘shave’ and *pilit* ‘saw; file’, there is a verb which denotes two entirely different events of x’s causing y to become not whole. It is the verb *pilit* ‘saw; file’: the events expressed by it can typically be carried out – in one case – with a saw, which is used to cut, and – in the other case – with a file, which is not used to cut. Therefore, the prototype of *pilit* ‘saw; file’ has to include two different kinds of instruments.

To conclude the contrastive section of the paper, it can be stated that the revealed cross-linguistic differences correlate with the language-specific characteristics of underspecified lexical encoding, which, in turn, influence variable possibilities of Hungarian and Russian lexemes under investigation to be conceptually differentiated in contexts.

4. Conclusions

My examination of Hungarian and Russian verbs meaning ‘cut’ has resulted in an adequate description of their meanings and a reliable structure of their lexical-semantic representations because it offers a comprehensive model of derivations of several contextual meanings. Moreover, these results could be reached in a conception of lexical pragmatics which argues for a division of labor between the underspecified linguistic encoding, combined with lexical stereotype and prototype, and the contextual interpretation.

References

- BIBOK 2002: Bibok, K. *Vág*: egy elemzés a konceptuális differenciáció területén [*Vág* ‘cut’: An analysis in the field of conceptual differentiation]. In: K. Bibok, I. Ferincz and M. Kocsis (eds.), *Cirill és Metód példáját követve...: Tanulmányok H. Tóth Imre 70. születésnapjára* [Following Cyril and Methodius’s example: Festschrift for Imre H. Tóth on the occasion of his 70th birthday]. Szeged: JATEPress, 57–66.
- BIBOK 2004: Bibok, K. Word meaning and lexical pragmatics. // *Acta Linguistica Hungarica* 51, 265–308.

² For a comparison of the underspecified meaning representation of *rezat* ‘cut through pressing’ with its dictionary definitions, see Bibok [2007, 2009: 10–15].

- BIBOK 2007: Bibok, K. Konceptual'no-semantičeskoe issledovanie russkogo glagola *rezat'* [A conceptual-semantic investigation of the Russian verb *rezat'* 'cut through pressing']. // *Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae* 52, 47–54.
- BIBOK 2009: Bibok, K. O sootnošenii teoretičeskogo jazykoznanija i rusistiki [On interrelationship between theoretical linguistics and linguistics of the Russian language]. // *Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae* 54, 1–19.
- BIERWISCH 1983: Bierwisch, M. Semantische und konzeptuelle Repräsentation lexikalischer Einheiten. In: R. Růžička and W. Motsch (eds.), *Untersuchungen zur Semantik*. Berlin: Akademie-Verlag, 61–99.
- BIERWISCH 1996: Bierwisch, M. How much space gets into language? In: P. Bloom, M. A. Peterson, L. Nadel and M. F. Garrett (eds.), *Language and space*. Cambridge MA: MIT Press, 31–76.
- CRUSE 1986: Cruse, D. A. *Lexical semantics*. Cambridge: CUP.
- GERGELY and BEVER 1986: Gergely, G. and T. G. Bever. Related intuitions and the mental representation of causative verbs in adults and children. // *Cognition* 23, 211–277.
- PUSTEJOVSKY 1995: Pustejovsky, J. *The Generative Lexicon*. Cambridge MA: MIT Press.
- SCHWARZE 1982: Schwarze, Ch. Stereotyp und lexikalische Bedeutung. // *Sonderforschungsbereich 99, Linguistik, Univ. Konstanz*.
- SPERBER and WILSON 1995: Sperber, D. and D. Wilson. *Relevance: Communication and cognition*. Oxford: Blackwell, 2nd edition.

Резюме

О концептуальной дифференциации: Венгерские и русские глаголы со значением 'каузировать становиться нецелым'

В настоящей статье исследуются венгерские глаголы *vág* 'резать, рубить, стричь', *nyír* 'стричь', *fűrészél* 'пилить' и *borotvál* 'брить' в сопоставлении с русскими *резать*, *рубить*, *стричь*, *пилить* и *брить*. Предлагается, что контекстуальные значения глаголов выводятся посредством концептуальной дифференциации. Более того, представляется своеобразное разделение труда в рамках лексической прагматики между недоспецифицированным лингвистическим кодированием, соединенным с лексическими стереотипами и прототипами, и контекстуальной интерпретацией.

**W SPRAWIE FLEKSJI NAZW WŁASNYCH –
NA PODSTAWIE NAZW PAŃSTW ŚWIATA I ICH STOLIC**

WIESŁAW TOMASZ STEFAŃCZYK

1. Część wstępna

W dotychczasowej literaturze onomastycznej niejednokrotnie się pisze o różnicach między fleksją nazw własnych a pospolitych oraz o potrzebie opracowania gramatyki onomastycznej [por. CIEŚLIKOWA 2000]. Zagadnienie to nie doczekało się jednak szczegółowego opracowania, a wszelkie prace o charakterze syntetycznym, choć zawierają istotne uogólnienia i wskazują zaobserwowane tendencje, nie są poparte pełnym materiałem empirycznym [por. RZETELSKA – FELESZKO (red.) 2005].

Celem niniejszego artykułu jest ustalenie prawidłowości w zakresie podstawowych kategorii gramatycznych nazw własnych, tj. liczby, rodzaju i przypadku. Materiał źródłowy stanowią nazwy państw świata i ich stolic opracowane przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski przy Głównym Geodecie Kraju [CZERNY, ZYCH 2003, 2006]. Uwzględniono również ostatnio opublikowany słownik o charakterze poprawnościowym, zawierający nazwy miast Polski, nazwy krajów i stolic Europy wraz z wzorcami ich odmiany [CZOPEK-KOPCIUCH, BIJAK, CIEŚLIKOWA 2010]. Analiza obejmuje około 400 nazw własnych, tj. 194 nazwy krajów, ich stolicy oraz 10 tzw. quasi-państw, tzn. krajów nie uznawanych na arenie międzynarodowej. Dla celów porównawczych w badaniach uwzględniono także inne obce i polskie toponimy typu *Toronto*, *Chicago*, *Cambridge*, *Kraków*, *Gdańsk*. Analiza obejmuje więc w istocie około 500 jednostek leksykalnych, co stanowi jedynie niewielką, choć reprezentatywną, część bogatego materiału onomastycznego. W badaniach uwzględniano głównie fonetyczną realizację danego leksemu, natomiast jego zapis ortograficzny brano pod uwagę wówczas, gdy miał on związek z fleksją. Szczególnie cenną pomocą w opracowaniu niniejszego materiału okazał się *Mały słownik nazw własnych*, zawierający wzorce i schematy fleksyjne [CIEŚLIKOWA (red.) 2002].

2. Część analityczna

2.1. Kategoria liczby nazw własnych

Z przeprowadzonych badań wynika, że analizowane toponimy mają w zdecydowanej większości wyłącznie postać liczby pojedynczej, np.: *Izrael, Meksyk, Budapeszt, Madryt; Polska, Wenezuela, Warszawa, Ottawa; Maroko, Kongo, Berno, Sarajewo; Chile, Zimbabwe, Harare, Duszanbe; Haiti, Kigali, Nairobi; Peru, Mogadysz, Baku*.

W badanym materiale odnotowano jedynie 17 nazw państw mających wyłącznie formę liczby mnogiej, o czym decydują czynniki semantyczne (są to kompleksy terytorialne): *Bahamy, Filipiny, Malediwy, Komory, Grenadyny, Seszele, Wyspy Marshalla, Wyspy Salomona, Wyspy Św. Tomasza, Stany Zjednoczone, Zjednoczone Emiraty Arabskie* bądź historyczne: *Chiny, Indie, Czechy, Niemcy, Włochy, Węgry*, przy czym cztery ostatnie to nazwy państw utworzone od nazw ich mieszkańców [por. Klemensiewicz 1984], por. też *Morawy, Kaszuby, Mazury, Kujawy*.

W grupie nazw stolic odnotowano jedynie dwa leksemy mające postać liczby mnogiej, tj. *Helsinki* i *Ateny* (por. też *Saloniki, Druskienniki, Troki, Syrakuzy; Skierniewice, Kielce*).

2.2. Kategoria rodzaju nazw własnych

W celu ustalenia kategorii rodzaju gramatycznego podzielono ogół analizowanych nazw własnych na dwie grupy według kryterium fonetycznego, tj. zakończone na spółgłoskę oraz zakończone na samogłoskę.

A. Toponimy o wygłosie spółgłoskowym

W grupie ponad 110 nazw własnych o wygłosie spółgłoskowym odnotowano około 90 leksemów rodzaju męskiego, np.: *Afganistan, Algier, Bangladesz, Gabon, Iran, Irak, Laos, Liban, Honduras, Meksyk, Amsterdam, Dublin, Budapeszt, Bukareszt, Waszyngton, Seul, Ułan Bator* (por. *Hamburg, Petersburg, Irkuck, Montreal; Kraków, Gdańsk, Poznań*).

W badanym materiale odnotowano około 20 nazw własnych, wyłącznie endonimów, głównie rzadko używanych, mających rodzaj nijaki: *Vaduz, Caracas, Buenos Aires, Georgetown, Kingstown, Bridgetown, Saint George's, Saint Vincent, Saint Christopher, Saint John's, Asunción, Palau, Bissau, Phnom Penh, Bandar Seri Begwan, Brazaville, Liberville, Lilongwe, Belize, Port Louis, La Paz, Port-au-Prince*. W rzeczywistości takich nazw jest znacznie więcej, por. np.: *Detroit, Dallas, Las Palmas, Las Vegas, Los Angeles, Betlejem*.

W analizowanej grupie odnotowano ponadto izolowaną nazwę *Białoruś*, mającą rodzaj żeński (por. *Żmudź, Łódź, Bydgoszcz*) oraz leksem rodzaju męskiego z wygłosowym elementem *-um* *Chartum*, choć zdecydowana większość tego typu rzeczowników ma rodzaj nijaki (por. np.: *Bizancjum, Lacjum, Monachium, Bochum*).

B. Toponimy o wygłosie samogłoskowym

1. Nazwy własne z wygłosowym –a

W grupie około 160 toponimów z wygłosowym –a dominuje (niemal) bezwyjątkowo rodzaj żeński, np.: *Polska, Turcja, Grecja, Rosja, Ukraina, Holandia, Rumunia, Boliwia, Wenezuela, Kenia, Tanzania, Warszawa, Ankara, Moskwa, Kampala, Dodoma, Lublana, Bratysława, Lizbona* (por. też *Katalonia, Kastylia, Majorka, Minorka, Barcelona, Lubeka, Genewa, Lozanna*).

W omawianej grupie odnotowano dwa leksemy, które według ustaleń Komisji mają rodzaj nijaki: *Samoa* i *Tonga* (por. też *Goa*).

2. Nazwy własne z wygłosowym –e

Toponimy z wygłosowym –e, tj. 17 odnotowanych leksemów, mają bezwyjątkowo rodzaj nijaki: *Wybrzeże Kości Słoniowej, Naddniestrze, Skopie, Chile, Zimbabwe, Harare, São Tomé, Basseterre, Duszanbe, Lomé, San José, Jaunde, Male, Mbabane, Gaborone, Secure, Saint Lucia* (por. też np.: *Edirne, Medžugorie, Calais*).

3. Nazwy własne z wygłosowym –i (–y)

W analizowanej grupie, obejmującej ponad 20 nazw własnych, dominuje wyłącznie rodzaj nijaki, np.: *Haiti, Burundi, Dżibuti, Malawi, Suazi, Kigali, Tbilisi, Dheli (Nowe Dheli), Moroni, Nairobi, Kirigati, Bainiki, Mali, Dili, Hanoi* (por. np.: *Miami, Rawalpindi, Karaczi, Nagasaki, Calgary*).

4. Nazwy własne z wygłosowym –o

W grupie niemal 30 toponimów z wygłosowym –o dominuje wyłącznie rodzaj nijaki, np.: *Kongo, Maroko, Kosowo, Sarajewo, Wilno, Berno, Lesotho, Santiago, Monako, Bamako, Tokio, Oslo, Colombo, Paramaribo, Majuro, Jamusukro, Tabago, Montevideo, Porto Rico, Porto Novo, Santo Domingo, Burkina Faso* (por. też *Toronto, Chicago, San Francisco, Bilbao, Brno*).

5. Nazwy własne z wygłosowym –u

W analizowanej grupie odnotowano wyłącznie toponimy rodzaju nijakiego, tj.: *Peru, Mogadyszu, Baku, Wagadugu, Thimphu, Vanuatu, Nauru, Katamandu, Maseru, Tuvalu, Vaiaku, Abu Zobi* (por. też *Turku, Tartu*).

Z przeprowadzonych badań wynika, że o przynależności do określonej klasy rodzajowej decydują zasadniczo czynniki fonetyczno-morfologiczne.

Rodzaj męski reprezentują na ogół rzeczowniki o wygłosie spółgłoskowym, np.: *Cypr, Budapeszt, Pekin*.

Cechą dystynktywną rodzaju żeńskiego jest wygłosowa samogłoska –a, np.: *Angola, Wenezuela, Ankara*.

Wykładnikiem formalnym rodzaju nijakiego są wygłosowe samogłoski *-e*, *-i* (*-y*), *-o* oraz *-u*, np.: *Chile, Skopie, Haiti, Hanoi, Calgary, Maroko, Wilno, Peru, Baku*.

Podobne prawidłowości występują w grupie rzeczowników pospolitych [por. STEFAŃCZYK 2007, PRZYBYLSKA 2010].

2.3. Kategoria przypadku nazw własnych

Rzeczowniki rodzaju męskiego odmieniają się na ogół według następującego wzoru:

M. B.	<i>Meksyk</i>	<i>Nepal</i>	<i>Budapeszt</i>
D.	<i>Meksyku</i>	<i>Nepalu</i>	<i>Budapesztu</i>
C.	<i>Meksykowi</i>	<i>Nepalowi</i>	<i>Budapesztowi</i>
N.	<i>Meksykiem</i>	<i>Nepalem</i>	<i>Budapesztem</i>
Msc. W.	<i>Meksyku</i>	<i>Nepalu</i>	<i>Budapeszcie</i>

W badanym materiale odnotowano 11 toponimów mających w dopełniaczu końcówkę *-a*, tj.: *Izraela, Luksemburga, Kijowa, Kiszyniowa, Berlina, Dublina, Tallinna, Mińska, Mauritusa, Paryża, Wiednia*. O występowaniu końcówki *-a* w wyodrębnionej grupie – podobnie jak w wypadku rzeczowników pospolitych – decydują czynniki morfologiczne, tj. sufiksy i sufiksoidy *-ów*, *-sk*, *-us*, *-lin*, człon *-burg* oraz kryterium fonetyczne, tj. miękki wygłos [por. WESTFAL 1956, STEFAŃCZYK 2007].

Nazwa *Izrael* – tak jak inne rzeczowniki odantroponimiczne – ma uwarunkowaną semantycznie końcówkę *-a*, por. np.: *forda, kolta, kałasznikowa*.

Toponim *Paryż* ma w dopełniaczu osobliwą końcówkę *-a*, inne egzonimy bowiem przybierają w genetywie na ogół zakończenie *-u*, np.: *Asyżu, Bukaresztu, Rzymu, Londynu*.

W analizowanym materiale odnotowano ponadto izolowany toponim *Zagrzeb*, mający uwarunkowany historycznie typ deklinacji miękkiej, tj. M.B. *Zagrzeb*, D. *Zagrzebja*, C. *Zagrzebiowi*, N. *Zagrzebiem*, Msc.W. *Zagrzebiu* (por. *Radom, Bytom, Oświęcim, Wrocław, Jarosław*).

W grupie rzeczowników rodzaju męskiego odnotowano także nieodmienny toponim *Ułan Bator* (por. też *Cambridge*). Wskazanie czynników wpływających na nieodmienność rzeczowników rodzaju męskiego wymagałoby dodatkowych badań uwzględniających pełny materiał onomastyczny.

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego odmieniają się bezwyjątkowo według poniższego wzoru:

M.	<i>Warszawa</i>	<i>Hiszpania</i>	<i>Podgorica</i>	<i>Korea</i>
D.	<i>Warszawy</i>	<i>Hiszpanii</i>	<i>Podgoricy</i>	<i>Korei</i>
C. Msc.	<i>Warszawie</i>	<i>Hiszpanii</i>	<i>Podgoricy</i>	<i>Korei</i>
B.	<i>Warszawę</i>	<i>Hiszpanię</i>	<i>Podgoricę</i>	<i>Koreę</i>
N.	<i>Warszawą</i>	<i>Hiszpanią</i>	<i>Podgoricą</i>	<i>Koreą</i>

Izolowany leksem *Białoruś* odmienia się jak rzeczowniki żeńskie spółgłoskowe, tj. M.B. *Białoruś*, D.C.Msc.W. *Białorusi*, N. *Białoruś*.

W grupie ponad 110 toponimów rodzaju nijakiego odnotowano jedynie osiem leksemów odmiennych, tj.: *Wybrzeże Kości Słoniowej*, *Naddniestrze*, *Kosowo*, *Kongo*, *Maroko*, *Sarajewo*, *Wilno*, *Berno*. Leksemy te odmieniają się według następującego wzoru:

M. B. W.	<i>Maroko</i>	<i>Wilno</i>
D.	<i>Maroka</i>	<i>Wilna</i>
C.	<i>Maroku</i>	<i>Wilnu</i>
N.	<i>Marokiem</i>	<i>Wilnem</i>
Msc.	<i>Maroku</i>	<i>Wilnie</i>

W badanym materiale odnotowano także toponim *Skopje*, który według ustaleń Komisji może się odmieniać. Praktyka językowa wskazuje jednak, że jest to najczęściej nazwa nieodmienna.

W języku potocznym, o czym świadczą teksty zamieszczone w internecie, całkowicie lub częściowo nieodmienne są też toponimy *Kongo* i *Maroko*.

Pozostałe leksemy rodzaju nijakiego, tj. ponad 90% ogółu neutrów, choć często spełniają wszelkie warunki fleksyjne, są nieodmienne. Powstaje więc pytanie, jakie czynniki wpływają na nieodmienność analizowanych leksemów? We wcześniejszych opracowaniach lingwistycznych zajmowano się związkiem nieodmienności rzeczowników z rodzajem nijakim, tzn. wskazywano, że nieodmienność niejako determinuje rodzaj nijaki. Z grupy tej wykluczono jedynie rzeczowniki osobowe, mające implikowany semantycznie rodzaj męski lub żeński [ORZECZOWSKA 1984]. Przeprowadzone badania dowodzą jednak, że na nieodmienność mają wpływ głównie czynniki fonetyczno-morfologiczne, tj. wygłos leksemu. Zanik fleksji – jak pokazuje analiza – obejmuje większość toponimów obcych rodzaju nijakiego oraz niewielką część rodzaju męskiego. Zagadnienie to wymaga dalszych badań i wprowadzenia większych uściśleń.

Rzeczowniki plurale tantum odmieniają się według przedstawionego niżej wzoru:

M. B. W.	<i>Komory</i>	<i>Filipiny</i>	<i>Indie</i>
D.	<i>Komorów</i>	<i>Filipin</i>	<i>Indii</i>
C.	<i>Komorom</i>	<i>Filipinom</i>	<i>Indiom</i>
N.	<i>Komorami</i>	<i>Filipinami</i>	<i>Indiami</i>
Msc.	<i>Komorach</i>	<i>Filipinach</i>	<i>Indiach</i>

W odmianie rzeczowników plurale tantum poza archaiczną postacią miejscownika toponimów *Węgry*, *Włochy*, *Niemcy*, tj. *Węgrzech*, *Włoszech*, *Niemczech*, problematyczny jest jedynie dopełniacz, gdzie mogą występować równoległe trzy końcówki: *-ów*, *-ø* oraz *-i(-y)*. Na podstawie badanego materiału dysponującego niewielką ilością tego typu leksemów trudno jest wskazać jednoznaczne reguły doboru końcówek. Wydaje się jednak, że zakończenie *-ów* otrzymują leksemy mające odniesienie do pojedynczego desygnatu, przy czym *ów*

desygnat ma postać rodzaju męskiego, np.: *Komorów, Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonych Emiratów Arabskich*. Podobnie końcówkę $-\emptyset$ przybierają rzeczowniki mające odpowiedniki żeńskie w liczbie pojedynczej, stąd formy *Grenadyn, Wysp Salomona, Wysp Marshalla*. Zakończenie to otrzymują także rzeczowniki twar-dotematowe, nie mające obecnie odniesienia do jakiegokolwiek pojedynczego desygnatu oraz zakończone na *-ki*, np.: *Helsinki, Aten, Chin*.

Końcówkę *-i* dostają rzeczowniki miękkotematowe, np.: *Indii, Seszeli*, natomiast zakończenie *-y* mają leksemy o tematach stwardniałych, np. *Karkonoszy*. Zagadnienie to wymaga jednak odrębnych badań i dogłębnej analizy lingwistycznej.

3. Zakończenie

Powyższa analiza prowadzi do następujących wniosków:

1. Zdecydowana większość nazw własnych ma postać liczby pojedynczej, np.: *Budapeszt, Ankara, Berno*, jedynie niewielka grupa toponimów ma uwarunkowaną semantycznie bądź historycznie formę liczby mnogiej, np.: *Komory, Stany Zjednoczone; Czechy, Węgry*;
2. Przynależności określonego toponimu do danej klasy rodzajowej decydują zasadniczo czynniki fonetyczno-morfologiczne;
 - a. rodzaj męski mają rzeczowniki zakończone na spółgłoskę, np.: *Benin, Waszyngton, Budapeszt*;
 - b. rodzaj żeński mają leksemy zakończone na *-a*, np.: *Polska, Armenia, Andora*;
 - c. rodzaj nijaki mają toponimy z wygłosowym *-e, -i(-y), -o* oraz *-u*, np.: *Chile, Haiti, Maroko, Baku*, a także nieliczna grupa endonimów o wygłosie spółgłoskowym typu *La Paz, Caracas, Buenos Aires*;
3. toponimy rodzaju męskiego poza izolowanymi indeklinabiliami typu Cambridge, Ułan Bator odmieniają się według wzorca deklinacji męskiej, przybierając w dopełniaczu liczby pojedynczej na ogół końcówkę *-u*;
4. toponimy rodzaju żeńskiego odmieniają się według wzorca deklinacji żeńskiej, natomiast toponimy rodzaju nijakiego są w zdecydowanej większości nieodmienne.

Literatura

- CIEŚLIKOWA 2000: Cieślikowa, A., Różnice między fleksją nazw własnych a pospolitych, w: *Prace Filologiczne*, t. XLV, Warszawa, s. 83–90.
- CIEŚLIKOWA 2002: Cieślikowa, A., (red.), *Mały słownik odmiany nazw własnych*, Kraków.
- CZOPEK-KOPCIUCH, BIJAK, CIEŚLIKOWA 2010: Czopek-Kopciuch B., Bijak, U., Cieślikowa, A., *Mały słownik polskich miast, państw Europy, ich stolic i mieszkańców*, Warszawa.
- KLEMENSIEWICZ 1984: Klemensiewicz, Z., *Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego*, Warszawa.

- Nazwy państw – Country Names, oprac. Zych Maciej, Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski przy Głównym Geodecie Kraju, Warszawa, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006.
- Nazwy państw świata, ich stolic i mieszkańców, oprac. Czerny Andrzej, Zych Maciej. Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski przy Głównym Geodecie Kraju, Warszawa, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2003.
- ORZECZOWSKA 1984: Orzechowska, A., *Rzeczownik. // Gramatyka współczesnego języka polskiego*, red. Renata Grzegorzczkova, Roman Laskowski, Henryk Wróbel, Warszawa.
- PRZYBYLSKA 2010: Przybylska R., Jakiego rodzaju gramatycznego jest zombie i CD? Jeszcze raz o rodzaju gramatycznym rzeczowników zapożyczonych z języka angielskiego, „*Język Polski*” XC, s. 246–255.
- RZETELSKA-FELESZKO 2005: Rzetelska-Feleszko, E., (red.), *Polskie nazwy własne: encyklopedia*, Kraków.
- STEFAŃCZYK 2007: Stefańczyk, W., *Kategoria rodzaju i przypadku polskiego rzeczownika. Próba synchronicznej analizy morfologicznej*, Kraków.
- WESTFAL 1956: Westfal, S., *A Study in Polish Morphology*, Glasgow.

Abstract

The Inflection of Proper Names – under the Name of Countries of the World and their Capitals

The paper focuses on a grammatical analysis of names of countries and their capital cities. The conducted research demonstrates that these names are principally in the singular number. Only infrequent lexemes appear exclusively in the plural, which is decided by both semantic and historical factors. The grammatical gender of the analysed names is determined by the word final sound. Lexemes which end in a consonant are as a rule masculine, lexemes which end in *-a* belong to the feminine gender, whereas lexemes with *-o*, *-e*, *-i*, *-y*, *-u* in the word final position are usually assigned to the neuter gender.

While lexemes in the masculine and feminine genders form regular declensional paradigms, neuter nouns are in a large majority indeclinable.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

**ЖІНОЧИЙ ІДЕАЛ НАРОДНОЇ КАЗКИ
(НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА УГОРСЬКОЇ УСНОЇ ПРОЗИ)**

ЛЕСЯ МУШКЕТИК

Епіцентрами народної казки як художнього твору виступають казкар (оповідач), персонажі та слухачі/читачі. Серед них персонаж посідає особливе місце, адже через характеристику персонажів, їх художні портрети автор прагне виразити ідею твору, яка, власне, й визначає образ. Саме тому персонажі казки чітко поділяються на позитивні та негативні й репрезентують розмаїті людські особистості, становлячи певну систему.

Казкові персонажі здавна цікавили як дослідників фольклору, так і багатьох митців, які вводили їх до своїх творів. Шерег фольклорних імен поряд з літературними увійшов у скарбницю культури народу, вони стали *називними*, до прикладу, це *Іван-царевич*, *Іван-дурник*, *Котигорошко*, *Єлена Прекрасна*, *Спляча Красуня* та ін. В угорців – *Лудаши Мати*, *Толді*, *Чарівно Прекрасна Лона* і т.д. Казкові персонажі є предметом розгляду всіх значних за обсягом монографій, присвячених казці, а також окремих досліджень [ПРОПП 1969; ВЕДЕРНИКОВА 1975; АНИКИН 1959; КЕРБЕЛИТЕ 2005, НОВИК 1975, ДУНАЄВСЬКА 1998; МУШКЕТИК 2010; ЗУЄВА 1978; HONTI 1945; BRAUN 1923; KOVÁCS 1979; VOIGT 2007–2009; BOLDIZSÁR 1997, 2004]. Образам російської народної чарівної казки присвятив свою монографію Микола НОВИКОВ [НОВИКОВ 1974], на три групи поділяє персонажів чарівної казки українська фольклористка Лідія ДУНАЄВСЬКА, це *злотворці*, *добротворці та знедолені* [ДУНАЄВСЬКА 1998]. Героїв чарівної казки – *молодшого брата*, *падчерку* та ін. описав у своїй книзі Єліазар МЕЛЕТІНСЬКИЙ [МЕЛЕТІНСЬКИЙ 1958], де він простежив походження, зокрема соціальне підґрунтя цих образів. Значне місце героям української соціально-побутової казки приділяє у своїй монографії Олесь БРІЦИНА [БРІЦИНА 1989], російської – Юрій ЮДІН [ЮДІН 2006]. Вони цікавлять також літературознавців, мовознавців, культурологів, психологів та ін. Так, казкові фольклорні імена вивчають в аспекті сучасної лінгвофольклористики та етнолінгвістики [РЕДЬКВА 2008; ПОРПУЛІТ 2000]. Угорські науковці на основі малярських казок склали тезаурус власних назв, більшу частину якого становлять назви персонажів [MAROSI 1981; BALÁZS 1983; BALÁZS–VÁRKONYI 1987; BALÁZS–BARATI–WOŁOSZ 1989].

Усіх казкових персонажів групує навколо себе основний персонаж чи герой/героїня, який значною мірою впливає на сюжет і композицію твору. Ге-

рой народної казки значно відрізняється від літературного персонажа, насамперед тим, що казкар через цей образ має донести до слухачів вироблені віками правила виживання в суспільстві, усталені моральні норми, яким треба слідувати. Адже казка є своєрідним ідейно-естетичним й етичним кодексом народу, у ній втілені моральні поняття та уявлення людини. Отже, основним є повчальне, дидактичне спрямування твору, що й визначає специфіку формування образів. У структурі морального ідеалу казки найзначнішим є «ідеологічний аспект», що обумовлює природу поведінкової нормативності. Позитивний герой виступає як соціально-ідеологічний канон, зразок для наслідування.

Саме тому головний персонаж стає втіленням кращих людських якостей, є прекрасним як зовнішньо, так і внутрішньо, тобто досконалим у всьому, його вчинки й дії є показовими, еталонними. Адже уявлення про кращі людські риси формувалися віками і вироблялися згідно з чітким поділом на негативне й позитивне у навколишньому світі й у самій людині. Нагромадження у свідомості й підсвідомості уявлень про добро і зло вже на найбільш ранніх стадіях формування людської психіки спричинювало утворення логічних інваріантів (за Юнгом – архетипів), які реалізувалися в діяльності міфологічних, а потім казкових героїв. Еволюція морально-психологічних якостей відображає еволюцію ціннісних орієнтирів усього соціуму.

Художній образ у зв'язку зі специфікою фольклорного узагальнення має риси «групової індивідуалізації», є типом. Він зберігає стійкі, характерні для нього ознаки, хоч під яким іменем він діяв у казці. Тим паче, що він існує в кількох вимірах: в окремому творі, у сумі його варіантів, у циклі творів про цей персонаж. Тому в загальному масиві казок виокремлюють так звані жіночі казки (цей поділ є доволі умовним), де в центрі уваги постає героїня народної казки, як втілення найкращих позитивних жіночих якостей, еталон жіночності. Слід зазначити, що загалом дівчина чи жінка займає менше місця у казковій оповіді, основним завданням якої є опис пригод героя. Водночас більшість колізій обертається навколо пошуків героєм дружини чи нареченої.

Образ героїні ми розглянули на матеріалі карпатоукраїнської та угорської народної прози України, зокрема чарівних та частково побутових казок.

Зазвичай головний персонаж казки не має імені, а діє тут як узагальнений тип, що має певний соціальний, віковий, статевий, етнічний статус. Найчастіше героїня згадується як *царівна*, *принцеса*, *королівна* чи просто *дівчина*, *жінка*, *дружина* тощо. Жіночі імена тут часто є звичайними, типовими, це *Галина*, *Марійка*, *Калинка*, *Юліанка* та ін. Саме ця звичайність і простота героїні дає можливість слухачеві ніби ставати на її місце, переживаючи разом з нею цікаві пригоди та події. Героїня може мати звичайне ім'я або ж прізвище, які служать засобом номінації та індивідуалізації персонажів за подібними особливостями – соціальними, психологічними, віковими, фізичними, функціональними.

Здатність давати імена виникла у людства давно у зв'язку з необхідністю орієнтації в суспільстві, виробленні певної поведінки, розмежування на дру-

зів та ворогів, й імена ці завжди щось означали. Імена вибиралися за часом чи періодом народження дитини, розташуванням зірок, обставинами народження, за бажанням надати певних якостей дитині тощо. Вважалося, що ім'я впливає на долю, характер, здібності, життєвий шлях. У казках відбилися й сільські звичаї, коли за якимись – здебільшого негативними – ознаками людині дається т. зв. прозивалка, яка може навечно закріпитися не лише за нею, а й переходити на інших членів сім'ї, навіть в інші покоління, тобто в розмовній мові вживатися замість прізвища. Таким чином, тут трапляються *значимі* імена, адже антропонімія казок є стилістично функціональною. Ім'я не лише виділяє персонаж, а й підкреслює його певні характерні ознаки, як образу. Антропоніми можуть містити також емоційно-експресивну характеристику дійової особи.

Казкові імена героїні чарівних казок дістають залежно від: а) обставин народження; б) особистісних якостей; в) суспільного становища, життєвих умов.

Дівчина насамперед славиться красою, це відбилося в її імені – *Настуня-красуня, Білосніжинка, Червона Квіточка*. В угорських казках зустрічається *Чіпкеружіка (Спляча Красуня), Тюндерсен Ілонка – Казково Красива Ілонка, Диво-Краса Ілонка, Вілагсен Ілонка – Красива на весь світ Ілонка* та ін. В українських казках Закарпаття це ім'я звучить як *Сейпентел Ілонка, Тіндер-Сейп-Ілонка* тощо.

Поряд із звичними українськими іменами в народній прозі регіону можуть траплятися менш поширені, запозичені від інших, сусідніх етнічних спільнот. До прикладу, з угорської мови прийшли антропоніми *Лайош, Маріка, Ілонка, Ружа* та ін., з молдавської – богатир *Іван Фат Фрумос*, з російської *Єруслан Лазаревич, Єлена Прекрасна*, з польської – *Ванда, Мундзьо, Адамик* та ін.

В європейському фольклорі відомими є імена красунь-сестер *Білосніжки* й *Червоної Квіточки*, врода яких побудована на контрасті природних кольорів, чорного, червоного й білого. *Білосніжинка* з гуцульської казки своєї вроді зобов'язана тому, що її мати в час вагітності спостерігала за білими пухкими сніжинками, що кружляли в повітрі, й задумала, щоб її дівчинка була біла як сніг: «Личко біле як сніг, щічки червоні, як та кров. А очі чорні» [Казки Гуцульщини 2003/1 : 302].

Дівчина може отримати ім'я й від інших природних явищ: «*Úgy élték ott, mint valami kiskirály. Mert a fiúk mindig csak vadásztak, a lányok meg csak a virágzó rétet meg az eget bámulta. Különösen hajnalkor vót nagy az öröme, mert akkor szebb vót az erdő, jószagú vót a virág, s a madarak olyan szépen énekeltek, hogy szinte sírt az örömtől a kislyány. Fel is kött minden hajnalba, és ment a napfelkeltét nézni, meg a madárdalt hallgatni. El is nevezték Hajnalkának*» [Felsőtiszai 1956: 158].¹

¹ Жили там, ніби якісь королевичі. Бо хлопці все полювали, а дівчина спостерігала за квітучим лугом і за небом. Особливо раділа на світанку, бо ліс тоді ставав кра-

На відміну від чоловічих імен, епітет «маленький» стосовно дівчини не викликає асоціацію зі слабкістю, а означає тендітність, ніжність, чарівність. *Крихітка* з однойменної угорської казки є не просто маленькою, а справді крихітною, тому мати спершу лякається, та згодом приймає дитину, як Господній дар. Та якщо Крихітка народжується маленькою, то *Безручка* стає такою в ході сюжету; за перенесені страждання і терплячість її руки згодом відростають.

Імена героїні отримують й за свої здібності. Героїня угорської казки *Селіке – Королівна Вітерець* вміла бігати швидко, як вітер. У *Ружатневетьо – Королівни, що Сміялася Трояндами*, справді під час сміху з рота сиплються троянди. Царівна *Загадкова* та *Анна Престоянна* вміють чаклувати.

Відповідними є й прізвиська прихованих героїнь – *Вошлівка, Попелюшка* (угор. *Гамупіньокьо, Гамупейкьо*), *Кормошка* (у сажі). Кормошка щодня чистила піч, сажа покривала її від голови до п'ят, тому її так і прозвали у палаці. І хоча вона була добросердою й умілою, та через вигляд усі уникали її. В однойменній угорській казці дівчина отримує ім'я *Волохата Кучка*, вона навмисне набирає непривабливого вигляду, аби вберегтися від інцестуальних посягань свого батька. Закохавшись у принца, вона знімає старий одяг і стає красунею. *Оксанку-нетіпаху* так прозвала зла мачуха, яка не любить і принижує її, хоча дівчина робляча і вродлива.

Зовнішність героїні, так само, як інших персонажів, у казках подається не деталізовано, а узагальнено, її врода, пишна і вражаюча, відіграє набагато більшу роль у сюжеті та казкових колізіях, ніж чоловіча, адже основне призначення жінки тут – любов і заміжжя, на що часто вказується в описі: «Був де не був цар, він мав таку *красну дівку, як ружа*. Дівчина підросла, настав час її віддавати. Отець робить великі гостини, з цілого світу принци, барони, графи» [Дідо-всевідо 1969: 177]; «Жив за високими горами, за темними лісами, за широкими морями один славний чоловік, котрий мав три доньки. *Дівки прекрасні, на видання гожі*. Сватачі приходили із усіх кінців, що й двері на хижі не запиралися» [Там само: 70]. В угорській казці «Золота качка» першим бажанням дівчини є стати красивою, другим – отримати звістку про зниклого брата, третім – щасливо вийти заміж, мати хорошого і вірного чоловіка.

В описі найчастіше вживається узагальнюючий епітет *красний*, що має високу позитивну оцінку, та його синоніми. Оскільки все в героєні є гарним – і зовнішність, і якості, і вчинки, то епітет *красний* містить всі ці характеристики. Він належить до загально оцінних епітетів на відміну від частково оцінних, і включає сукупність ознак. Тобто красна дівчина – це красива, добра, хороша, працьовита тощо. Тут добро і краса постають в органічній єдності (категорія *калокагативного* – добропрекрасного). Ці поняття у казці

сивішим, пахли квіти, птахи співали так прекрасно, що дівчина майже плакала від радості. Вставала щодня на зорі, й ішла дивитися на схід сонця й слухати птахів. Їй назвали її Гайналкою (Світанкою). Під час весілля вона з Гайналки перетворюється на Королеву Сонця.

даються в предметно-образній формі, про них можна судити і на основі поведінки персонажів, змісту ситуацій і вчинків, рис характеру дійових осіб. Саме цей метод вираження чи «опредмечування моралі» й естетики сприяє їх найбільшій наочності, доступності безпосередньому спогляданню.

Означення «красний» використовується в казках Українських Карпат не лише для характеристики людей. Це може бути також *красний кінь, красна кішка, красна свадібка, красна хата* тощо. Словосполучення може набувати різноманітних відтінків значення: *красно* (обережно) *лити, красно* (акуратно) *склала, красно дякую тощо*. В угорських казках це аналогічне до слова *sep* (*szép*) – *красивий: красива струнка донька, красива королівна* тощо. Означення є дуже популярним і часто також вживається в інших усталених виразах: *красивий світ, красиве слово, красиві пісні, чудове красиве поле, красиве маленьке село* та ін.

Дівчина часто порівнюється з *квіткою, сонцем, зіркою, царівною* тощо, що загалом є характерним для українського фольклору: «Привів у хату молодду – *файну, як та квітка, і роботяцу, як та бджілка*» [Чарівне горнятко 1971: 37]; «Був собі цар. Мав дуже вродливу дочку *Лілею*... Король хоч був старий, та вродливий. А вона вже *така вродлива, що вродлива. Така файна, що файна*» [Золота вежа 1983: 273].

Подібні порівняння є і в угорських казках, так, королівна є подібною до квітки майорану. Королевич закохується в неї, заледве побачивши, й одразу вирішує – або дівчина буде його дружиною, або йому й жити не варто. Описи загалом і вроди зокрема в угорців подаються детальніше, різноманітніше, очевидно, це пов'язане із значним впливом літературної традиції: «*Arca fehér, akár a liliom. Hosszú aranyhaja a földet sepri, csillagszeme a napnál is fényesebben tündököl, termete sudár, dereka karcsú, akár a nád, járása ringó, keze-lába apró és finom, akár a virágszirom. Bizony Zabszem Jankó a füle hegyéig elpirult örömben. Igaz, ami igaz, gyönyörű volt a veres király lánya, hozzá fogható tán hét országban nem akadt, de a kígyókirály kisasszony mégis százszor szebb volt nála!*» [Három arany 1973: 18].²

Порівняння молодих людей з квітами є досить поширеним у фольклорі, зокрема в любовних та інших піснях. Квітки є символом кохання, краси, розквіту природи й людських почуттів. В угорців існує цілий пласт любовних пісень, які називаються квітковими і походять із середньовіччя, в них коханий чи кохана оспівується під назвою якоїсь квітки. Церква в той період забороняла любовні пісні, й тому в них замість людей почали вживатися назви квіток. Так, дівчина – це *левкой, майоран, фіалка, троянда* тощо.

² Лице біле, як лілія. Довге золоте волосся стелеться по землі, очі-зірки сяють яскравіше від сонця, сама висока, талія тонка, як очерет, хода плавна, ноги й руки дрібні й ніжні, як пелюстки. Певна річ, що Янко – Овсяна Зернина, по самі вуха почервонів від радості. Що правда, то правда, чудовою була дочка червоного короля, подібною не було на сім країн, та дочка короля-змія ще красивіша від неї!

В описах зовнішності героїні використовуються постійні художні засоби, що відображають естетичні погляди певного народу на жіночу вроду. Усталеною угорською формулою є порівняння з сонцем – «вона була такою надзвичайно (сліпуче) красивою, що на сонце можна було дивитися, а на неї ні»; «така красива, що навіть сонце зупинялося, побачивши її». Волосся в дівчини може бути «таким блискучо білим, як розтоплене золото, так воно сяє в сонячних променях». Округле личко червоне, як троянда, очі сині, як незабудки чи фіалки, і вуста такі ніжні, як в ангела. Її хода, як музика, сміх, як пісня. Для східнослов'янської традиції усталеною формулою є «ні в казці сказати, ні пером описати». Ці традиції поєднуються в казках регіону: «На березі з'явилася така файна дівчина, якій пари не було у світі. На сонце – і те можна було дивитися, а на неї ні ... із моря вийшла дівчина, і така-така файна, що ні пером її не опишеш, ні пензлем не намалюєш» [Казки Буковини 1973: 130]; «А під дубом стоїть дівчина така, як сонечко, красна. Він аж вигукнув: – Ох, і не покупила тобі мати краси!... Старий каже: Боже, це краса звідки така?! Я вже старий, багато літ прожив, багато світа проїхав, у багатьох краях бував, а такої краси ще не бачив. Що ви, діти, від мене хочете?» [Срібні воли 1995: 305]. Дещо пізнішого походження є порівняння краси дівчини з лялькою, яке трапляється у галицьких казках.

На контрасті до героїні негативні жіночі персонажі згадуються як потворні («потворна була, як чорт»), паскудні, негарні. В угорських казках такі дівчата нечесані, шепеляві, носаті, худі, як держак мітли. В селі про них говорять, що, мовляв, назавжди залишаться старими дівками.

За героїню можуть змагатися між собою царі й королі, бідні парубки чи навіть надприродні істоти. Її може викрасти Змій чи Кошій і занести кудись далеко, або ж злий цар, який може ув'язнити її у вежу чи тримати в замкнених покоях. Така дівчина нагадує героєві *пташку*, яку посадили до золотої клітки: «А царевич побачив її у вікні таку *файну, що файну*. Подумав: „Як сказати їй, що полюбив“, і поцілував два пальці. Вона зробила те саме. Царевич подумав: „Ой *пташко, пташко!* Що з того, що вежа твоя золотом облита, коли *ти в клітці сидиш*. Вирву я тебе на волю й будеш моя”» [Золота вежа 1983: 66]. В угорських казках дівчина може бути красивою як *золота голубка*.

В українських (та інших слов'янських) родинно-побутових піснях така силувано видана заміж дівчина теж асоціюється з пташкою – зозулею тощо, яка перетворюється у пташку (мотив метаморфози) і прилітає до рідної домівки, аби розповісти про своє тяжке життя рідним. Дівчина в казці часто може перетворюватися у пташку – зозулю, лебедя: «Раптом у повітрі *почувся шум крил – фох-фох!*.. На березі сіла одна дівчина, але *така красна, що очі сліпнули від неї*» [Казки Буковини 1973: 181].

Отже, порівняння як художній засіб широко вживається в казках і має певну національно-культурну специфіку. Найбільш розповсюдженим у мові казок є тип порівняння, в основі якого лежить зіставлення з тваринами чи рослинами. Далі йдуть порівняння з предметами і речами об'єктивної дій-

ності – *став блідий, як стіна* тощо. Інший тип порівнянь – це порівняння з явищами природи – *сумний, як тритижнева сльота, як триденна дощова погода* (угор.), *очі як зірки, дівчина як сонце* та ін.

Описи дівчини бувають дуже емоційними й передаються через сприймання героя, її врода збурює всі його почуття, та основне враження передається через погляд: «На березі сіла дівчина, але *така красива, що очі сліпнули від неї*» [Казкар 1995: 97]; «Злізла дівчина з бука. Дивиться царевич *ого-го! Він ще таку файну не бачив*» [Зачаровані казкою 1984: 209]. Зображення краси за враженням, яке вона справляє на інших людей, є поширеним у міфологічних та інших епічних творах. Ця фатальність жіночої краси, її вплив на чоловіків знайшла широке відображення і в художніх творах, та у міфології яскравим прикладом цього є образ античної прекрасної Єлени, через яку почалися довготривалі війни.

А що «чоловіки люблять очима» то герой одразу ж закохується в дівчину: «Як побачив Іван Іванович, яка гарна царівна, зразу ж *загорівся коханням до неї*» [Чарівна квітка 1986: 187]; «Eccer csak szépen nyílik az almárium ajtaja, és kiszáll belőle egy *gyönyörűséges szép, aranyhajú lány*. Megtetszett a királyfi-nak. Rögtön megtetszett, nagyon megtetszett. Megkapta, megölelte, és akkor azt mondta, hogy: – Itt maradsz, enyém vagy!» [Úngi népmesék 1989: 333]³. Красі героїні хлопці дивуються, німіють від неї, втрачають мову, а жінки заздять: «У того царя була лише єдина донька, дуже красна. Де появиться, *хлопці лише роти пороззявляють – так дивляться на неї*» [Три слова 1968: 185]; «Мали вони дівчину Марійку й дуже на неї радувалися, бо вона була *така розкішна, така вродлива, що кожний заздрив їй на вроду*» [Казкар 1995: 169]; «Відкрив двері і як увидів дівчину, *нараз осліп, занімів і оглух. Не може слова проговорити*» [Зачаровані казкою 1984: 471]. В одній угорській казці королевиці, побачивши дівчину, навіть «впісався в штани», такою красивою була Диво-Краса Ілона.

У багатьох описах, як ми пересвідчилися, наголошується на унікальності героїні – *такої красивої немає на всьому цілому світі, такої як вона ніхто ніколи не бачив, на неї приїжджають дивитися з далеких земель, слава про її красу йде по всьому білому* (в угорських казках – *круглому світі, по семи державах, семи порожніх селах*), її краса неповторна й дивовижна. В угорців є визначення *смертельно красива, смертельно закохатися, пари їй немає на всьому світі, немає гарнішої в ста країнах*, що є свідченням величезної сили краси, адже за героїню змагаються витязі й надприродні істоти, вони проходять тяжкі випробування, ризикують життям, навіть гинуть, відмовляються від усього, аби лише здобути кохання дівчини.

Навіть сама чутка про дівчину вже може заінтригувати молодого королевиці й спонукати його шукати з нею зустрічі. Так, про *Вілагсен* – Красиву

³ Раз потихеньку відкрилися дверцята шафи й вийшла з неї *невимовно красива, золотоволоса дівчина*. Сподобалася королю. Одразу сподобалася, дуже сподобалася. Він схопив, обняв її і тоді мовив: – Ти залишишся тут, будеш моєю!

на Весь Світ – *Лонку* скрізь говорять люди, про неї почув молодий королевич і вже не міг заспокоїтися ні вдень, ні вночі. Він викликав художника, той поїхав до Лонки й намалював з неї картину. Королевич отримує картину, побачив і зацікавився від величезного подиву – СУС 516 (*Вірний слуга*).

В іншій угорській казці королевич присягається не одружуватися, поки не знайде найкрасивішу на світі дівчину, якою виявляється *Красива На Весь Світ Панночка Очеретинка*, яка ховається в очеретині. Біля неї ростуть ще дві очеретини, там живуть її служниці, й усі вони перебувають на 77-му острові Чорного моря. А оберігають їх як світ очей три старі відьми, бо «свічка їх життя горить доти, поки не зріжуть очеретину».

Відповідно й одяг дівчини є незвичайний, він золотий, срібний чи діамантовий, зітканий з зірок тощо, все це сяє, міниться, блищить на сонці: «A menyasszony olyan szép vót, hogy megállt a nap is nézni, de vót is mit, mert a hájába vót egy *kis aranykorona, ami csak úgy szikrázott a sok drágakőtől*» [Felsőtiszai 1956: 164].⁴

У казках принцеса може мати золоте волосся та незвичайну зовнішність – у неї під правою рукою *сонце*, під лівою – *зоря*, під коліном – *місяць*. Ці знаки на тілі часто зустрічаються в мотиві, коли цікава принцеса за якийсь незвичайний подарунок показує їх героєві – простому хлопцеві, служці, свинопасу, що з часом допомагає йому одружитися з нею – СУС 850 (*Прикмети царівни*). Поетичний образ прекрасної королівни пропонує угорська казка: коли та сміється, то в неї з вуст падають троянди, коли плаче – з очей котяться дорогі перли, а коли знімає черевики і босоніж іде дорогою, то за кожним її кроком дзвенить золото.

Як звичайна жінка, вона полюбляє гарний одяг та прикраси. Так, Анна Престоянна з однойменної казки живе у Вогняному морі й виходить оголеною на сушу грітися, співає «прекрасних пісень, пісень народних». Хлопець, який хоче піймати дівчину, залишає для неї на столі прекрасний одяг, черевики та дзеркало, Анна починає приміряти речі й забуває про обережність. В іншій казці атрибутами героїні є одяг заможної селянки: «Повитягала з вуха: спідниці, кожухи, спенцери, пасованьцьї, коральї, дукачі, хустки і на востатку бричка й коньї – вона і те витягнула» [РОЗДОЛЬСЬКИЙ 1895: 52].

Отже, описи зовнішності героїні служать підкресленню привабливості жіночого начала, поетизації жіночності, передачі крайнього ступеня емоційного впливу.

Та «з краси води не пити» як каже народна мудрість, тож дівчина може бути «*файна, але бідна*»; «*така файна, як перша квітка навесні, але дуже сумна*». Часто краса не приносить їй щастя, її викрадають надприродні істоти, за неї змагаються лицарі, відбуваються війни. Дівчина часто стає жертвою обставин.

⁴ (Наречена була такою вродливою, що сонце спинялося поглянути на неї, та й було на що, волосся дівчини прикрашала невелика золота корона, яка сяяла від великої кількості дорогоцінного каміння).

Героїні значною мірою притаманні ті самі якості, що й герою, адже вони уособлюють загальнолюдські ідеали, однак їх прояви є дещо іншими, вони розкриваються в інших сюжетах, мотивах і ситуаціях: «Казка відтінює у жінках такі достоїнства, як фізична і моральна краса, вірність обов'язку, цілісність, рішучість, самовіддача. Це – роботящі, енергійні, сильні життєдіяльні натури, що можуть постояти за себе, перебороти будь-які перепони на шляху до особистого щастя» [НОВИКОВ 1974: 132].

Досить рідко в казках Українських Карпат трапляються жінки-богатырки. Така жінка має мати і відповідного чоловіка: «А цар-батько й говорить: – У мене дочка – *богатырка*. Вона так стріляє з лука, що за двадцять кілометрів може вцілити стрілою. Як зможеш стріляти з того лука, то візьмеш мою дочку. І є в мене меч. Моя дочка рубає мечем найгрубшого дуба з першого маху. Мусиш і ти спробувати. Третє – є в мене кінь. Дочка їздить на ньому. Ти маєш проїхати тим конем. Зробиш це все, значить, зіграємо весілля, а не зробиш – виходжу проти тебе війною» [Чарівна квітка 1986: 22]. В угорських казках, де войовничих дівчат більше, дівчина, як і її брат, може ставати витязем і блукати світом у пошуках пригод.

Мужність, сміливість звичайної дівчини виявляються в екстремальних ситуаціях. Так, у казці «Дівчина між сиротами» на сюжет Івасика-Телесика [АТУ 327 С, F] Маруську крадуть цигани, й стара циганка хоче її спекти на вечерю. Маруська не розгубилася, а саджає стару в піч. Далі вилазить на дуба і просить гусей забрати її. Хоробрість та винахідливість дівчини виявляється і в казках про розбійників, коли ті забирають її до себе і хочуть вбити тощо. Дівчина ховається й по черзі рубає всім їм голови.

Однак здебільшого жінку у казках цінують за доброту, ніжність, лагідність, слухняність. Ці якості найяскравіше виявляються в поширених у регіоні сюжетах про дідову й бабину доньку [АТУ 480 (*Добра і зла дівчина*)], службу героїні в баби-відьми, в кобилячої голови, ведмедя тощо, де її позитивні якості протиставляються лінощам, грубощам, агресивності сестри по батьку. Так, у «Казці про дідову й бабину доньку» дідова донька «все пряла, а бабина парадилась». Дівчина, яку проганяють з дому, в дорозі зустрічає яблуньку й допомагає їй, зриваючи яблука, те саме робить з дичкою, далі чистить пічку. Потому вона стає на службу до ведмедя й старанно працює в нього. За це той дарує їй золоті сукні. Згодом дівчина тікає від ведмедя, той женеться за нею. Їй допомагають сховатися дерева й пічка. На контрасті поводить ся бабина дочка, яка грубо звертається до чарівних предметів, погано служить ведмедю й той її роздирає.

Доброта в казці тісно пов'язана з іншими позитивними якостями: «Hát igaz, hogy bátor vót, de azért vót bátor is, mert jó szíve vót. *Akinek jó szíve van és másokon segíteni akar, azt az Isten megőrzi, osztán meg is van a munkájának*

a jutalma. Így járt a mónárlyány is» [Felsőtiszai 1956: 116].⁵ За добросердність і терплячість, гарні вчинки дівчина винагороджується, її бажання сповнюються. Отже, у казці проводиться думка, що, по-перше, щасливу долю треба заслужити, по-друге, її достойна лише людина з позитивними якостями, яка є доброзичливою до всього навколишнього світу. Тобто казка яскраво демонструє мериторизм – принцип відплати за чесноти.

Працьовитість цінувалася в селянських родинах, де завжди потрібні були руки для виконання фізичних робіт: «Тоді був на світі бідний чоловік, що мав три доньки – Марійку, Ганнусю і Василюнку. Доки доньки були малі, чоловік дуже бідував, а як вони підросли, то стало трохи легше, бо вже *було кому обід зварити, шмаття випрати і в поле піти*. Дівчата вдалися дуже вродливі – як три корчички квітучої калини» [Чарівне горнятко 1971: 64]; «*Árva Máriskának pedig látástól vakulásig dolgoznia kellett. Főzött, mosott, takarított, kapált, gyomlált, vizet húzott, fát aprított, tehenet fejt, vaját köpült; piacra vitte a tojást, tejfelt, túrórt, vaját, cipelte a nehéz kosarakot, sirált, súrolt, tüzet rakott, kenyeret sütött, baromfi nevelt, barmot gondozott, egyszóval minden munkát maga végzett»* [Három arany 1973: 57].⁶ Жінка має бути гарною, вмілою господинею, тримати дітей і хату в чистоті. В угорській казці «Марі, Шарі, Юлішка» розповідається про красивого і кмітливого хлопця, який подобався багатьом дівчатам. Через якийсь час його забрали в солдати, а на прощання він сказав, що одружиться з дівчиною, яка виконає його бажання. Марі він просив не митися й не причісуватися, Шарі не прибирати, Юлішку – не торкатися віника. Через три роки повернувся і застав двох дівчат у жахливому бруді, а третю, Юлішку – в чистоті. Випробувавши таким чином дівчат, він одружився з Юлішкою. Подібною є угорська казка «Хазяйновита дівчина», хлопець, навчений батьком, їде продавати яблука в обмін на сміття й вибирає дівчину, яка на збирує найменше сміття.

Дівчина в казках описується з ніжністю, часто вживаються пестливі та зменшувальні слова. Її звати Зіронька, вона файна як лялька, мила та пишна, хоча бідна, та красива: «Повів її *дідок* до своєї *хатинки маленької-маленької*, одне лиш *віконечко* в ній було. Погодував дівчинку дідо, постелив їй на лаві і сказав: – Відпочивай, дівчино, а рано підеш з *кізонькою* додому» [Казки Гуцульщини 2003/1: 163].

Героїня виявляє надзвичайну вірність у коханні. Досить популярним у казках є мотив заміжжя з твариною, птахом чи іншою істотою, що раніше була

⁵ Тож правда, що була сміливою, та була хороброю й тому, що мала добре серце. Хто має добре серце і хоче допомагати іншим, того Бог береже, він має винагороду за свій труд.

⁶ А сирота Марішка з рання до темряви мала працювати. Варила, мила, прибирала, копала, полола, носила воду, колола дрова, доїла корову, збивала масло, на базар носила яйця, сметану, білий сир, масло, носила важку корзину, терла, чистила, розкладала вогонь, пекла хліб, доглядала за птицею, словом, виконувала сама всю роботу.

людиною – АТУ (400–459). Так, перетворений у жабу королевич Герумія з казки «Царівна-жаба» одружується з дівчиною, яка після весілля спалює його шкіру. Він покидає її й закликає, мовляв, вона лише тоді зможе народити дитину, як він накладе на неї свої пальці. Дівчина йде на пошуки чоловіка, переживає багато пригод і випробувань. Хитрощами вона добувається до нього в опочивальню і народжує дитину.

В інших варіантах казки («Заклятий легінь») згадуються вражаючі подробиці довготривалих блукань жінки, вона «тросе залізних бочкорів стоптала, залізну палицю зчухрала», поки не знайшла хлопця. Навколо тіла дівчина може мати залізний обруч. В угорських казках королівні роблять пару залізних черевиків, три залізні палиці, вона блукає «зимою-літом, у воді і пилюці», та каже, що не заспокоїться, поки не знайде коханого. Ці та інші подробиці характеризують героїню як дуже терплячу, зазвичай ця риса більш притаманна жінкам. Вона роками чекає на свого коханого, терпить холод, не показуючи цього, покійно зносить усі випробування, знуцання злої мачухи. Аби зняти закляття відьми, тривалий час мовчить, хоча й зазнає страждань (АТУ 710). За свою стійкість вона винагороджується.

Розум та мудрість героїні виявляється переважно в сюжетах, пов'язаних з мудрими загадками – АТУ 875 (*Розумна селянська дівчина*). Про це згадується на початку казки в загальній характеристиці дівчини. Причому розум, як і краса, у неї надзвичайні, ніхто з нею не може зрівнятися: «Цар був дуже багатий і мав красну доньку. Вона була така мудра, що судді й міністри все радилися з нею. Що вона сказала, то було святе. Сам цар слухався її» [Казки села 1979: 139]; «В одного царя в одному царстві-державі була незвичайної краси і незвичайного розуму дочка. Багато женихів приходило просити руку царівни, та жоден з них не міг зрівнятися з царівною розумом. Тоді цар проголосив по всіх землях, що свою дочку видасть за того, хто загадає їй три загадки, котрі вона не зможе відгадати» [Правда і кривда 1982: 117]; «De nemcsak okos volt, hanem szemrevaló is, így okosságával együtt szépségének is szájról szájra szállt a híre. Széltében-hosszában dicsérgették mindenféle» [Három arany 1973: 68].⁷ Випробування розуму у казках дорівнює випробуванню фізичної сили; духовна перемога має ту саму цінність, що й перемога у бою.

Мудра дівчина з однойменної казки завдяки гострому розуму рятує свого батька від змія, який обвився у нього навколо шиї. Вона обдурює змія, каже, що його чекає суд і він має стояти – той слухняно злізає на землю.

Дівчина відгадує три загадки судді. На перше запитання «Що на світі найтучніше?» вона відповідає, що це «Земля, бо вона всіх годує й одягає». На друге «Що найрідше на землі?» – «Вітер, бо він хоч куди пройде, за ним сліду не є». На третє «Що найсолодше на світі?» – «Сон». Тоді суддя загадує

⁷ Та була не лише розумна, а й гарна, тож про її красу й розум передавалася звістка з вуст до вуст. Скрізь і всюди славили її.

дівчині завдання, яке годі виконати – дає три стебла коноплі, які вона має вимочити, витерти, спрясти, виткати й зшити сорочку. Та дівчина й тут знаходить вихід. На це вона передає для судді три вербові прутики, аби той зробив із них терлицю, мотовило, кужіль, веретено, сновальню й кросна. Тоді вона, мовляв, зробить сорочку із замочених конопель.

Суддя, що одружився з дівчиною, забороняє їй втручатися у його справи – адже це не жіноче діло. Та дівчина не слухає його й мудро вирішує справу про теля й корів (з притч про Соломона). Суддя, повернувшись додому, дуже гнівається й виганяє дівчину, наказавши забрати лише наймиліше. Та забирає з собою сплячого чоловіка. Той прокидається в домі батька дружини і вислуховує дотепне пояснення жінки. Вони миряться. Багато подібних казок побутує і в угорців. Часто чоловіком дівчини стає король («Дочка пастуха» та ін.), з цим сюжетом в угорців пов'язане ім'я легендарного короля Матяша.

Подібних ситуацій у казках багато. І якщо чоловікам часто допомагають, то жінка виходить із скрути завдяки своїм більш гнучкому розуму, нестандартному мисленню, хитрощам, а то й лестошам. У суспільстві, де влада належала чоловікам, жінка, аби досягти успіху, мала пристосовуватися, діяти не прямо, а потайки, хитрощами. Хитрість жінка виявляє і в сюжеті, коли її викрадає чарівний супротивник героя, і вона за допомогою жіночих чарів та лестошів довідується, де знаходиться його смерть, про що й розповідає коханому – СУС 3021 (*Смерть Кошця в яйці*).

Складні життєві проблеми жінка часто успішніше вирішує й завдяки своїй інтуїції, яка в неї є набагато кращою, ніж у чоловіка, адже в жінок краще розвинута ліва півкуля мозку, яка відповідає за почуттєве сприймання, тоді як права – відповідає за логічне мислення. Тобто в багатьох випадках жінка просто знає як краще діяти, приходиться до вірного рішення не обхідним шляхом довгих роздумів, а прямим, так би мовити, завдяки інтуїтивному осяянню, безпосередньому відчуттю. Тому в казках вона часто виступає як помічниця героя, дає йому цінні поради, підказує що робити тощо. Жінка буває чарівницею, дочкою чарівника чи відьми й володіє надприродними здібностями («чортиця мудра, та вона ще мудріша»). Вона може обертатися в тварин, птахів, рослини, різні предмети, або ж обертати на них інших, у тому числі свого нареченого, що часто трапляється в сюжеті, коли закохані тікають від ворогів – АТУ 313 А, В, С (*Чудесна втеча*). Свою наречену герой може спіймати у вигляді пташки, жаби, кобили тощо, тому вона знімає шкіру і стає людиною, що є відгуком давнього тотемізму. Так, в угорській казці «Панночка з очеретини» (МНК 408 *Три панночки-очеретинки*) королевич знаходить на озері три очеретини. Він розрубє першу, бачить там дівчину, яка просить води і гине від спраги. Те саме трапляється з другою, а третій він дає води й дівчина не вмирає. Та згодом зла відьма перетворює її в золоту качку, відьма ловить качку, перерізає їй шию, тече кров і з неї виростає шовковиця. Відьма рубає дерево, лишається стружка. З неї знову постає дівчина, яку від злої відьми рятує королевич.

У цих сюжетах позначилися давні уявлення про богиню-праматір, жіночі божества періоду матріархату.

Отже, героїня в народній казці є втіленням кращих людських чеснот, прекрасною як зовнішньо, так і внутрішньо, ідеалом людини, наближеним до ідеалу всього людства згідно з чітким поділом на негативне й позитивне. Їй властива жіноча привабливість та високі душевні якості, за які вона в казці винагороджується (мериторизм). Погляди на героїню в казках обох спільнот загалом збігаються, й відрізняються лише вербалізацією, мовним оформленням.

Джерела

- Дідо-всевідо 1969: Дідо-всевідо: Закарпатські народні казки / запис, упоряд., підг. текстів та прим. П. В. Лінтура. Ужгород: Карпати.
- Зачаровані казкою 1984: Зачаровані казкою / українські народні казки в записах П. В. Лінтура ; упоряд. І. М. Сенька, В. В. Лінтура. Ужгород: Карпати.
- Золота вежа 1983: Золота вежа : українські народні казки, легенди, притчі, перекази, загадки та приповідки / передм., упоряд., запис та підг. текстів С. Г. Пушика. Ужгород: Карпати.
- Казки Гуцульщини 2003: Казки Гуцульщини / запис, упоряд. і літ. опрац. М. Зінчука. – Львів.: Світ, Кн. 1. (Українські народні казки).
- Казки одного села 1979: Казки одного села / запис текстів, післям. та прим. П. В. Лінтура ; упоряд. Ю. Д. Туряниця. Ужгород: Карпати.
- Казки Буковини 1968: Казки Буковини. Казки Верховини. Ужгород: Карпати.
- Казки Закарпаття 2007: Казки Закарпаття / запис, упоряд. і літ. опрац. М. Зінчука. Чернівці: Прут, Кн. 20.; (Українські народні казки).
- Казки Закарпаття 2008: Казки Закарпаття / запис, упоряд. і літ. опрац. М. Зінчука. Чернівці: Прут, Кн. 22. (Українські народні казки).
- Казки Покуття 2001: Казки Покуття / зібрав О. Кольберг ; упоряд., підг. текстів, вст. ст., прим. та словн. І. В. Хланти. Ужгород: Карпати.
- Казкар 1995: Казкар. Народні казки Українських Карпат / упоряд., підг. текстів, прим. та словн. І. В. Хланти ; вст. ст. І. В. Хланти, Р. А. Офіцинського. Ужгород: Карпати.
- Правда і кривда 1982: Правда і кривда : Казки / передм., упоряд. і прим. І. В. Хланти. – Ужгород: Карпати.
- Роздольський 1895: Роздольський О. Галицькі народні казки: В Берліні пов. Бродського із уст народу списав О. Роздольський / упоряд. і порівняння додав І. Франко. В кн. : Етнографічний збірник. Львів, 1895/ 1.
- Срібні воли 1995: Срібні воли: Казки гір і Підгір'я в записах Степана Пушика. Київ: Веселка.
- Три золоті слова 1968: Три золоті слова : Закарпатські казки Василя Короловича / запис текстів та впоряд. П. В. Лінтура. Ужгород: Карпати.
- Чарівна квітка 1986: Чарівна квітка : українські народні казки з-над Дністра / запис, упоряд., прим. та словн. М. А. Зінчука. Ужгород: Карпати.
- Чарівна торба 1988: Чарівна торба : українські народні казки, притчі, легенди, перекази, пісні та прислів'я, записані від М. Шопляка-Козака / упоряд., передм., прим. та словн. І. М. Сенька ; запис текстів І. М. Сенька, В. М. Сенька. Ужгород: Карпати.

- Чарівне горнятко 1971: Чарівне горнятко : казки / запис текстів С. Далавурака, М. Івасюка, В. Бандурака та С. Пушика ; упоряд. С. Далавурак та М. Івасюк. Ужгород : Карпати.
- Felsőtiszaei népmesék 1956: Felsőtiszaei népmesék / feljegyezte Kocsisné Szirmai Főris Mária. Debrecen: Debr. Alföldi Magvető.
- Pallag Rózsa 1988: Pallag Rózsa: Kárpát-ukrajnai magyar népmesék / össz. Sándor L. Budapest : Akadémiai K.
- Tűzoltó nagymadár 1993: Tűzoltó nagymadár : Beregújfalusi népmesék és mondák / Penckőferné Punyó M. gyűjtése. Budapest; Ungvár: Hatodok Síp.
- Ungi népmesék és mondák 1989: Ungi népmesék és mondák / gyűjt. és bev. részt írta Géczy J. Budapest : Akadémiai K. – Madách K.

Література

- АНИКИН 1959: Аникин, В. П. Русская народная сказка. Москва : Учпедгиз.
- БРИЦИНА 1989: Брицина, О. Ю. Українська народна соціально-побутова казка. Київ: Наукова думка.
- ВЕДЕРНИКОВА 1975: Ведерникова, Н. М. Русская народная сказка. Москва: Наука.
- ДУНАЄВСЬКА 1997: Дунаєвська, Л. Ф. Українська народна проза (легенда, казка) : еволюція епічних традицій. Київ: КНУ.
- ЗУЕВА 1978: Зуева, Т. В. Сказка «чудесные дети» в фольклоре восточных славян: (происхождение и историческое развитие) : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. филол. наук. Москва.
- КЕРБЕЛИТЕ 2005: Кербелите, Б. Типы народных сказок : структурно-семантическая классификация литовских народных сказок : в 2 кн. Москва: Изд-во РГГУ.
- МЕЛЕТинский 1958: Мелетинский, Е. М. Герой волшебной сказки: происхождение образа. Москва: Изд. Вост. л-ры.
- МУШКЕТИК 2010: Мушкетик, Л. Г. Людина в народній казці Українських Карпат: на матеріалі української та угорської оповідальної традиції. Київ: ДСГ.
- НОВИК 1975: Новик, Е. С. Система персонажей русской волшебной сказки. В кн.: Типологические исследования по фольклору: сборник статей памяти В. Я. Проппа (1895–1970). Москва, 214–246.
- НОВИКОВ 1974: Новиков, Н. В. Образы восточнославянской народной сказки. Ленинград: Наука.
- ПОРПУЛИТ 1969: Порпулит, О. О. Ономастичний простір українських народних казок: (у зіставленні з російськими казками) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. Одеса.
- ПРОПП 1969: Пропп, В. Я. Морфология сказки. Москва: Наука.
- РЕДЬКВА 2008: Редьква, М. І. Семантико-функціональна система особових найменувань в українських народних чарівних казках : (у записах ХІХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. Івано-Франківськ.
- СУС 1979: Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка/ сост. Л. Г. Бараг, И. П. Березовский, К. П. Кабашников, Н. В. Новиков. Ленинград: Наука.
- ЮДИН 2006: Юдин, Ю. И. Дурак, шут, вор и черт. Москва: Лабиринт.
- ATU 2004: The Types of International Folktales: A Classification and Bibliography. Based on the system of Antti Aarne and Stith Thompson/ By Hans-Jörg Uther. Helsinki. Part. 1 – 619 p. ; Part. II. – 536 p. ; Part III. – 285 p.

- BALÁZS 1983: Balázs G. Tulajdonnevek a magyar népmesékben. Budapest. (II Magyar Névtani Dolgozatok 30).
- BALÁZS–BARATI–WOLOSZ 1989: Balázs G., Barati A., Wolosz R. Tulajdonnevek a magyar népmesékben. Budapest. (III Magyar Névtani Dolgozatok 80).
- BALÁZS–VÁRKONYI 1987: Balázs G., Várkonyi A. Tulajdonnevek a magyar népmesékben. Budapest. (IV Magyar Névtani Dolgozatok 72).
- BOLDIZSÁR 1997: Boldizsár I. Varázslás és fogyókúra. Mesék, mesemondók, motívumok: Tanulmánykötet. Budapest: JAK Kijárat K.
- BOLDIZSÁR 2004: Boldizsár I. Mesepoétika : Írások mesékről, gyerekekről, könyvekről. Budapest: Akadémiai K.
- BRAUN 1923: Braun, S. A népmese. Bevezetés az összehasonlító mesekutatásba. Budapest: Geniusz K.
- HONTI 1945: Honti J. Az ismeretlen népmese. Budapest : Officina Ny.
- KOVÁCS 1979: Kovács Á. A hősmese. A népmese műfajai és a népmesekatalógus I. Ethnographia. XC: 457–480.
- MAROSI 1981: Marosi T. Tulajdonnevek a magyar népmesékben. Budapest. (I Magyar Névtani Dolgozatok 13).
- MNK: Magyar Népmesekatalógus. Budapest, 1978–2001. K.1–10.
- VOIGT: Voigt V. Meseszó : Tanulmányok. Budapest : MTA ELTE Folklór Szövegelemzési Kutatócsoport, 2007–2009.

Abstract

Female Ideal Model in Folktales (on the Basis of Ukrainian and Hungarian folk tales)

The article deals with the main female character of folk tales, which according to the particular aesthetics of this genre is women's ideal model of the best human qualities and virtues. The image of the character is revealed on the basis of the Ukrainian and Hungarian folk tales (fairy and partly residential) of the Ukrainian Carpathians area, including Transcarpathia. The examples of fairy tales describe the range and attributes of the female character, her main virtues such as kindness, understanding, patience, diligence are shown. Plots where the female character exists are researched according to the indexes of the types of international folktales (abbreviated ATU) and the eastern (CYC) and Hungarian (MNK) ones. Basic artistic ways of describing of the character, in particular artistic stereotypes, repetitions, comparisons, hyperboles, metaphors are determined. Basic research on the character system of folk tales is referred to.

**«ЗРИМАЯ ЛИТЕРАТУРА».
ЭКФРАСИС В ПОЭТИКЕ Л. ТОЛСТОГО**

ЗОЛТАН ХАЙНАДИ

Bilde, Künstler! Rede nicht!

Гёте¹

*Высшая мечта автора:
превратить читателя в зрителя*

Набоков 1936: 19

1.

Древнегреческий поэт Симонид Кеосский называл поэзию поющей живописью, а живопись молчащей поэзией. Что слово сообщает через слух, то живопись показывает молча, через изображение. Если немоту живописи считать недостатком, то на равных правах можно говорить и о слепоте поэзии. Картина для глаза есть то, что слово для слуха. Горациевский принцип *ut pictura poesis*² предполагает взаимную переводимость визуальных и нарративных искусств. Продуктивное влияние живописи и поэзии друг на друга безусловно. Как не вызывает и сомнения то, что высокая поэзия не стремится самоцельно к воздействию методами живописи, а хорошие пейзажи не нуждаются в словах. Чистую лиричность, напротив, характеризует полное отсутствие живописности. Живописное полотно скорее тогда соответствует идейной цели, когда нельзя облекать чувства в слова. Картина появляется не для того, чтобы вновь трансформироваться в понятие. Беспредметность абстрактной живописи отрицает даже возможность соответственного языкового ее выражения, когда освобождает полотно от кандалов референции. Если мысль может быть выражена словом, нет необходимости братья за кисть. Живопись рождается из ощущения недостаточности того, что выразимо словами. Однако немая живопись знает, как ей говорить. У нее имеется собственный язык, сгущенный в красках, закодированный в формах, построенный по-другому на высказываниях выразительных средств. «То, что может быть

¹ «Твори, художник, не говори!» (Goethe). Этимологически глагол *bilden* образуется от слова *Bild* – картина, в значении: образовывать, создавать, показывать.

² Поэзия – та же живопись (Гораций).

показано, не может быть сказано. [...] О чем нельзя сказать, о том нужно молчать» [WITTGENSTEIN 1963: 112]. Можно ли решить это противоречие: говорить стоит только о том, о чем невозможно сказать? Экфрасис³ стремится разрешить эту антиномию, когда украдкой возвращает образный метод видения в литературу. Невысказанное, которое нельзя перевести на язык речи, проявляется в видимом.

Поэты и философы с давних пор спорят о том, какое из наших органов чувств обладает преимуществом: зрение или слух? Чему мы больше верим: глазам или ушам? Ни один из органов чувств не обладает универсальностью мирового опыта, каждый из них имеет свою частную область и так способствует восприятию целого. Еврейская религия *аниконична* и построена на преимуществе слуха: «Слушай, Израиль!» („*Shema Yisrael*”). Слуху отдается предпочтение перед зрением. Слушать значит учиться, а учитель – Мойсей-Логос. Наложит замки на уста твои, держи ухо остро и слушай. По сравнению со зрением превосходство слуху гарантирует универсальность логоса. С помощью логоса мы воспринимаем всё, что не противоречит приоритету зрения, потому что взор руководствуется логосом.

«Это различие между зрением и слухом важно для нас потому, что в основе герменевтического феномена, как показал уже Аристотель, лежит преимущественно значение слуха. Нет ничего, что не было бы доступно слуху благодаря языку. Если все другие чувства лишены непосредственной причастности к универсальности языкового опыта мира, но лишь открывают свои специфические поля восприятия, то слушание есть путь к целому, поскольку оно способно „слушать” логос» [ГАДАМЕР 1988: 534].

Человек погружен в мир, но и мир погружен в человека. Пять органов чувств – зрение, слух, осязание, обоняние и ощущение вкуса – представляют собой „ворота“, через которые мир проникает в человека. Чувственный опыт приобретает человеком с помощью глаз, ушей, осязания, обоняния и вкуса. Слово эстетика (*aisthetikos*) означает по-гречески „чувствующий”, „чувственный“. Нечувственный опыт – опыт души. Накапливается он посредством наблюдения над самим собой и другими. Однако для полноценных эстетических ценностей недостаточно совершенного функционирования внешних органов чувств, необходимы еще внутренние слух и видение. В этом скрывается объяснение того, что и слепой может быть скульптором, а оглохший композитор может сочинять музыку. Внутренний опыт приводит в соприкос-

³ Экфрасис (от греческого слова *ekphrasein* – изобразить что-либо вполне, исчерпывающе) – описание произведения изобразительного искусства в литературном тексте. Классическим примером является описание щита Ахилла в «Илиаде». Трагическая судьба Лаокоона и его сыновей – в изображении Гомера и скульптора – послужила Лессингу поводом для мысли о границах поэзии и искусства. По мнению критика живопись (и скульптура), в отличие от литературы – будучи пространственным, а не временным искусством – может выбрать лишь одно временное мгновение («плодотворный момент») для изображения героя [ЛЕССИНГ 1953].

новение божественно-духовный мир с материально-земным бытием, и таким образом осуществляются соответствия (*correspondences*) чувствительного и духовного миров. Когнитивное мышление преобразует ощущения в логос, а затем, согласно правилам синтаксиса, в речь, насыщенную чувством. Логос – это переход из чувственного в нечувственное. Эйдетическое воображение и рассудочное чтение построены на общем принципе. Зрение – это не просто функция глаз, но для художника оно служит стилево-формообразующей силой. Наш орган зрения не бесстрастное зеркало: человек видя анализирует, анализируя же видит. В связи с этим правомерно процитировать Гёте:

«Всякое [...] смотрение переходит в рассматривание, всякое рассматривание – в размышление, всякое размышление – в связывание и поэтому можно сказать, что при каждом внимательном взгляде, брошенном на мир, мы уже теоретизируем» [ГЕТЕ 1957: 263].

Настоящее исследование ищет ответ на вопрос: какова роль визуального изображения в творчестве Толстого? Способен ли вербальный текст возбудить иллюзию визуальности и превратить читателя в зрителя? Выражаясь теоретически: освещаемо ли относящееся к одному из жанров произведение с помощью средств другого жанра? И есть ли соответствующие поэтические средства для создания «зримой литературы»? Можно ли воспринимать литературу как специфическую систему знаков, воспроизводящую картины и вместе с ними мысли, переживаемые читателем? Искусство действительно есть мышление в образах?

2.

В конце 18 века русская поэзия ходила еще в детских ботиночках, была склонна к подражанию живописи. Поэты, продолжатели классицистических традиций, с большим удовольствием обращались за вдохновением к темам пластического изобразительного искусства, тогда как романтики – к пейзажной живописи и музыке. Многие стихотворения Державина, Дмитриева и Жуковского вдохновлялись пейзажем или натюрмортом. Они любили архитектурный словарь (пирамиды, обелиски, памятники, триумфальные столпы) и музыкальные жанровые картинки: фантазию, арабеск, этюд, импровизацию и т. п. Поэзия еще не научилась говорить на собственном языке и заимствовала его у живописи: в частности, стремилась к образному и цветовому воздействию. Стихи были живописаниями в гекзаметрах. Картинная сторона этих стихов была не менее важна, чем слуховая. Спустя полвека положение изменилось. Теперь уже живопись стремилась к повествовательности: она хотела пробудить в зрителе не только настроения и чувства, но и мысли. Художники творили как поэты, хотя они были немые. Чисто орнаментальная функция уже не соответствовала новым эстетическим требованиям писателей-реалистов, предполагающим внутреннюю связь между визуальным изображением и архитектурной поэтикой произведения как целого.

Толстой подвергался влиянию пантеистической философии, патристической аллегоричности и православной иконографии, которые считал духовным проявлением некоего высшего порядка, которое человеческое сознание может воспринять только отрывочно и выразить в словах, поэтому обращался к визуальной наррации, взаимно освещающей и дополняющей друг друга. Декодирование видимого, в отличие от слышимого несет с собой избыток прибавочной информации, делающей способы ощущения и психических реакций пластическими.

По мнению Мережковского, «ясновидец плоти» – Толстой, обладал богатой визуальной силой воображения, а «ясновидец духа» Достоевский – утонченной аудитивной, что проявлялось в том, что его героев мы слышим, а толстовских почти видим глазами души. Однако между апперцепцией действительности органами чувств нет непреодолимой границы. Они дополняют и корректируют друг друга, поскольку одновременно адресованы многим органам чувств. Художник воспринимает мир не только глазами, но и духовным видением души. Это душевно-духовное видение является другой формой подхода к действительности. Два типа знаков, *слово* и *картина*, находятся в постоянном воздействии друг на друга, непрерывно переходят друг в друга. Их отношения характеризуются определенного типа осцилляцией: между ними постоянны наплывы и диафония. Организация слова синтагматична, в отличие от единства и одновременности иконического знака, которое парадигматично. Опыт, полученный в одной области, распространяем и на другие, любое восприятие является симбиозом пяти органов чувств, в котором пропорция типов знаков различна. Грани между этими пятью чувствами снимаются Толстым, чтобы в слиянии их добиться того, что невозможно в отдельности.

Глаза – зеркало души, они связаны со светом, ясновидением. Глаза являются посредником между внутренним и внешним мирами, хотя и не вступают в непосредственную связь с предметом, на который смотрят. По глазам человека можно определить его внутренние переживания, тончайшие оттенки эмоциональных состояний и мимолетных настроений. Толстой-писатель воспринимает мир и как художник, зрительно. Он схватывает всё пронизывающим взором своих серых глаз. Письмо для него означает пластично видеть, быть свидетелем. Он не просто видит, что перед ним, а непосредственно вторгается в видимое им и определяет это ощущение. В «Семейном счастье» диалогом глаз он описал с точки зрения героини последовавший поворот, отождествив его с точкой зрения мужа: семейное счастье – единственная реальность, романтическая любовь всего лишь преходящая иллюзия.

«Я ничего не отвечала и невольно смотрела ему в глаза. Вдруг что-то странное случилось со мной; сначала я перестала видеть окружающее, потом лицо его исчезло передо мной, только одни его глаза блестели, казалось, против самых моих глаз, потом мне показалось, что глаза эти во мне, все помутилось, я ничего не видала и должна была зажмуриться, чтоб оторваться от чувства наслаждения и страха, которые производил во мне этот взгляд...» [Толстой 1978–1985: 3/ 107].

Глаза персонажей как будто обретают автономное существование, обособляясь от всего остального тела. Только проникающий в душу взгляд способен так подействовать на другого; глядя в себя, персонаж смотрит в глаза другого, его я, осуществляясь в другом, забывает само себя. Три точки в конце предложения, прерывают ход мыслей героини, потому что не обязательно все высказать, кое-что надо домыслить читателю. Этот метод изображения походит на технику живописи, имеющей дело с дымообразными, размытыми цветовыми эффектами, живописи, которая во многих случаях полагается на фантазию зрителя. Соотношение изречённого и умолчанного, показанного и подразумеваемого является пробным камнем для любого художника.

Русский психолог С. Янкелевич отыскал в «Войне и мире» 85 оттенков выражения глаз: холодный зеркальный, грустный, размышляющий, умоляющий, радующийся, хитрый, лучистый взгляды и т. д. Глаза персонажей Толстого индивидуализированы и выразительны, на них метонимически переносятся свойства их обладателей (см. «лучезарные» глаза Болконской). У улыбки Янкелевич нашел 97 оттенков (неприятно-притворная, сдержанная, несмелая, нежная, высокомерная, веселая, горькая и т.д.), которые исключительно точно передают чувства и душевное состояние человека [см. ЯКОБСОН 1958: 139]. Язык Толстого богат такими словами, которые непосредственно, пластически выражают движения тела, игру лица и глаз.

Толстой искал языковые соответствия определенным состоянием чувства и сознания, понимая при этом, что выражение нашего лица говорит порой больше, нежели слова, а глаза, подчас противореча лицу, говорят об истинных переживаниях человека, которые он, возможно, хотел бы скрыть. Важно положение бровей, степень раскрытости глаз, сияют они или покрыты вуалью, направление взгляда (в сторону, вверх, прямо, искоса, украдкой) и т. д. Слова могут обмануть, но неожиданно появляющееся выражение лица (мимика) и жестикация, жест (пантомимика) менее лживы.

Изменение взгляда регулируется движением мышц орбикуларис окули мускул, которые окружают оба глаза. Улыбку – быстротечную линию в уголках рта – вызывает съёживание зигматикус, тянущий уголки рта вверх-вниз. Однако Толстого интересовала не столько физиономическая сторона этого явления, сколько то, что находится за ним. Он заметил, что улыбка видна не только на лице, преобразуется и оттенок голоса говорящего («улыбка в голосе»). Между выражением гнева на лице и высказыванием гневного слова тоже существует онтологическая связь. В богатых оттенках голоса мы «слышим» черты личности говорящего. Зрительный код часто контаминирован со звуковым, например, «прозрачный звук копыт». Толстой обладал особым талантом изображения *психофизических* явлений, но у него физические моменты (так сказать, представления телесной памяти) всегда сигнализируют о психологических. Он старается не только расшифровывать немые взгляды и невольные жесты, но и раскрывать их тайные и во многом еще не осознанные импульсы. Его язык богат такими словами, которые

непосредственно, наглядно выражают впечатления органов чувств: описывая, он заставляет читателя видеть.

Толстой включает в сферу эстетики ощущения, выходящие за визуально-аудитивные рамки: обоняние, вкус, осязание. По его мнению, они несут соматические воспоминания, которые мы сохраняем чувственно, телесно, «на кончиках пальцев», во рту, в носу, и которые делают нас более восприимчивыми к впечатлениям внешнего мира. Прочитируем ту сцену, когда Николай Ростов, вернувшись с войны, оказался в самом разгаре рождественского торжества. Мы становимся свидетелями маскарадной игры: он переодевается в женскую одежду, а Соня – гусаром. Девушка нарисовала себе усы жженой пробкой. Когда они коснулись друг друга губами, то Николай «поцеловал в губы, над которыми были усы и от которых пахло жженой пробкой» (5, 298). Он еще долго «вспоминал этот запах пробки, смешанный с чувством поцелуя» (5, 298). У переодевания и смены масок имеется символическая функция. Ее можно считать адекватной коммуникацией, предсказывающей будущее. Николай не женится на Соне, потому что подсознательно он чувствует „маскулинные” феромоны, исходящие от нее. Мы встречаемся здесь с особым явлением, возникает эмпирия, к тому же – на уровне порога сознания, которая в конце концов решает их судьбы, оставаясь неосознанной. В выборе противоположного пола запахи и ароматы имеют решающую роль не только в мире растений и животных, но и в гуманной культуре.

Кажется, что пару выбирает наше сердце, но мотивация бывает на уровне почти инстинктивном. Беда нашего разума в том, что он расчетлив, беда сердца – в его непредсказуемости. Возьмем, к примеру, сцену сорванного сватовства Кознышева в «Анне Карениной». Он отправился с Варенькой в лес по грибы и вместо того, чтобы, как и планировал, попросить руки у девушки, движимый какой-то неожиданной идеей, вдруг спрашивает:

«– Какая же разница между белым и березовым? Губы Вареньки дрожали от волнения, когда она ответила: – В шапке нет разницы, но в корне» (9, 146). Ответ девушки может быть растолкован и метафорически.

«И как только эти слова были сказаны, и он и она поняли, что дело кончено, что то, что должно было быть сказано, не будет сказано, и волнение их, дошедшее пред этим до высшей степени, стало утихать» (9, 146).

А ведь, судя по всему, именно на такую ситуацию намекал еще прежде Толстой, уподобив Вареньку «цветку без запаха». *Нотабене*: запах – душа цветка. Не случайно, стало быть, автор определял Вареньку этим чувственным (аффективным) оттенком:

«Она была похожа на прекрасный, хотя еще и полный лепестков, но уже отцветший, без запаха цветок» (8, 238). Похоже, что это «без запаха» и уловил Кознышев.

Ноги танцора, пальцы музыканта обладают великолепной памятью. Если зрение поменяем на впечатления других органов чувств, это будет означать,

что мы сменили оптические возбудители, поменяли на другие. Тот же самый предмет кажется другим, если мы его видим, или прикоснемся к нему, понюхаем, попробуем на вкус. С помощью зрения нельзя определить то, что постижимо непосредственно только осязанием (обонянием или пробой на вкус). Бэла Хамваш пишет:

«... пуритане и пиеисты женщин знают только абстрактно, только глазами и ушами, поэтому едва имеют о них непосредственное представление. До осязания они доходили только редко. Если кто-то интересуется этим предметом более серьезно, пусть прочитает соответствующие части из книги Д. Х. Лоуренса и тогда у него будет понятие о том, какое знание приобретается рукой на женском теле» [НАМVAS 1988: 130].

В отличие от английского писателя у Толстого телесность служит не для разжигания чувственности, а для показа душевных процессов. Толстой осознавал, что среди органов чувств осязание предоставляет самые богатые и полные переживания. Линеарное искусство повествования он комбинировал с пластическим описанием картин. Порой в его художественном изображении оживало нечто неживое, скульптурное.

«У Толстого можно научиться тому, что я считаю одним из крупнейших достоинств художественного творчества, – это пластике, изумительной рельефности изображения. Когда его читаешь, то получается [...] ощущение как бы физического бытия его героев, до такой степени ловко у него выточен образ; он как будто стоит перед вами, вот так и хочется пальцем тронуть» [ГОРЬКИЙ 1949–1955: 26, 68].

Примером аполлонской пластичности и «пространственности» изображения Толстого можно привести портрет Элен Курагиной из «Войны и мира», имя которой является синонимом женской неверности и ассоциируется с Еленой Прекрасной. Восхищаясь «античной красотой тела» (4, 19), писатель пробуждает в памяти читателя трехмерную пластичность греческих скульптур:

«как сама графиня, в белом атласном халате, шитым серебром, и в простых волосах (две огромные косы *en diadème* огибали два раза ее прелестную голову) вошла в комнату спокойно и величественно; только на мраморном, несколько выпуклом лбе ее была морщинка гнева» (5, 35).

Прелести Элен, ее открытые плечи призывают прикоснуться к ним. Одному из иллюстраторов романа Толстой заметил: «Hélène – нельзя ли сделать погрудастее (пластичная красота форм – ее характернейшая черта)» (18, 647). А на «скульптурной» фигуре Элен в романе «был уже как будто лак от всех тысяч взглядов, скользивших по ее телу» (5, 212). Лакировка делает вещь, действительность красивее, лучше, чем она есть. Однако динамизм изображения вступает в конфликт со статикой неподвижной мраморной фигуры, насыщенной движением. Скульптурное изваяние воспринимается здесь зрительно, но зрение граничит с тактильностью. Зрительное ощущение превра-

щается в ощущение мнимого осязания. Подобный художественный прием по-гречески называется *экфрасисом*. Экфрасис стремится показать, что мертвая скульптурная фигура, сработанная художником, выглядит как живая, насыщенная движением.

Совершенно иначе Толстой описывает Наташу, радость ее первого бала: «Что-то в ней есть свежее, особенное, не петербургское, отличающее ее» (5, 214), – делая акцент, в первую очередь, на естественность героини. Внешняя красота Элен действует на чувства, внутренняя красота Наташи – на душу. Искренность, оживленность, лишенные всяческой аффектации, пленит и очаровывает и окружающих, и читателя. Полнота жизни и есть сама красота. И здесь мы сталкиваемся с парадоксом: правда всегда красива (Наташа), но красивое не всегда правда (Элен). Телесная красота и душевная порочность могут ужиться в одном человеке. У Толстого внутренняя красота появляется как украшение добродетели, на что намекает и часто цитируемая им русская пословица: «Не по хорошу мил, а по милу хорош».

3.

Наряду с портретом и скульптурой к объектам экфрасиса мы можем причислить зеркало и фотографию. Толстовские герои, особенно женщины, часто смотрятся в зеркало; это для них и удовлетворение тщеславия, и средство самоанализа и самопознания. Существует нечто такое, что можно увидеть только в зеркале, а именно – самого себя. Между визуальным и вербальным отражением (рефлексией) можно провести параллель: подобно человеческому лицу в зеркале, внутренняя духовная жизнь познаваема только в отражении. Слово, словесный образ – зеркало, в котором мы видим самих себя. Однако зеркало – обман, оно отражает только внешнее, внутреннее же – чаще всего упускает. Обратимся к сцене, когда Болконская разглядывает себя в зеркале:

«Прочтя до этого места, княжна Марья вздохнула и оглянулась в трюмо, которое стояло направо от нее. Зеркало отразило некрасивое, слабое тело и худое лицо. Глаза, всегда грустные, теперь особенно безнадежно смотрели на себя в зеркало. „Она мне льстит“, – подумала княжна, отвернулась и продолжала читать. Жюли, однако, не льстила своему другу: действительно, глаза княжны, большие, глубокие и лучистые (как будто лучи теплого света иногда снопами выходили из них), были так хороши, что очень часто, несмотря на некрасивость всего лица, глаза эти делались привлекательнее красоты. Но княжна никогда не видела хорошего выражения своих глаз, того выражения, которое они принимали в те минуты, когда она не думала о себе» (4, 115).

Это прекрасный пример того, насколько благородные чувства делают красивыми черты человеческого лица. Человек видит самого себя не так, как видят его другие. Оптический обман объясняется тем, что маленькая княгиня ищет красоту извне, хотя та находится внутри. Видимость и действительность не одно и то же. Надпись на зеркале по латыни: «каждому отдаю его

собственное» (*reddo cuique sum*) – нуждается в уточнении. Нужно смотреть и за амальгаму. Отражение – не картина, а копия, в этом отношении оно похоже на фотографию, являющуюся только совершенной репрезентацией действительности. Парадоксально, но факт: портрет является более достоверным и правдивым, чем отражение и фотография.

Для иллюстрации нашей мысли приведем пример из «Анны Карениной» о взаимоотношении различных видов искусства, когда текст имеет структурные связи с визуальным источником.

«Кити улыбнулась и здесь на бале, взглянув на нее в зеркало [на черную бархатку медальона]. В обнаженных плечах и руках Кити чувствовала холодную мраморность, чувство, которое она особенно любила» (8, 89).

Здесь мы видим зеркальное отражение Кити, которая недавно отказала Левину, потому что она поставила перед собой иную цель жизни, нежели ее провинциальный ухажер. Она купается в радостях большого света, наслаждается *скульптурной* красотой своего тела, что вызывает у читателя иллюзию подобия живого образа и мрамора. Зачесанные *à la grecque* волосы толстовских великосветских дам, их полуоткрытые рты, обнаженные плечи, мраморная кожа их тел, бархат их одежды вызывают в читателе иллюзию осязания. Описание подчинено канонам экфрасиса. До определенной степени оно служит для воспроизведения и замены живописного полотна или скульптуры. Экфрасис – это «всякое воспроизведение одного искусства средствами другого» [ГЕЛЛЕР 2002: 18].

Толстой поставил на службу экфрасиса и фотографию, считавшуюся тогда новинкой. После памятной встречи со своим сыном Анна возвращается в гостиницу и рассматривает в альбоме фотографии ребенка. Фотография – медиум: вызывает прошлое, дает возможность Анне вступить в мир счастливых воспоминаний, делающих особо тяжелым ее теперешнее положение.

«Она хотела сличить карточки и стала вынимать их из альбома. Она вынула их все. Оставалась одна, последняя, лучшая карточка. Он в белой рубашке сидел верхом на стуле, хмурился глазами и улыбался ртом. Это было самое особенное, лучшее его выражение. Маленькими ловкими руками, которые нынче особенно напряженно двигались своими белыми тонкими пальцами, она несколько раз задевала за уголок карточки, но карточка срывалась, и она не могла достать ее. Разрезного ножика не было на столе, и она, вынув карточку, бывшую рядом (это была карточка Вронского, сделанная в Риме, в круглой шляпе и с длинными волосами), ею вытолкнула карточку сына» (9, 118).

Для читателя эта мелочь символизирует горькую правду: любовник Анны вытесняет ее сына.

4.

Количество примеров визуального изображения в произведениях Толстого легко умножить,⁴ но в своем исследовании я стремлюсь не к тому, чтобы подробно разобрать каждый отдельный конкретный случай, а к тому, чтобы показать как можно больше их разновидностей. В произведениях Толстого экфрасис означает в большинстве случаев человеческую фигуру на живописном полотне или в скульптуре, но у него встречается и экфрасисы нумерического и геометрического⁵ характера, более соответствующие категориям этики и трансценденции, ибо трансцендентное не может быть чувственно выражено. «Геометрия есть первообраз красоты мира». («*Geometria est archetypus pulchritudinis mundi*» – Кеплер). Геометрические и числовые понятия сегодня используются в основном для измерения материальных вещей, однако в Греции в архаические времена ими выражались и нравственные качества.⁶ Известно, например, что Платон в своей знаменитой, но потерянной лекции «О хорошем» (*areté*) основывался на геометрических воззрениях.⁷ Квадрат у Платона появляется в виде куба, что соответствует элементу Земли. А блаж. Августин пишет, что «число три относится к душе, четыре к телу» („*numerus ternarius ad animum pertinet, quaternarius ad corpus*”). Цифровая символика Толстого возвращается к этой греческой, иудейско-христианской традиции.

Наташа, самая чувствительная среди женщин семьи Ростовых, при первой встрече со вступившим в масоны Пьером чувствует в нем что-то необъяснимо дисгармоничное, но пока не может понять сложный душевный мир муж-

⁴ Начиная с Тургенева и вплоть до Мережковского, многие обращали внимание на особое выражение приподнятой верхней губы Болконской, о которой Толстой постоянно упоминает: она появляется даже на мраморной скульптуре ангела с расправленными крыльями, установленной на могиле. Экфрасис поднимает маленькую княгиню в сакральное пространство.

⁵ Однако с помощью цвета и формы можно выразить не только нечто подспудное, догадки и впечатления, но и зловещие предсказания. В рассказе Толстого «Записки сумасшедшего» (1884–1886) ужас смерти (арзамасская ночь) воплощается в геометрической форме: «ужас красный, белый, квадратный» (12, 48). Все это стремится скорее к символизму, где хаос и уничтожение проявляется в образах «красного карлика» и «черного человека». Черный цвет является символом плохого, подлого, уничтожения и самоуничтожения (ср. «Моцарт и Сальери» Пушкина, «Черного человека» Есенина, «Мастера и Маргариту» Булгакова). Мережковский не случайно считал Толстого предтечей символизма.

⁶ Симона Вейль пишет: «Идеи ограничения, меры, равновесия, которые должны были бы определить жизненное поведение, не имеют ныне другого применения, кроме служебного и технического. Мы оказались геометрами только в делах материальных. Греки были геометрами прежде всего в деле обучения благу» [ВЕЙЛЬ 1990: 254].

⁷ На этом основывается и капитальный труд Бенедикта Спинозы «Этика, доказанная в геометрическом порядке».

чины и четко сформулировать свои чувства, связанные с ним. Свое смущение она выражает в соответствии со своим настроением, в наглядных геометрических фигурах и цвете: «Безухов – тот синий, темно-синий с красным, и он четырехугольный...» (5, 201). Противоречивый характер Пьера выражается дискрепанцией цветов: *темно-синий* цвет символизирует его спиритаульность и, рядом с ним и напротив него, *красный* – витальную живучесть.

Квадратность (*homo quadratus*) Пьера противопоставлена круглости (*homo circulus*) Платона Каратаева. Круг, как совершеннейшая форма пространства (кругообращение, как совершеннейшее движение), выражает идеальное совершенство. Шар (круг, кольцо, мандала) означает равновесие, является символом вечности, у него нет начала и конца, на его поверхности прошедшее превращается в настоящее и снова оборачивается прошлым. *Мандала* на санскритском языке обозначает *круг*. Он является солярным знаком: символизирует солнце, небесный свод или корону космического древа жизни. Он как бы подсказывает, что под ним человек найдет прибежище, обретение смысла жизни, найдет совершенное счастье. Человек чувствует, что символ круга-шара врачует душевный недуг, вызванный апокалиптической эпохой: сохраняет внутреннее равновесие. Попавший в плен к французам Безухов ощущает в Каратаеве какую-то приятную округлость, в каждом его слове и даже в жесте:

«вся фигура Платона [...] была круглая, голова была совершенно круглая, спина, грудь, плечи, даже руки, которые он носил, как бы всегда собираясь обнять что-то, были круглые; приятная улыбка и большие карие нежные глаза были круглые» (7, 54).

Пьер чувствует, что спокойная, народная в своей основе мудрость товарища по плену излечит его, вернет гармонию в его измученную душу: «прежде разрушенный мир теперь с новой красотой, на каких-то новых и незыблемых основах, двигался в его душе» (5, 54). Круг есть символ неба, а квадрат – это символ Земли. Можно предположить, что превращение квадрата в круг есть не что иное, как союз этих двух сфер.

Русский крестьянин Платон Каратаев – воплощение народного языка и мирвоззрения – противопоставлен у Толстого чужому, враждебному французскому влиянию. Даже синтаксис и интонация его речи, изобилующей русскими пословицами и поговорками, могут быть представимы в виде круга: «Положи, господи, камушком, подними калачиком» (7, 55).

«Платон Каратаев остался навсегда в душе Пьера самым сильным и дорогим воспоминанием и олицетворением всего русского, доброго и круглого» (7, 54). Круг, шар как символ совершенства восходит, в том числе, и к христианской иконографии, представляющей духовные сущности в виде сферы. Толстой переносит образное проявление духовного совершенства с имманентной плоскости на трансцендентальную. Пьер недаром вспоминает глобус, который показал ему в Швейцарии старый учитель географии:

«Глобус этот был живой, колеблющийся шар, не имеющий размеров. Вся поверхность шара состояла из капель, плотно сжатых между собой. И капли эти все двигались, перемещались и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая капля стремилась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другие, стремясь к тому же, сжимали ее, иногда уничтожали, иногда сливались с нею. – Вот жизнь, – сказал старичок учитель. ”Как это просто и ясно, – подумал Пьер. – Как я не мог знать этого прежде,.. – В середине бог, и каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших размерах отражать его. И растет, сливается, и сжимается, и уничтожается на поверхности, уходит в глубину и опять всплывает. Вот он, Каратаев, вот разлился и исчез» (7, 169–170).

Здесь физика и метафизика органически соединяются, образ и текст составляют единство: любовь – душа мира – центростремительная сила, не позволяющая целому развалиться на части. Сохраняя оригинальное толкование, любовь в толстовском тексте получает новое освещение, живет и действует вместе с наложенным на нее избыточным значением. Помимо прямого значения невидимая божественная мудрость у писателя проявляется в формах видимой действительности. Над дословным смыслом возвышается многоступенчатое толкование: аллегорическое, тропологическое (имеющее нравочечение) и аналогическое, выясняющее эсхатологический смысл Святого Писания.

Для раскрытия личности Наполеона Толстой прибегает к помощи нумерологии, основанной на том пифагоровом (и кабалистическом) взгляде, что в основе мирового порядка лежит числовая гармония. По мнению сторонников мистики чисел, буквам алфавита соответствуют определенные цифры, из суммы которых можно выявить скрытое значение отдельных слов или личных имен. Перед Пьером масоны вскрывают значение откровения Иоанна, относящееся к Антихристу:

«Здесь мудрость есть; иже имать ум да почтет число зверино: число бо человеческо есть и число его шестьсот шестьдесят шесть. [...] Французские буквы, подобно еврейскому число-изображению, по-которому первыми десятью буквами означаются единицы, а прочими десятки, имеют следующее значение:

a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160

Написав по этой азбуке цифрами L'empereur Napoléon, – выходит, что сумма этих чисел равна 666-ти и что поэтому Наполеон есть тот зверь, о котором предсказано в Апокалипсисе» (6, 84–85).

Пьер искал ответ на тот вопрос, что или кто положит конец власти зверя, то есть Наполеона? Буквенно-числовую систему варьировал, как в игре пасьянса, до тех пор пока не получил ответ: *l'russe Besuhov* – то же число 666.

5.

В «Войне и мире» изображается более двадцати батальных сцен. С точки зрения визуальной наррации Толстой-баталист мог бы стать темой отдельной

статьи. Однако теперь обратимся к рассмотрению живописно изображенного старого дуба. Дуб – священное дерево не только Юпитера, но и славян. В славянской мифологии дуб с древних времен пользуется особым почтением. Согласно народной традиции это космическое древо жизни, наделенное душой. Старый дуб у Толстого тоже включает в себе множество визуальных ассоциаций, поэтому можно причислять его к экфрасису, как попытку создания вербального пейзажа, адекватного живописному. С помощью его описания раскрывается духовный портрет Андрея Болконского. Это дерево Болконский видит с разных точек зрения. Дерево, как «человек-дуб», представляет сложную образную аллгорию, в которой визуальное и вербальное составляют единство.

В первом эпизоде изображение старого дуба ощущается как пейзажный фон действия. Элементы начальной картины в ходе повторов семантически становятся все богаче и превращаются в проекцию разнообразнейших состояний души. Заслуживает внимания то, что речь идет об одиноком дубе. Стоящий на краю дороги, он одно из многих деревьев, но сам по себе, и его невозможно спутать с другими. Он возвышается между деревьями леса, кажущимися рядом с ним карликами. Из-за своих размеров, долголетия, твердости древесины дуб становится символом мужественности по сравнению с женской по характеру березой. Натурфилософия Толстого оказывается сродни пантеизму, а художественная манера, выразительная, наполняющая глубоким смыслом каждую деталь зарисовки, вызывает в памяти японскую пейзажную живопись, тесно связанную с поэзией хайку. В толстовском пейзажном описании отчетливо ощущается время года. Описывается май.

«На краю дороги стоял дуб. Вероятно, в десять раз старше берез, составлявших лес, он был в десять раз толще и в два раза выше каждой березы. Это был огромный, в два обхвата дуб, с обломанными давно, видно, суками и с обломанной корой, заросшей старыми болячками. С огромными своими неуклюже, несимметрично растопыренными корявыми руками и пальцами, он старым, сердитым и презрительным уродом стоял между улыбающимися березами. Только он один не хотел подчиняться обаянию весны и не хотел видеть ни весны, ни солнца» (5, 161).

Проходит две недели, Болконский встречается в Отрадном с полной жизненного веселья Наташей, и в его душе что-то меняется, его чувства становятся все более интенциональными и осознанными, что подтверждается метаморфозой старого дуба. К началу июня

«...старый дуб, весь преобразенный, раскинувшись шатром сочной, темной зелени, млея, чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца. Ни корявых пальцев, ни болячек, ни старого горя и недоверия – ничего не было видно. Сквозь столетнюю жесткую кору пробились без сучков сочные, молодые листья, так что верить нельзя было, что этот старик произвел их. „Да это тот самый дуб“, – подумал князь Андрей, и на него вдруг нашло беспричинное весеннее чувство радости и обновления. Все лучшие минуты его жизни вдруг в одно и то же время вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом, и мертвое укоризненное лицо жены, и Пьер на

пароме, и девочка, взволнованная красотой ночи, и эта ночь, и луна – и все это вдруг вспомнилось ему» (5, 165).

Вторая встреча с дубом отличается от первой. Болконский заключает в скобки все скептические мысли и решает: «Нет, жизнь не кончена в тридцать один год, – вдруг окончательно, беспеременно решил князь Андрей» (5, 165). Первый, внешний взгляд замечает лишь материальную предметность старого дуба. Второй, внутренний взгляд обнаруживает, что материальная предметность может быть уподоблена судьбе человека. Мысли князя Андрея становятся интенциональными и рефлексированными. Прежние предвзвешивания и суждения вводили его в заблуждение. Теперь он уже не дает необдуманные и поспешные ответы на конечные вопросы жизни. Описание картины – с вечно убывающей и обновляющейся луной, как лунарным символом – прекрасный пример периодического умирания и возрождения человека и природы. Параллель между духовной сменой человека и картин природы является явной.⁸

Пейзаж у Толстого не просто природный, но и «духовный пейзаж», где наблюдающий и наблюдаемое создают единство. Зрелище и настроение неотделимы друг от друга. Какими ни были личные и исторические судьбы героев, облачное или звездное небо всегда и с тем же достоинством раскидывается над ними. Андрей Болконский, обливаясь кровью, лежит на поле сражения под Аустерлицем.

«Над ним не было ничего уже, кроме неба, не ясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками. [...] Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! Все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава богу!...» (4, 354).

В описание картины вносится экзистенциальное ощущение жизни, ментальное спокойствие. Его цель – пробудить как можно больше мыслей и чувств, используя как можно меньше слов. Символика природы выражает символику высшего порядка: философию бытия.

Объективно ли это описание или оно бред раненого мужчины? На подобный вопрос можно ответить другим вопросом: всегда ли визуальное живописное полотно? На своих картинах Тёрнер, Чонтвари, Гулачи и другие вместо зрелища (висты) дают видение (визию): объективность предметного мира подчиняется субъективным требованиям внутреннего видения. Понятийное мышление дает сбой, когда мы наблюдаем природу, – только интуиция способна осветить тайное тайных во Вселенной. В описании Толстого почти

⁸ Мысли князя Андрея при виде одинокого старого дуба восходят, очевидно, к традиции фетовского стихотворения «Одинокий дуб» (1856): «Из-под изрытою корою / Ты полон силой молодою. / Так старый витязь, сверстник твой, / Не остывал душой с годами / Под иззубренною мечами, / Давно заржавленной броней» [ФЕТ 1983: 15–16].

незаметна грань между конкретным и общим, историческим временем и вне-временным. Невозможно решить, смотрит ли Болконский в бесконечность или та смотрит на него? Физическое зрение космизировано, оно сочетается со сверхзрением, прозрением. Словесная картина, соответствующая живописной, является особым видом экфрасиса. Задача искусства – прорваться сквозь узость взгляда и показать суть, скрывающуюся за природным явлением, потому что человек не только часть природы, но и духовный мир, микрокосмос. Человек – часть природы, макрокосмоса, но он шире его, и возвышается над ним.

В кризисный период жизни вид постоянно меняющегося облачного неба пленяет и Левина. После длинного трудового дня он смотрит с вершины стога сена на звезды и видит, как прошла ночь.

«„Как красиво!“ – подумал он, глядя на странную, точно перламутровую раковину из белых барашков-облачков, остановившуюся над самою головой его на середине неба. – Как все прелестно в эту прелестную ночь! И когда успела образоваться эта раковина? Недавно я смотрел на небо, и на нем ничего не было – только две белые полосы. Да, вот так-то незаметно изменились и мои взгляды на жизнь!» (8, 305).

Сцена построена на двойном взгляде на звездное небо и клубящиеся облака. Первый взгляд – это понимание законов вечности и постоянства. Второй ведет к пониманию уже противоположного: всё находится в потоке, изменении, нет ничего постоянного. Правда – подобна небу, а мнения – облакам. Между преходящим и постоянным в природе – и изменяющимся и всё-таки остающимся тем же самым «я» в человеке можно провести параллель. Сосредоточившийся на неподвижном, человек ощущает движение, космический ритм. Толстой, как известно, любил цитировать Канта, считавшего, что моральное состояние человека находит отражение в вселенной.

«Две вещи наполняют мою душу всегда новым и все возрастающим восхищением и благоговением, чем чаще и дальше я размышляю об этом: звездное небо надо мной и нравственный закон во мне» [Толстой 1928–1959: 42/ 78].

Его смысл заключается в том, что человек поклоняется силе и величавости природы, но противопоставляет ей свою моральную силу. «Звездное небо» – представление о вечности, «нравственный закон» – его актуализация, направляющая внимание на универсальные духовные законы, которые для каждого человека являются нравственным приказом.⁹

⁹ Ночь, проведенная Левиным на копне, описана под влиянием натурфилософских реминисценций стихотворения Фета «На стоге сена ночью южной / Лицом ко тверди я лежал, / И хор светил, живой и дружный, / Кругом раскинувшись, дрожал. [...] Я ль несся к бездне полуночной, / Иль сонмы звезд ко мне неслись? / Казалось, будто в длани мощной / Над этой бездной я повис» (1857) [Фет 1983: 131–132]. Отзвуки стихотворения Фета особенно ощутимы в описании этой сцены у Толстого, они дали импульс для развития некоторых ее мотивов. Сопоставительный анализ двух описаний лежит вне круга моего рассмотрения.

6.

Перейдем к разбору трех портретов героини в «Анне Карениной». Толстой рисует портрет этой необыкновенной женщины в нескольких ракурсах. Какой из них верен? Это остается неразгаданной до конца тайной как для него самого, так и для окружающих Анну персонажей. Для портретиста-живописца Толстого характерно то, что он описывает не само зрелище, а то воздействие, которое оно оказывает на другое действующее лицо. «Нехорошо в беллетристике – описание от лица автора. Нужно описывать, как отражается то или другое на действующих лицах» [Толстой 1939:533].

Взглянем сначала на Анну с точки зрения соперницы на балу:

«Кити видела каждый день Анну, была влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь, увидав ее в черном, она почувствовала, что не понимала всей ее прелести. Она теперь увидала ее совершенно новой и неожиданной для себя. Теперь она поняла, что Анна не могла быть в лиловом и что ее прелесть состояла именно в том, что она всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. И черное платье с пышными кружевами не было видно на ней; это была только рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая и оживленная» (8, 91).

Толстой очень любил лиловый цвет¹⁰ и все же не одевает Анну в лиловое платье. Лиловый цвет – символ чувствительности и кокетливости, он не подходит характеру Анны, ее серьезности. Черное платье, как «рамка», как раз и подчеркивает не только естественную красоту ее фигуры, но и глубину ее чувств.

Какой видит Анну влюбленный мужчина?

«Одетая в белое с широким шитьем платье, она сидела в углу террасы за цветами и не слыхала его. Склонив свою чернокурчавую голову, она прижала лоб к холодной лейке, стоявшей на перилах, и обеими своими прекрасными руками, со столь знакомыми ему кольцами, придерживала лейку. Красота всей ее фигуры, головы, шеи, рук каждый раз, как неожиданностью, поражала Вронского» (8, 206–207).

Описание похоже на салонную картину: женщина в белом платье сидит на цветочной террасе. Все это соответствует маньеристскому способу видения героя.

При анализе трех портретов Анны начнем с простой аксиомы: портрет – это судьба, написанная в чертах лица. Первый портрет, висящий в кабинете Каренина, мы видим с точки зрения обманутого мужа. Полотно, как чувст-

¹⁰ В статье «Лиловый цвет в творчестве Толстого» Н. Н. Апостоловым приведены множество примеров, доказывающих вышесказанное. См.: Толстой и о Толстом. Новые материалы. // Труды Толстовского музея. М.: Главнаука Наркомпроса, 1927. У других русских писателей *лиловый цвет* прежде всего ассоциируется с монашеством, церковной иерархией, отсутствием сексуальных устремлений, трауром, постом. К примеру, у Пастернака или Волошина.

венный объект, заставляет Каренина невольно вспомнить сцену мучительного объяснения, случившуюся после скачек.

«Над креслом висел овальный, в золотой раме, прекрасно сделанный знаменитым художником портрет Анны. Алексей Александрович взглянул на него. Непроницаемые глаза насмешливо и нагло смотрели на него, как в тот последний вечер их объяснения. Невыносимо нагло и вызывающе подействовал на Алексея Александровича вид отлично сделанного художником черного кружева на голове, черных волос и белой прекрасной руки с безымянным пальцем, покрытым перстнями. Поглядев на портрет с минуту Алексей Александрович вздрогнул так, что губы затряслись и произвели звук „брр“, и отвернулся» (8, 314).

Известный салонный художник делает акцент не на внутреннем, духовном содержании модели, а согласно вкусу заказчика, на внешней визуальности. Напоказ выставлены: овальная золотая рама, кружева, кольцо, черные волосы, белая рука. Кажется, что именно детали являются главным содержанием полотна. Взгляд и движение руки Анны направлены на пределы картины, в сторону зрителя. Видения художника неподвижно и безжизненно, он передает только то, что улавливает глаз. На первый план выступают частности, а сложный душевный мир Анны остается за кадром.

Вронский, чтобы победить скуку, во время путешествия по Италии рисует портрет Анны в стиле маньеризма, самой большой художественной ценностью которого он считал использование легкой техники для решения сложных художественных задач.

«Более всех других родов ему нравился французский, грациозный и эффектный, и в таком роде он начал писать портрет Анны в итальянском костюме, и портрет этот казался ему и всем, кто его видел, очень удачным» (9, 38).

Стиль Вронского подобен стилю его жизни: он дилетант не только в любви, но и в живописи. Взгляд его поверхностен, не достигает глубины. Он не замечает сути, обращает внимание только на внешнее сходство. Он видит предметы в случайной эвентуальности и не способен пресуществлять их. Вронский не может выйти за узкие рамки своего взгляда. Анна же не соответствует суммарности своих видимостей. Картина получилась всего лишь подобием настоящего искусства. Подобие может отразить только то, что видит художник, воображение же – еще и то, что не видит. Большая разница в значении слова *смотреть* и *видеть* (зрение – узрение).

А творческий метод художника Михайлова не репродуктивный, а продуктивный. Секрет Анны он разгадывает в процессе творчества, когда вновь создает ее на полотне. Он отказывается от подражательного искусства, его задача – передать не только физическую красоту. Взгляд переходит от внешности к внутреннему содержанию, проникает в глубину. Взгляд направлен не только на лицо, но и *за* лицо. Овнешнивая внутреннее, живописец делает видимым для глаза то, что скрыто: красоту души Анны. Характер зрительного восприятия Михайлова проявляется в том, что мы видим в его портрете не только то, что лежит на поверхности, но и скрытый смысл. Как всякий

истинный художник, он видит за деталями суть, создает образ; дилетант же, каков Вронский, только по-другому располагает складки на одежде.

«Портрет с пятого сеанса поразил всех, в особенности Вронского, не только сходством, но и особенною красотою. Странно было, как мог Михайлов найти ту ее особенную красоту. „Надо было знать и любить ее, как я любил, чтобы найти это самое милое ее душевное выражение” – думал Вронский, хотя он по этому портрету только узнал это самое милое ее душевное выражение. Но выражение это было так правдиво, что ему и другим казалось, что они давно знали его» (9, 50).

Волшебство полотна Михайлова заставляет Вронского не только забросить собственный портрет Анны, но и совсем перестать заниматься живописью: он бессилен как постичь, так и выразить неизобразимое – и это еще один штрих к его характеристике. В разнице художественных стилей вскрывается разность их мирозерцаний.

Три портрета – три ипостаси одного лица, знаки разного восприятия действительности. Место каждого из них определяется сопоставлением с другими. Толстой описывает и связывает полотна межтекстовыми ссылками. Красота Анны – загадка, которую надо разгадать. Цель ребуса – показ невидимых взаимозависимостей. Каждый из этапов жизненного пути Анны так или иначе отражается на ее лице. В начале романа глаза влюбленной Анны выражают радость, удивление, они светятся по-особому: «Она долго лежала неподвижно с открытыми глазами, блеск которых, ей казалось, она сама в темноте видела» (8, 165). Позднее, когда положение Анны становится все безнадежнее, глаза ее начинают «щуриться», будто бы щурятся на саму жизнь, – замечает Долли. В какой степени она прозревает в оценке к своему браку, в такой степени Анна ослеплена в своей доверии к Вронскому. В этой трагической слепоте состоит драма, а не в ее «трагической вине». Столкнувшись с судьбой-роком, Анна все более запутывается в ее сетях. Описывая героиню незадолго до самоубийства, Толстой замечает: лицо Анны,

«вдруг приняв строгое выражение, как бы окаменело. С таким выражением на лице она была еще красивее, чем прежде; но это выражение было новое; оно было вне того сияющего счастьем и раздающего счастье круга выражений, которые были уловлены художником на портрете. Левин посмотрел еще раз на портрет и на ее фигуру [...], и почувствовал к ней нежность и жалость, удивившие его самого (9, 290).

Сопоставление лица на портрете с чертами живой Анны – сам по себе толстовский реализм: искусство иногда бессильно перед действительностью. Выпуск на сцену живой модели делает возможным, чтобы мы перешли из мира артефакта в мир фактов и обратно. Представляется возможность сразу сличить образ с натурщицей (*confer vitam*). Есть в этом описании нечто, охватывающее человека: над всем парит что-то трагическое, словно человеческая судьба отражалась бы на лице.

Репрезентация трех портретов Анны проливает свет на художественно-философские взгляды Толстого: цель искусства заключается не в показе

красоты, а в предугадывании истины. Красота является отблеском истины. Явление истины – *эпифания*, то есть зримое или слышимое проявление некоей силы, прежде всего божественной или сверхъестественной, внезапное озарение, когда в ставшем несущественном бытии засверкает что-то существенное и вступает в «несокрытость сущего» [ХАЙДЕГГЕР 2007: 16]. Тайна освещается словно молнией, становится очевидной, открывается потаенный мир, художнику предстоит воплотить его в образе, в слове.

Резюмируя, можно сказать, что с помощью экфрасиса Толстой выходит за рамки линейной письменности, слова превращаются в магическое средство образного посвящения, чтобы рассеялась мгла и человек увидел все оттенки цветов. Правильно выбранные слова, вербальное описание имеют сильнейшее воздействие и иногда одаривают нас более богатыми визуальными переживаниями, нежели вид самих вещей. Реальность в описании Толстого настолько жива и зрима, что в определенном смысле претворяется в виртуальное полотно. «Таким образом адресат поражен работой одновременно двух художников: того, который нарисовал картину, и того, который сумел это так хорошо описать» [KIBÉDI VARGA 1996: 101–109]. В этом сокрыта поэтическая роль экфрасиса: она хочет прорвать завесу между изображаемым и высказываемым. Он переходит из мира слова в мир образов: из синтагматической структуры в парадигматическую. Во время перехода из одной семиотической системы в другую происходит в тексте семантический перевод: выражение неотделимо от изображения.

Литература

- ВЕЙЛЬ 1990: Вейль, С. «Илиада», или Поэма о силе. Пер. с французского Кэтрин Темерсон и Александр Суконик // Новый мир 1990, № 6.
- ГАДАМЕР 1988: Гадамер, Х. Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. Пер. с немецкого Б. Н. Бессонова. М.: Прогресс.
- ГЕЛЛЕР 2002: Геллер, Л. Воскрешение понятия, или Слово об экфрасисе. // Геллер Л. (ред.) Экфрасис в русской литературе. Труды Лозанского симпозиума. М: МИК.
- ГЕТЕ 1957: Гёте, И. В. Учение о цвете. // Гёте И.В. Избранные сочинения по естествознанию. Л.: Изд-во АН СССР.
- ГОРЬКИЙ 1949–1955: Горький, А. М. Собр. соч. в 30-ти томах. М.: Гос. Изд. Художественной литературы.
- ЛЕССИНГ 1953: Лессинг, Г. Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. Перевод Е. Эдельсона. // Лессинг, Г. Э. Избранные произведения. М.: Гос. Изд. Худ. Лит.
- НАБОКОВ 1936: Набоков, В. Отчаяние. Берлин: «Петрополис».
- ТОЛСТОЙ 1939: Толстой, Л. Н. Толстой о литературе и искусстве. Записи В. Г. Чертова. // Литературное наследство, т. 37–38. Москва.
- ТОЛСТОЙ 1928–1959: Толстой, Л. Н. Полное собрание сочинений в 90 томах. М–Л.: Гослитиздат.
- ТОЛСТОЙ 1978–1985: Толстой, Л. Н. Собрание сочинений в 22 томах. М: «Художественная литература». (В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.)
- ФЕТ 1983: Фет, А. А.. Весенний дождь. Тула: Приокское книжное издательство.

- ХАЙДЕГГЕР 2007: Хайдеггер, М. Исток художественного творения. Пер.: А. В. Михайлов, М.: Директ-Медиа.
- ЯКОБСОН 1958: Якобсон, Н. М. Психология чувства. М: Изд-во АПН РСФСР.
- НАМVAS 1988: Namvas B. Az öt géniusz. A bor filozófiája. [Пять гениев. Философия вина] Budapest: Életünk könyvek.
- KIBÉDI VARGA 1996: Kibédi Varga Á. De Zeuxis a Warhol: Les figures du réalisme, Protée, XXIV. № 1.
- WITTGENSTEIN 1963: Wittgenstein, L. Tractatus logico-philosophicus. Frankfurt am Main: Verlag Suhrkamp.

Abstract

The Poetics of Ekphrasis in Lev Tolstoy's Works

The aim of the present study is to discuss the role of the description of paintings (ekphrasis) in Leo Tolstoy's poetics. Can a verbal text create the illusion of visuality and turn the reader into a spectator? More theoretically: can one genre shed light on a work of art belonging to the realm of another genre? Moreover, are there any poetic devices suitable for the description of paintings? Tolstoy draws characters and objects so vividly and offers them to the readers' sight in such a manner as to turn descriptions into mental images or virtual paintings. By turning spatiality into temporality, he breaks the boundaries between depiction and description: he passes from the realm of language into the world of pictures.

**EVOLUTIONARY FUNCTIONS OF THE KOREAN EPIC FOLK SONG
AND THE FINNISH, RUSSIAN AND HUNGARIAN LITERARY BALLAD**

IMRE LÁSZLÓ – LEE SANG DONG¹

The comparison of Korean literature with Hungarian literary writings is a task causing immense difficulties due to the complete dissimilarity of the history, writing system, culture, religion etc. of the two countries. Still, it is not only the most common literary genres that can be compared with each other, but we can find some evolutionary analogies as well. At the beginning of the 20th century, Hungarian literary evolution saw a similar “piling up” of new literary movements arriving from Western Europe as the Korean poetry did. In Korea, French Symbolist poetry became a lively and active force at that time, and was followed by the Avant-garde almost immediately (e.g. the Surrealist Yi Sang) [LEE 2003: 342–346, 365–368]. In a similar manner, it was less than ten years after the foundation of the *Nyugat* that Kassák appeared on the literary scene.

The identity of the sources is easily provable in the case of this example; however, only genetically unrelated forms of Hungarian and Korean epic poetry are available for comparison from the earlier centuries. The Hungarian ballad (just like the European ballad in general), having its origins in the Middle Ages, or even earlier times, does not follow the Greek–Roman ideal of beauty or any artistic principle connected to harmony and symmetry. Being reminiscent of certain traits of poetic genres of the Far East, this characteristic feature may lead us to unfounded conclusions. These “barbaric” features of the ballad came to be appreciated in the Romantic period (in the 18-19th century), becoming fundamental factors in the tradition and structure of balladry, because that period was characterized by a universal spirit of rebellion against Classicism. The Romantic literary ballad revives these barbaric features, examples of which are poems like *Vörös Rébék* or *Az ünneprontók* in the late poetry of János Arany, where certain elements refer back to a superstitious and archaic belief system. (The ballad is an unknown concept in the ancient Greek–Roman hierarchy of genres.)

In the case of the European folk ballad (as a genre having oral, unwritten tradition), text, music and dance separated from each other only at a later point in time, and the original unity has been preserved to some extent in the complexity, synthesizing prose, lyric poetry and drama. (Some of this complexity remained characteristic also to ballads created in a written form.) Of the various Korean lyric and di-

¹ A part-time lecturer at Hankuk University of Foreign Studies.

dactic epic genres, this paper studies the *sosa minyo*, which can be considered as an epic folk song (sosa=story, min=people, yo=song).

Korean epic poetry has been compared mostly to Western European poetry, especially the English ballad within that [CHYUA-deuk – SYM Myung-ho 1971, HAN Kyn-man 1988]. The similarity lies in its length, objective, the simple tone and the preference for the use of various kinds of repetition: emotional, functional, contrastive, gradational, emphatic and incremental repetition. They differ in the types of characters, however: while the characters of English ballads can come from any class of the society, Korean epic songs are always about the lives (most often the marital conflicts) of the simple, everyday people, in a colloquial tone. Such thematic preferences of the *sosa minyo* are traceable in Korean literary poetry written in Chinese, e.g. in the so-called *Choson* poetry: “The writers of practical learning in late Choson had a deep understanding of Korean national literature and intensified their efforts to introduce everyday language into their work.” Yi Ok was one of the important poets of the end of the 18th and beginning of the 19th century, who also wrote about topics connected to private life, love and marriage, „his poems portray women’s sadness and resentment of unhappy marriages...” Yi Ok said the following at one time: “In investigating myriad things, none is as important as the investigation of men... In investigating men, none is as profound as emotion. In investigation emotion, none is as true as the feeling between men and women.” [LEE 2003: 257–259]. This observation of his is applicable to conflicts in the *sosa minyo*.

Problems of married life are central topics in the *sosa minyo* as well, and its most frequent subject-matters are accordingly: life in the cold or even evil family of the husband, the husband’s unfaithfulness, the bride found dead on the wedding day etc. [CHO Dong-il 1970: 41–42]. The narrator of the *sosa minyo* relates the happenings in a sympathetic, still detached manner, just as the ballad records human crises in a lyric, yet objective tone: „A ballad survives among our folk because it embodies a basic human reaction to a dramatic situation. This reaction is reinterpreted by each person who renders the ballad. As an emotional core it dominates artistic act, and melody, setting, character and plot are used only as means by which to get it across. This core is more important to the singer and the listeners than the details of the action themselves.” [LEACH–COFFIN 1961: 247]. This unique objectivity and subjectivity of the epic poem is the common point in ballads and the *sosa minyo*, which prepares the way for 19th and 20th century referential genres everywhere.

A frequent element of the plot in *sosa minyo* is that the wife is forced to put up with her husband having a mistress. A special subtype of this element is where the desperate wife visits the mistress, who welcomes her in a nice and polite manner, which makes the wife’s anger go away; she goes home having achieved nothing, and kills herself. Another epic folk song tells the story of the curse realized. This curse is put on the bridegroom by the maiden he refused, and as a consequence, he dies on his wedding night. Later, the maiden gets married, but when the wedding procession is passing the man’s sepulchre, the grave cracks open and the separated

lovers unite in the other world, similarly as in *Kádár Kata*. The unhappiness of the young lovers has got social explanations as well, both in the Hungarian ballad and the Korean *sosa minyo*, e.g. parental forbidding has to do with issues of property.

A certain kind of moral justice is at work in the *sosa minyo*, in the same way as in the Hungarian folk ballad, and those who commit sins suffer for them in several occasions. However, we can find grave sins, evil deeds and murders more frequently in Arany's ballads (*Ágnes asszony*, *Az árva fiú*), where the moral order is breached in the form of violent conflicts in this manner; while the *sosa minyo* has only got unhappy, silently suffering women characters. A common moral lesson of Arany's ballads, the Hungarian ballad and the Korean epic folk songs is that moral shortcomings are not always to be blamed on society. (This is an antecedent of the characterization used in later works of fiction.)

Another feature that is similar in these genres is that everyday stories are often placed into metaphysic context, since conflicts of the conscience are always related to choices between right and wrong, atonement and the dialectics of God's grace. Korean epic folk songs frequently reflect the idea of Confucian society that by committing suicide one can avoid disgrace. In the background of all this, there is male dominance characteristic to agrarian communities: the life of a young girl is determined by her father until she gets married. Marriage means another constraint, because the woman is compelled to live with and adapt to a new family, which involves several difficulties. (Conflicts with the female relatives are especially frequent.)

References to nature had already accompanied the series of events in the oral period of Korean poetry. „Nature is evoked for its metaphorical power to intensify a contrast or parallel, bright moon, autumn wind, old river, sleeping fish set against the sadness of absence and longing, a brief moment of worldly glory set against the autumnal beauty.” [LEE 2003: 47]. Thus, nature vivified by poetry elaborates or emphasizes certain episodes of the plot as if it were a continuously present human character.

Another motif that can accompany the plot is an irrational extension of the story. In one of the Korean folk songs, the family of the husband treats a woman so roughly that she cannot bear it longer, escapes and becomes a Buddhist nun. It is only years later that she returns to visit the grave of her husband who died meanwhile. There is a variant of the song in which the grave opens while the woman is grieving there, and they live on in the other world together as man and wife. Such elements are not only reminiscent of motives connected to Bürger's *Lenore* in European ballads, but also of Arany's ballad titled *Bor vitéz*. (This is the consummation of love hindered in earthly life, through the crossing of a transcendent borderline.) Of the genre variants studied, the English, Scottish and Scandinavian ballads contain supernatural motives the most often; these are less frequent in the Hungarian folk ballad, and quite rare in the Korean epic song. (Thus, Arany's ballads are closer to the German and English ballad variants.)

In Hungarian folk ballads, themes of family and love sometimes pass over to the realm of irrationality. *Kőműves Kelemenné* has to be sacrificed so that the fort

of Déva can be finished – which is just a symbolic rite from the pagan times. Molnár Anna leaves her husband and kills her lover, this way violating both earthly and heavenly laws, still her sins are remitted. Júlia, the beautiful is taken to the heavens by the Lamb of God coming from above. A special case of the Hungarian ballad is brutality caused by jealousy: *Barcsai, Bethlen Anna*.

The Korean *sosa minyo* is not usually characterised by this disconnected, elliptic style, which, in the case of the European ballad, is regularly explained by the fact that it is enough to recall a few scenes of stories well-known by the community, and it is not necessary to produce fluent and continuous narration. (A somewhat similar phenomenon can be observed in the case of the Korean epic folk song titled *A fiatal özvegy*.) Arany uses this as an instrument for compression and artistic precision, that often leads to obscurity and mysteriousness even (it is very difficult to reconstruct the plot of *Vörös Rébék* for instance), which is a relatively constant feature of the European ballad from Goethe to the Old Székely ballad.

Dialogicity, a feature also considered to be primary for the ballad, is the external medium for the expression of the dramatic character. It causes the narrator to be thrust into the background. (The poetic apostrophe in the dialogic part can be real, imaginary or it can have a stylistic function.) The dialogic relating of the story makes it even more life-like, since the reader is provided with spontaneous utterances of autonomous personalities instead of the dominance of the narrator's viewpoint. The episodic nature of the dialogues is a means for the dynamic narration of the events. In the case of long dialogues, repetitions do not only serve emphatic purposes, but also helped to remember the ballads in the oral period. The mechanism of frequent alliterations may also be explained by the auditive background (in Arany's works and in the *sosa minyo* alike), however, it can be related to other, more general characteristics of poetic diction, too: words create an effect not only through their meaning, but they produce musical effects as well. (This is a law of word and sentence formation that goes back to ancient times, but became productive in certain varieties of 20th century poetry again.)

A remarkable common feature of Korean epic folk songs and Hungarian ballads is their use of the accentual metre. (Quantitative metres came into Hungarian literature on the basis of ancient poems, and therefore they are not original forms in Hungarian poetry either.) Without trying to go into details about concepts of some kind of an Asian manner of speech or versification unfoundedly, there still seems a common acoustic sense to be present in these genres of the two people. The *sosa minyo* is divided into long lines consisting of measures usually containing four syllables, but we can also find a form that perfectly matches the Hungarian *felező nyolcas* (i.e. an accentual metre type in Hungarian, containing eight syllables in a line, with caesura after the fourth syllable).

Since Arany wrote his poems in a relatively well-developed period of Hungarian poetry (and also because he was like that constitutionally), he used almost virtuosic metres in his ballads, the rhyme schemes of which are accordingly perfect and diversified. The rhyming of the *sosa minyo* and the Hungarian ballad in general is rather plain or even missing, and the stanza structure and scansion do not seem to

strive for perfection of form or musical congruence either. The language of the dialogues and the narration is concise, dynamic and dramatic, to the detriment of euphony. The Korean epic folk song lacks stanzas and rhymes in most cases, and in this, it is similar to the Old Székely ballad.

The same way as the most ancient elements of the Hungarian folk ballad played a role in the emergence of later literary forms, especially in the ballads of Arany, the *sosa minyo* also had a great impact on 19th and 20th century Korean poetry. The European equivalent for this is the group of ballads from the Middle Ages or even earlier, that was revived and assumed a written form in the 18th century, later made widely known by such giants of world literature as Goethe, Schiller, Pushkin (influenced by them), Arany and several other poets. English, Scandinavian, Balkan etc. ballads played an important role in the creation of national literatures in the Pre-Romantic and Romantic period, when a cult of folklore was universal in Europe.

The way in which the ballad is put in the centre of attention in the Pre-Romantic literature of the late 18th century, and then loses its productivity in the leading literatures of the world after half a century, is well-known. It remains, however, a frequent genre until the late 19th century in Hungarian literature, and until the late 20th century in Finnish literature, the reasons of which are to be found in a special evolution of the literary genres and the range of expressive devices. A related analogic example is the unique pathway of the Russian literary evolution that catches up with the top level of the European literature within forty or fifty years, beginning from the 1770s. This sudden development proves to be so powerful that from the 1830s, Russian literature begins its own life, causing a radical turn in world literature through the works of Pushkin and Gogol.

The ballad, a genre with obscure medieval origins entwined with singing and dance, subsists in different typological and topological variants, the sources and interrelation of which are still debated. In addition to the Romance (French, Italian and Spanish) and Balkan (Romanian, Hungarian, Croatian and Serbian) ballads, the Russian ballad constitutes a separate kind in itself (which breaks away from the heroic and the everyday, i.e. short story-like *bilina*); the richest group of ballads, however, is still the group of the North-European variant: the English, Scottish, German, Flemish, Swedish, Finland-Swedish and Finnish ballad [GRÜNTAL 1997: 15].²

Borrowing and exchange relations are determining from the beginning. For example, Bürger's *Lenore*, a ballad that sets a trend for the literary ballad, relates a Slavonic story: the dead groom comes back for his bride. Goethe writes *Rémkirály* (*Erlkönig*) on the basis of Danish fairy ballads. The cult of the literary ballad is rooted in the ethnic past, in an attraction towards the past and the people. The en-

² Satu Grünthal's excellent monograph about the Finnish literary ballad surveys the history of the genre from 1853 to the very end of the 20th century. This book was an outstanding and significant help in the preparation of this essay, and acknowledgements are due to her for this [GRÜNTAL 1997].

thusiasm fades after a very short time in the case of the Italian and the French, because the inspiration is not powerful enough. It is stronger in the case of the English, and even stronger in the case of the German, who influence the Hungarian Károly Kisfaludy and Vörösmarty. The Finnish ballad appears relatively late, since its national identity forming function is already present in the *Kalevala*.

The antecedent of the Finnish literary ballad is, naturally, the Finnish folk ballad that appears hundreds of years before the first literary ballad, which is August Oksanen (Ahlquist)'s poem titled *A zuhatag hajósának menyasszonyai* (*Koskenlaskijan morsiamet*) published in 1853. We find a considerable number of clichés in the Finnish folk ballad as well (heroic, noble knights and faithful maidens), but incestuous love and suicide also occur. Conflicts are trivial, nonetheless tragic. The ballad titled *Annikainen's Chant* (*Annikainen virsi*), for instance, is about how a German trader seduces a middle-class girl from Turku. Although he loves her, he cannot marry her because of the Hanseatic law. The German young man leaves for home, and Annikainen thirsts for revenge. She prays to God for a storm, and the man, indeed, drowns in the sea in a storm [LAITINEN 1981: 47–51].

Oksanen's above mentioned ballad (*Koskenlaskijan morsiamet*) follows the thematic (love triangle) and aesthetic traditions of the Finnish folk ballad to a great extent, but it is also connected to the European ballad. (Jealousy brings Wellamon to prevent the happiness of her rival with Wilhelm, the brave boatman of the rushing waterfall, even at the cost of murder.) According to Satu Grünthal, even the boat ride of Wilhelm and Anna highlights their dissimilarity. Wilhelm's attention is engaged by the perilous surging and thundering of the waterfall, since he is the one who sails the boat. At the same time, Anna sees a different reality in the drifting currents and the glimmering of the water, as if she sensed the tragic catastrophe they are heading towards, and it pleased her: how beautiful it would be to die together with her beloved one. (Experiences of beauty and death are intertwined in her yearning for happiness.) As opposed to her, Wellamon embodies the active nature of life, or even the menacing side of nature.

Anna is the first in a long line of "liminal female characters" in the sphere of the literary ballad. These characters are associable with various marginal situations, and are kindred to the white ladies, water sprites and mermaids of the Northern European literatures. (The "liminal" attribute is justified by certain characteristics connected to the threshold of consciousness, but symbolic or allegoric interpretations are not infrequent either.) Romantic passion is also expressed through symbolic elements in nature, like surging waterfalls or steep cliffs. Happy ending is foreign to this world, and a joyful reunion is only possible for the young couple in death.³

The influence of the Northern ballad-tradition, most importantly that of Bürger's *Lenore*, is not to be undervalued in connection with these phenomena; and from this respect, this motif can be considered collective. The perfect example in Hungarian literature is Arany's *Bor vitéz*. The story of a young couple reuniting

³ *ibid.* 6–8.

in death is not anachronistic and is not simply a closing passage of a genre here, since Ady, for instance, draws significant inspiration from this motif (*Lédával a bálban*). It may not be coincidental either, that *Bor vitéz* was written in the Malay pantun poetic form. Every second and fourth line of each stanza is repeated in the first and third line of the next stanza, which has a unique, hypnotizing effect. In the commotion of the rhymes, the reader is overcome by dizziness, or at least becomes less alert and conscious, and this supports the supernatural aura of the series of events told. Therefore, the suggestion that such irrational elements of the Northern, especially the Scottish and Scandinavian, ballad are related to barbaric beliefs from before Christianity must be taken seriously. These barbaric beliefs, however, are quite unlike the symmetric and harmonic beauty ideal, the bright and gleeful totality of the Greek–Roman antiquity, for here, some kind of irregular and crude tendency is observable that originates in the grey, or more exactly, black and white, world of the wild and menacing North.

Satu Grünthal also points out that even the Christian interpretation of death is foreign to the Finnish ballad. The lovers united in death are not sustained by notions of the Christian world view.⁴ She differentiates between two groups of female characters. One of the groups is characterized by darkness and chaos, the other by sanctity and chastity. This classification does not coincide with the group of liminal female characters (though they would rather belong to the second class): white women, forest women and water sprites. In these characters, it is the surpassing of boundaries, the perspective of freedom that attracts men, although these same things may also frighten them. The sublimated experience of being of the liminal character becomes identical with the supernatural, with an almost divine or satanic experience, in a trance. This trance-like state is also characteristic of Arany's characters (of the suicides of *Hídavatás* the same way as of the raging revellers going crazy in *Ünneprontók*), but through the enforcement or violation of the moral law. (This also plays a role in the fate of *Ágnes asszony*, who is on the verge of going mad because of bad conscience).

However, Satu Grünthal connects ballads not only to Finnish barbaric beliefs, but to certain phenomena of 18–19th century European literature as well. The “white woman”, for instance, is a frequently recurring motif. Examples are *The Bride of Lammermoore* by Walter Scott, or *The Woman in White* by Collins. Later, the “white woman” is a constantly present phenomenon in the Finnish ballad. One of Mustapää's 1927 poems is titled *Haapsalun valkea nainen*. This tells the story of a young man forced to retire into a convent by his mother. His betrothed sneaks in to him in disguise, and they both die a terrible death as a punishment. After their death, the woman's ghost appears again and again in the window of the chapel, serving as a warning for posterity. Lassi Nummi's poem titled *Ballada* (1956) is similar to Arany's *Tengeri-hántás*. A peasant maid bears a boy from a shy and timid lad (who is, indeed, similar to Tuba Ferkó). She becomes

⁴ *ibid.* 37.

demented, and jumps into a precipice together with the child. She visits her beloved as a ghost from the otherworld, who dies of this the same way as Tuba Ferkó.

The Russian ballad was apparently a short-lived episode at the end of the 18th and beginning of the 19th century. Although earlier, one or two ballads of Karamzin or Kamenev attracted some attention, the real turning point came in 1808, when Zhukovsky's ballad titled *Ludmila* (Людмила) was published with the subtitle "Russian ballad" and the comment "on the basis of Bürger". This double orientation was needed probably because Bürger drew from German folk tradition (at least it was thought so then), while Zhukovsky emphasized the Russianness of his ballad. He changed the heroine's name to Russian, placed the events into a Russian environment, and even gave a Russian historical shade to the plot, being related to war incidents.

The key to the success of *Ludmila* is its Romantic cult of love and death (almost unknown to Russian readers then). The heroine is desperately brooding and almost longs to die because of the loss of her beloved one. Her mother warns her against the questioning of or discontent in the dispensation of Providence. The fantastic and, at the same time, dreadful ballad ends with the reunion of the lovers in the grave. A couple of years later, Zhukovsky adapts the same topic with the title *Svetlana*. This adaptation is even closer to Russian life, with even fewer fantastic or supernatural elements. Here, the apparition of the dead fiancé is just a nightmare, and the story ends happily: the cavalier returns alive and faithful to his sweetheart. The basic idea is modified again: Svetlana's fate turns out well, because she reconciles herself to the dispensation of Providence. Zhukovsky wrote ballads later as well, and even translated from Schiller, the significance of *Ludmila* and *Svetlana* (Светлана), however, did not change in the long run: from this point on, the European wave of ballads became part of the Russian hierarchy of genres that contained more and more items, and this was a prerequisite of further differentiation.

Pushkin sees *Ludmila* as being national because of its vernacular style. However, he also points out that a certain Ossian-like tone gives it a Scottish atmosphere, too. Thus, Bürger's *Lenore* was adapted to Russian with an Ossianic, Scottish etc. tone. In a similar way hoped Arany that by declaring the Scottish ballad to be an influence on him, he could counteract the German effect, and ensure the national quality of his ballad writing. It is a far-reaching process through which Pushkin created the most Russian character of the century in the person of Onegin by applying Byronic mannerisms and phrasing, therefore we do not go into details about that here. Similarly, Arany created a representative figure of the Hungarian spirit in Toldi Miklós by utilizing the ceremonial marks of the courtly epic and formulas of heroic deeds deserving praise and forgiveness.

Ludmila, however, did not only make Pushkin realize that pan-European genres are needed for the creation of a fundamentally Russian literary consciousness, but also that in *Svetlana*, national and vernacular elements are in majority. This ballad has, indeed, got a rich folkloristic basis: fortune-telling, superstitious bad omens, wedding songs etc. Katenin approached peasant life, nature and the Russian coun-

tryside even closer, thus inspiring such genuinely folkloristic ballads of Pushkin like *The Bridegroom* (*Жених*), *The Drowned Man* (*Утопленник*), or *The Bronze Horseman* (*Медный всадник*). (We should add, however, that the Russian ballad degenerates very rapidly in the 1940s) [JEZUITOVA 1989: 99].

One of Pushkin's above mentioned ballads, *The Drowned Man*, is especially worthy of our attention, since illustrative parallels are observable between this ballad, and Arany's *A hamis tanú*. (Naturally, we cannot speak of literary influence here, for it is the common characteristics of the genre that we can see, more exactly, the depth-psychological reinterpretation of archaic beliefs.) In Pushkin's ballad, the muzhik throws back the cadaver found in his fishing net in the water, but it reappears again and again:

«Есть в народе слух ужасный:
Говорят, что каждый год
С той поры мужик несчастный
В день урочный гостя ждет»

Arany's ballad ends with a clearly expressed moral message:

Az időtől fogva, mikor a hold felkel,
S a vizet behinti ezüst pikkelyekkel,
Gyakran látni Márkust – ég felé az ujja –
Mélységből kibukni s elmerülni újra.

The vision elongated to timelessness (the old Márkus in Arany's poem is similar to Ady's Disznófejű Nagyúr, and probably had been inspired by him) is ancient and modern at the same time, and its symbolic nature lends poetic validity to it.

Pushkin's most famous ballad, *The Bridegroom* (1825), tells the story of Natasha, who disappears for three days and does not give an explanation for her absence. On one occasion, when she catches sight of a young man driving a troika loftily flying past her house, she turns pale and this throws suspicion on her. This same man soon becomes a suitor for the girl, and she accepts his proposal. At the handfast, however, Natasha unexpectedly tells the story she has been withholding: she dreamt that she got lost in the woods and found a hut where a lot of gold, silver and precious treasures lay scattered about. Then, she witnessed a terrible and brutal feast of raging young men: their leader, a stalwart lad stabbed a girl to death, and then cut off one of her hands. Natasha recognizes this murderer in her bridegroom, who is immediately arrested and executed.

Tomashevsky attributes special importance to this ballad, partly because Pushkin is closely related to Russian folklore, owing to the folktales he heard from his nurse in his childhood, one of them being the story related in the above studied ballad. On the other hand, the literary evolutionary function of *The Bridegroom* is that it can be connected to the Russian ballad debate of the 1810s. This debate was about the language of Zukovsky's *Ludmila*, having said to be fanciful and affected by some (e.g. Griboyedov). Proponents of this view praised Katenin's adaptation of the story, which was more vernacular. Pushkin agreed with this opinion, and also

categorized *The Bridegroom* as “простонародная сказка” (“simple folk tale”). Tomashevsky does not hide the fact either, that there is a very similar story in the collection of the Grimm brothers (which Pushkin had probably been familiar with) [TOMASEVSKIJ 1961: 98–104].

Lermontov’s ballads from the 1830s were inspired not as much by Pushkin as by Schiller and Moore. (Lermontov created the lyrical variant of the Romantic ballad.) These literary pieces concentrate on the personality and are characterizable by features lying close to the depths of human existence, all the more because it is a well-known fact that the writer of *A Hero of Our Time* was not ahead of the Russian psychological novel, but created the genre, as a matter of fact. The poem titled *The Love of a Dead Man* (Любовь мертвеца) from 1841 is shocking for Hungarian readers, since the pondering of the young man mouldering in his grave evokes the topic of *A honvéd özvegye*. As opposed to this one, the majority of Lermontov’s ballads are, naturally, foreign to Hungarian literature, since they are related to the writer’s experiences in the Caucasus. (*Argument [Сноп] or Two Giants [Два великана]*, for example, are allegoric personifications of the immense mountain range.)

Some of the ballads are also related to popularity and folklore, like *Tamara* (Тамара), which is based on a Georgian legend (about the mysterious and cruel queen), or *The Gift of the Terek* (Дары Терека), which relates in the tone of Cossack songs and tales what kinds of things (or people) the mountain stream (later river) drifts and carries along into the Caspian Sea. In the 1829 poem, *Ballad* (Баллада), the heroine sends her suitor to bring precious stones to her from the bottom of the sea again and again. Finally, the young man does not come back anymore, because he dies in the deep. Bárczi Benő dies a similar death, trying to show the deepness of his love, in *Tetemre hívás*. In this case, the similarity is not by chance: Lermontov was working on the translation of Schiller’s *The Glove* (*Der Handschuh*) when he wrote this ballad. (The same ballad was a great influence on *Tetemre hívás* as well.)

When studying the Finnish, Russian and Hungarian literary ballad, an agreement of certain motives is inevitably observable, which adds issues of moral principles to the discussion. According to Satu Grünthal, unfaithfulness and sin always calls forth a just punishment in the realm of the Finnish ballads.⁵ The “moral justice” at work here is similar to the value system governing the world of Arany’s ballads. We can also find instances, however, in which the powers of sense and morality cease to function unexpectedly, and an ominous, archaic and unrestrainable frenzy of the mind prevails. This amoral fury sometimes takes the form of an almost diabolic temptation. Aulikki Oksanen’s 1992 poem titled *Päättömän tytön balladi* (*A határozatlan lány balladája*) is comparable to Arany’s *Az ünneprontók* from this respect.

The long-lasting productivity of the Finnish ballad into the 20th century is – at least partly – due to the fact that Finnish literary prose writing began with a considerable delay in Finland. The prolongation of the 19th century Hungarian narrative

⁵ GRÜNTAL, i.m. 35.

poetry (also resulting in the delay of the novel as a predominant genre) can serve as explanation for a cult of the ballad in Arany's poetry in the 1840s – in a period when this genre was not popular anymore in the West and Russia. One of the common features of the three literatures is that compared to the leading European literatures (the German ballad in this case), they amplify the message with a unique additional meaning through their national and folkloristic tone. (Inspiration from folklore is present in Bürger's work, too, but national consciousness is on a less developed level there.) It makes the issue somewhat more complicated that poets themselves also tend to call their ballads "folk songs" or "folk ballads", referring to their source of inspiration and not to a collective origin with that. Fowler (the greatest authority of genre history in the last third of the 20th century) differentiates between "folk ballad" and "art ballad", equating the latter one with the literary ballad [FOWLER 1982: 162], but he only provides examples from the English literature. According to him, the folk ballad had belonged to the popular genres for centuries (Fowler uses the "popular" and "folk" attributes interchangeably for the designation of the genre), until it aroused Gray's interest, and then Wordsworth and Coleridge lead it to victory in the spirit of Romanticism.

The Finnish literary ballad is sustained so long because of a special relationship between folklore and the ballad. In a culture where the main reference point is the *Kalevala* (the only European narrative poem preserved orally up to the 19th century), the place of the literary ballad, even ballads from the 20th century, is very different than in any other European literature. Aale Tynni's 1979 poem, *A hárfa balladája (Harpun balladi)*, is about three sisters who go for a walk to the river. The older, brown-haired girls kill the younger, fair-haired sister, and a tree grows out of her body at the riverbank. A young man happens to walk there, makes an instrument of the tree, and the "singing bone" reveals the identity of the murderers. Besides the epical level, this ballad has a lyrical level as well, which is about poetry. The narrator of the poem, listening to the harp, realizes that nothing is real in the surrounding world (not the wedding feast, the bridegroom or the bride), and therefore all of that becomes subsidiary compared to the world of art. Thus, the ballad departs from its Middle Age origins and form, offering intellectual and emotional experience that is quintessentially 20th century. It conveys a message that can easily be connected to tales, beliefs and symbolism by the mind of the Finnish reader receptive of such influence through the *Kalevala*, while other literatures in the 20th century attain similar contents of consciousness by adapting to the continuously renewing variants of artistic prose writing.

In Hungarian literature, the ballad became popular only with a little delay compared to western literatures, in a period when folklore was "in fashion", and not only folk songs but epic compositions were also handed on orally. „Thus, it is not surprising that the first literary ballads were written by authors interested in folk poetry, and these were Ferenc Kölcsey, Károly Kisfaludy, Mihály Vörösmarty, Gergely Czuczor and János Erdélyi” (Translation mine) [GINTLI 2010: 470]. It must also be taken into consideration that the literary ballad highlighted such an aspect of the personality, and was capable to convey such mental processes that

had not been attempted by any other genres before. As opposed to customary habitual norms, it was attracted to the exceptional and the mysterious. The ballad expressed what is irreproducible, unique and irrational in the individual – everything that did not fit in the clichés of Classicism.

Arany used this potential of the ballad as follows: on hearing that Júlia Szendrey (Petőfi's wife) was going to get married again, he composed *A honvéd özvegye*, in which the dead Hungarian soldier (Petőfi) appears for the bride dancing at the wedding feast. Bad conscience and doubts suppressed in the unconscious could not have been expressed more shockingly and concisely in psychoanalytic prose writing either, even if the genre of the German ghost ballad was considered to be rather outworn by this time. (It is also to be remembered that, on a certain level, *Harpun balladi* is also just a tale of a conflict between sisters, a murder, a younger sister transforming into "singing bones", envy and jealousy, but the tone is so poetic that the ballad becomes equal to any kind of Freudian prose adaptation).

This is where a common claim, a common function manifests itself in Finnish, Russian and Hungarian literature. When Belinsky says "We had not had Middle Ages. Zhukovsky gave them to us.", he attributes great importance to the ballad, and a similar significance should be attributed to the ballad and to the works of Arany in Hungarian literature. We did not have an oral epos (like the *Igor Tale* (*Слово о полку Игореве*) in Russia or the *Kalevala* in Finland), and not much of the mediaeval works has been preserved, still Arany carried out a reconstruction of archaic mental conceptions and poetic devices in *Ünneprontók* or *A hamis tanú*. Through these (and other similar) ballads, Arany attained a symbolism comparable to that of Ady's (*Jó Csönd-herceg előtt, Az én koporsó-paripám*); and it is noteworthy that Ady learned a lot from the French Symbolists, who followed in the wake of the German Romanticism, the German ghost ballad and especially Poe's *The raven*.

The genre system of the Finnish Modernism went through a similar transformation process, with several transitional and lyrical-epical experimentations. For instance, Eino Leino's poetry – from a certain aspect – has the same phases as that of Ady. He is inspired by the Modernists of the late 19th century as well, but never departs too far from Romanticism and the symbolism of the Finnish literary ballad (*Merenkylpijän neidot – Tengerben fürdőző lányok*). Pushkin's *The Bridegroom* is not merely a "simple folk tale" either, but a foreshadow of Tatyana's dream from *Onegin* through the love-desiring maiden's expectation for happiness and through her anxiety connected to the unknown, the feared and desired defloration that appears projected in a nightmare. Zhukovsky's heroine, Svetlana, is already „Молчалива и грустна / Милая Светлана”. This characteristic feature has a continuation in the Tatyana of *Onegin* (*Евгений Онегин*). From that time on, *Onegin* has exerted a very intensive effect on the literature of the five continents up to the present. For example, János Térey, one of the most talented among Hungarian poets appearing on the literary scene in the last two decades, has produced *Paulus*, a great sensation

of Hungarian literature at the Millennium, applying an open and obvious imitation of the formal and emotional richness of Pushkin's novel in verse.

„Folk-song-style poetry” emerges in the Korean literature in the 1910-20s, influenced by the *sosa minyo* and other literary and folkloristic genres. Poets turn against decadence and want to bring poetry closer to the people and the popular. The imitation of western models is not a primary goal anymore; a tone carrying Korean traditions is. According to the same principle, the European ballad and its Finnish, Russian and Hungarian variants did not only enrich the differentiation of genres in their own time, but also in the 20th century, living on in various forms. István Sinka, Yesenin, Lorca and Eino Leino were the most obviously inspired by the ballad, and the most important characteristic of the genre in these modern times is that it creates receptivity towards an adequate conveyance of ancient and at the same time modern contents of consciousness in a poetically and conceptually novel manner.

References

- CHO 1970: Cho Dong-il. *Sosa minyo yöngu*. Keimyung: Keimyung University Press.
- CHYUA-deuk – SYM 1971: Chyua-deuk – Sym Myung-ho. *A Comparative Study of English and American Folk Ballads and Korean Narrative Folk Songs*. Seoul: Seoul National University.
- FOWLER 1982: Fowler, A. *Kinds of Literature (An Introduction to the Theory of Genres and Modes)*. Oxford.
- GINTLI 2010: Gintli Károly. *Magyar irodalom*. Bp.: Akadémiai Kiadó.
- GRÜNTHAL 1997: Grünthal, S. *Välkkyvä virran kalvo (Suomalaisten kaunokirjallisten balladien motiivit)*. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
- HAN 1988: Han Kyn-man. *A Study of Themes in Korean Narrative Folk Songs and Anglo-American Ballads*. Ulsan: University of Ulsan.
- JEZUITOVA 1989: Иезуитова, Р. В. *Жуковский и его время / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом)*. – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние.
- LAITINEN 1981: Laitinen, K. *A finn irodalom története*. Bp.: Gondolat.
- LEACH-COFFIN 1961: Leach, M.-Coffin, T. P. (eds.) *The critics and the Ballad*. Carbondale: Southern Illinois University Press.
- LEE 2003: Lee, P. H. (ed.) *A History of Korean Literature*. Cambridge: Cambridge University Press.
- ТОМАСЕВСЗКИ 1961: Томашевский, В. В., *Пушкин, Москва-Ленинград (Томашевский Б. Пушкин: [В 2 кн.] / Отв. ред. В. Г. Базанов; АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушк. дом)*. — М; Л.: Изд-во АН СССР, 1956–1961.)

Резюме

Эволюционные функции корейской эпической народной песни и финской, русской и венгерской романтической литературной баллады

Венгерская (и, в целом, европейская) баллада со своими средневековыми или тянущимися в еще более давние времена корнями происходит вне действительности античного, греко-римского идеала красоты, гармоничного, симметричного художественного принципа. В этом смысле ее можно сопоставить с характерными чертами, напоминающими дальневосточные стихотворные жанры. Эти «варварские» черты баллады приобретают ценность и складываются в систему у немцев и англичан в эпоху романтизма, восстающего против классицизма (в 18-м и 19-м веках). В подражание им в русской и венгерской литературе баллада зарождается в начале 19-го века. В финской литературе она появляется еще позже, но остается продуктивным жанром почти до нынешних времен. Корейская эпическая народная песня (соса минъе) по своей тематике и исполнению перекликается с балладами Яноша Араня. Русские сочинители баллад (Жуковский, Пушкин, Лермонтов) содействовали обогащению русской системы жанров дифференцированным изображением человека и использованием фольклорных мотивов. В финской литературе (вследствие позднего развития прозаической эпики) литературная баллада привела к результатам, переплетающимся с модернизмом, в области переживаний природы и психологичности.

**DWIE STRONY HUMORU. POWAGA KOMIZMU W WYBRANYCH HUMORESKACH
KARLA ČAPKA I FRIGYESA KARINTHYEGO**

AGNIESZKA JANIEC-NYITRAI

Twórczość pisarską Karla Čapka (1890–1938) i Frigyesa Karinthyego (1887–1938) cechuje wiele podobieństw, zarówno ze względu na kwestie genologiczne, jak też w tematyce ich zainteresowań. Karinthy i Čapek należeli do tej samej generacji, wyrosłej jeszcze z dziewiętnastowiecznego racjonalizmu, ale doświadczonych okrucieństwami pierwszej wojny światowej, która zachwiała wiarę w postęp i pokazała niestałość i względność świata. Fascynowała ich fantastyka naukowa, kwestie granic i względności ludzkiego poznania oraz zagrożenia, którym musiał stawić czoła człowiek w procesie rozwoju cywilizacji. Obaj byli ludźmi renesansu – dziennikarzami, autorami sztuk teatralnych i opowiadań, powieściopisarzami, tłumaczami. Ich dzieła odznaczają się alegorycznością (wyraźnie widoczne jest to w sztuce *Ze života hmyzu* (1921), powstałej we współpracy Čapka z bratem Josefem, oraz w powieści Karinthyego *Utazás Faremidóba* (1915), utopijnością (Karinthyego *Capillária* (1921), u Čapka przede wszystkim w sztuce *R.U.R* (1920) i w powieści *Krakatit* (1922)), dużą dozą ironii, ale także pogłębioną refleksją filozoficzną nad zmianami cywilizacyjnym i miejscem człowieka we współczesnym świecie.

Nade wszystko jednak twórczość Čapka i Karinthyego łączy komizm, który przybiera w ich utworach niespotykane szeroką skalę rozmaitych form – u węgierskiego pisarza od parodii w debiucie literackim *Így írtok ti* (1912), poprzez dobroduszny humor ze szkolnej ławy *Tanár úr, kérem* (1916), aż po gorzki śmiech sytuacji bez wyjścia w ostatniej powieści *Utazás a koponyám körül* (1937). Podobną wielość odcieni komizmu można zauważyć u Čapka – śmiech wymierzony przeciwko ludzkiej głupocie, małostkowości i naiwności w powieści *Továrna na Absolutno* (1922), pobłażliwy uśmiech odkrywający ludzkie słabości w zbiorze felietonów *Zahradníkùv rok* (1929), czy ostrą satyrę polityczną w jego przedostatniej powieści *Válka s Mloky* (1936).

Może właśnie owo poczucie humoru, zabarwione wyraźną refleksją intelektualną, pomagające patrzeć z dystansem na świat, otwierało drogę ich twórczości do najszerszego kręgu czytelników – ich utwory były dosłownie rozchwytywane.¹ W ich utworach komizm nie stanowi celu samego w sobie, ale

¹ Na ich popularność miała bez wątpienia wpływ także wspomniana już działalność dziennikarska i to, że także swoje utwory beletrystyczne drukowali w dziennikach i czasopismach.

zawsze pełni ważniejsze funkcje – demaskuje absurdalność świata, ludzką naiwność, odsłania motywacje ludzkich zachowań, ale także, zaprawiony gorzkim sceptycyzmem, pokazuje ukryte strony rzeczywistości, a tym samym jej wielkowymiarowość i niejednoznaczność. Na ów niedoceniany aspekt swojej twórczości zwrócił uwagę Karinthy w trafnym aforyzmie, w którym piętnuje złe wykorzystywanie jego utworów, które porównuje do ziemniaków: niejadalne kwiaty i owoce (humor i żart) ludzie zrywają, a wartościowe bulwy (jego filozofię) bezmyślnie odrzucają [DOMOKOS 2003: 357].

Właśnie ową zabawność poważnego lub inaczej ujmując powagę zabawnego, czyli komizmu i jego ukryty, filozoficzny wymiar postaram się przybliżyć. Przeanalizowane zostaną wybrane humoreski ze zbiorów *Bajki a podpowídky* (1947, *Bajki i przypowíastki*) K. Čapka oraz *Az egész város beszéli* (1958, *Cale miasto o tym mówi* F. Karinthyego. Na podstawie analizy i porównania poszczególnych tekstów przedstawię mechanizmy komizmu, które autorzy wykorzystują do oddania wielowymiarowego charakteru rzeczywistości oraz dotrzeć do filozoficznego, intelektualnego przesłania, które wydaje się być w owych utworach kluczowe. W humoreskach czeskiego i węgierskiego pisarza, pierwotnie ukazujących się w dziennikach i czasopismach jako swego rodzaju komentarze rzeczywistości, da się zauważyć szczególnie istotne paralele. Wskazują one na istnienie duchowego i intelektualnego pokrewieństwa obu autorów, i – co mam nadzieję uda mi się dowieść – jeszcze dobitniej niż zarysowana wyżej bliskość gatunkowa czy tematyczna przybliżają atmosferę intelektualną międzywojennej Europy Środkowej, niezwiązaną bezpośrednio z charakterem poszczególnych literatur narodowych. Najpierw opiszę formalną stronę humoresek obu autorów i główne rysy ich konstrukcji, a później skoncentruję się na ich podobieństwie tematycznym, co będzie stanowiło punkt wyjścia do rozważań nad komizmem poszczególnych tekstów i wykorzystaniem go do opisu zjawisk poważnych.

Pierwszą cechą, która łączy humoreski obu autorów jest konfrontacja zwykłości, codzienności, nawet pewnej trywialności z czymś niezwykle, fantastycznym, wręcz cudownym. Oczywiście staje się to źródłem komizmu, w tym wypadku komizmu kontrastu. Podstawową właściwością bodźców humorystycznych, na co zwrócił uwagę już Arystoteles, którego teorię rozszerzył Kant, jest inkongruencja, czyli niespójność, polegająca na tym, że dochodzi do „zaprzeczenia wytworzonego oczekiwania w wyniku pojawienia się niespodziewanego zjawiska, będącego mało prawdopodobnym” [KUCHARSKI 2009: 20]. Owa konfrontacja opozycji, dwóch kontradiktoryjnych zjawisk, demaskująca ich niespójność, znajduje zazwyczaj u obu autorów dwie możliwe realizacje:

1. Do sytuacji absolutnie trywialnej i codziennej przenika nieoczekiwane element niezwykle i zmienia diametralnie pierwotną sytuację.
2. Sytuacja niezwykle i nieprawdopodobna jest punktem wyjścia dla historii całkowicie codziennej, przewidywalnej i schematycznej.

Przywołajmy kilka przykładów, by lepiej zilustrować schematy fabularne, o których jest mowa. Przykładem realizacji pierwszego z nich mogą być następujące humoreski: *Gloria* Čapka – doświadczony urzędnik bankowy, zbesztany za błąd, którego nie popełnił, wspaniałomyślnie wybacza zdenerwowanemu szefowi i nie zdradza mu, kto jest za niego odpowiedzialny, by nie pogrzyść kolegi; otrzymuje (za to) w zamian z nieba nieoczekiwany dar – aureolę, która świeci nad jego głową aż do momentu, kiedy zwyciężają w nim negatywne, prymitywne uczucia nienawiści do ludzi; *Cud na boisku* Čapka, gdzie autor zarysowuje codzienną sytuację meczu międzyszkolnego, podczas którego, pod wpływem żarliwej modlitwy jednego z fanów, zaczynają dziać się cuda a piłka zawsze, bez względu na to, kto ja kopnął, zmierza do bramki przeciwnika; owa magia zostaje przerwana w momencie, kiedy fan zaczyna się modlić o „bardziej prawdopodobny” cud, „targować się” z Bogiem i stawiać konkretne warunki; *Spotkanie* Karinyego, opisujące sztampowe spotkanie po latach dwojga kochanków, którzy okazują się być (dwoma) owadami, wyposażonymi w kilkanaście par nóg.

Drugi schemat narracyjny, gdzie dochodzi do konfrontacji cudowności z trywialnością, jest wyraźnie realizowany w humoresce *Diabel* Čapka: w trzecim akcie opery Dvořáka *Diabel i Kasia* pojawia się nieoczekiwanie prawdziwy diabeł, prezentując widzom swój kunszt taneczny, co jednak nie spotyka się z entuzjazmem większej części widowni, która uznaje niecodzienne przedstawienie za beczeszczenie opery mistrza i demonstracyjnie odmawia aplauzu. *Mężczyzna, który potrafił fruwać* Čapka, to humoreska opowiadająca o niezwykłym darze latania, który znika pod wpływem małostkowego badania „fachowca”, niebędącego w stanie ów cud pojąć i zaakceptować; *List z kosmosu* Karinyego, w formie pamiętnika przybliżający przygody Marsjanina, który ląduje na Ziemi, by wkrótce popaść w długi i stać się „człowiekiem”, ze wszystkimi ludzkimi przywarami; *Historia* Karinyego, związana z fenomenem podróży w czasie, podczas której jeden z bohaterów – uczestnik pierwszej wojny światowej – przeniesiony do XXI wieku nie jest w stanie odpowiedzieć podczas egzaminu maturalnego na pytania dotyczące okresu, w którym żył; *Maj* Karinyego: podczas rozmowy w prosektorium trupy nieszczęśliwych samobójców prowadzą dysputę dotyczącą bezsensu samobójstwa (na końcu okazuje się, że każdy z nich zabił się przez tę samą kobietę, a ten, którego wybrała, także zmarł śmiercią tragiczną).

Istnieje także mniej liczna grupa utworów, stanowiąca mutację dwóch wspomnianych – sytuacja trywialna jest ożywiona elementem fantastycznym, by na koniec zwyciężyła codzienność i ludzka małostkowość. Przykładem może być humoreska *Casus prawny* Čapka – nieostrożny kierowca wjeżdża w tłum żałobników, z trumny wypada nieboszczyk, który cudem zmartwychwstaje, by następnie na drodze sądowej żądać od swego „wybawcy” rekompensaty za poniesione szkody moralne, związane z nieoczekiwanym zmartwychwstaniem.

Podobne rozróżnienie, które jest bezpośrednio powiązane z pierwszym, można zastosować do typologii bohatera humoreski: na jednej stronie w humoreskach

występują absolutnie schematyczne postacie, niewyróżniające się niczym szczególnym: pracownicy banków, taksówkarze, fani piłki nożnej, nieostrożni kierowcy – konkretne typy społeczne, wyposażone w cechy tuzinkowe. Schematyzm postaci jest jednak w większości przypadków zręcznie naruszany, powoli rozbijany: urzędnik bankowy otrzymuje aureolę, nieostrożny kierowca potrafi wskrzeszać z martwych, fan piłki nożnej zyskuje paranormalne zdolności teleportacji przedmiotów, niczym niewyróżniający się człowiek zaczyna latać, itd. Do drugiej grupy należą postacie niezwykle, niespotykane, niezemskie: diabełek tańczący przed widownią, nieboszczycy, którzy mówią, Marsjanie, dziwne owady, teleportujący się w czasie człowiek. Jednocześnie postaci te, wyposażone w cechy nieludzkie i nadludzkie, są powoli przytłaczane trywialnością, nieboszczycy prowadzą sztabową dyskusję o niewiernej kochance, Marsjaninowi zaczyna doskwierać brak pieniędzy i musi zacząć pracować na swoje utrzymanie, człowiek teleportujący się w czasie zostaje podczas egzaminu maturalnego ośmieszony przez profesora itd. Właśnie w owym aspekcie połączenia fantazji z realnością widać wyraźnie, że i Čapek i Karinty są przede wszystkim humorystami, a później dopiero satyrykami, co pozostaje w zgodzie z rozróżnieniem proponowanym przez Halinę Sawecką:

„Tam jednak, gdzie satyryk trzyma się rzeczywistości, humorysta ucieka w wyobraźnię [...]. «Medytuje», rzec by można, nad człowiekiem i jego egzystencją w atmosferze cudowności, nie rezygnując bynajmniej z uważnej i pogłębionej obserwacji rzeczywistości.” [SAWECKA 1994: 25].

Trzeba jednak zauważyć, że u niektórych autorów humoreska może zawierać także nuty satyryczne i pamfletowe [VARGOVÁ 2011: 2010].

Do konfrontacji schematyczności z elementami fantastyki obaj autorzy wykorzystują także przestrzeń. Zazwyczaj przybiera ona postać przestrzeni małomiasteczkowej, typowej dla humoreski, której rozkwit przypadł na wiek XIX. Akcja rozgrywa się w specyficznym środowisku – środowisku drobnych urzędników, taksówkarzy, małomiasteczkowych lekarzy, co pozostaje w kontraście z nieoczekiwanym zwrotem akcji, pojawieniem się elementów cudowności, magii. Jednocześnie ów kontrast, zderzenie światów wykluczających się, nie jest przykry i nieprzyjemny, jest to bowiem kontrast intensywny, ale chwilowy, co, jak podkreśla Julian Krzyżanowski, nie wywołuje zbyt silnego wstrząsu [KRZYŻANOWSKI 1949: 563].

Według odkrywczej teorii Henriego Bergsona śmiech jest wywoływany przez to, co mechaniczne, stereotypowe, wciąż się powtarzające [BERGSON 1977: 76]. Teoria komizmu Bergsona zainteresowała młodego Čapka na tyle, że w roku 1914 w czasopiśmie „Přehled” opublikował dłuższą recenzję eseju *Śmiech*, w której zgadza się z głównymi założeniami francuskiego filozofa i jego tezy uważa za odkrywczę [ČAPEK 1984b: 395–396]. W analizowanych humoreskach (czeskiego i węgierskiego autora) automatyzm i schematyzm wywołują efekt komiczny na dwa sposoby: pewnemu schematyzmowi oczekiwać podlega sam czytelnik, który zostaje wyrwany nieoczekiwaną zmianą sytuacji z własnego skostnienia i sam

śmieje się z własnej łatwowierności, a komizm zautomatyzowanego świata trywialnych czynności, wykonywanych przez ludzi-marionetki jest zarówno u Čapka jak u Karinthego, rozbijany przy pomocy elementów magii i bajkowości.

Ożywczemu przewartościowaniu śmiechem są jednocześnie poddawane pewne ustalone motywy i gatunki literackie. Humoreska o Marsjaninie parodiuje literaturę popularnonaukową, dialogi nieboszczyków o niewiernej kochance – elementy literatury popularnej dla kobiet. Literatura popularna z całym inwentarzem swoich stereotypowych motywów i schematów fabularnych staje się dla obu autorów inspiracją, a w zderzeniu z bajkowością i niecodziennością schematy zostają rozbite przy pomocy humoru.

Jeśli przyjrzymy się analizowanym humoreskom z punktu widzenia komizmu, jasne będzie, iż obaj autorzy wykorzystywali stopniowanie napięcia, by zakończyć utwór błyskotliwą pointą, albo celowo konfrontować dwie absurdalne sytuacje, wysokie z niskim, trywialne z patetycznym. Wspomniana już teoria niezgodności (zwana inaczej teorią niespójności lub inkongruencji) w połączeniu z teorią kontrastu najlepiej wskazują na istotę komizmu u Čapka i Karinthego, humor rodzi się bowiem właśnie z głębokiego rozdzwiewku między formą a treścią, z zestawienia obok siebie elementów nie pasujących do siebie [LINDVALL 2001: 263]. Dzięki niezgodności, oprócz osiągnięcia efektu komicznego, zostaje odślonięta wieloznaczność świata. Z owej niekoherencji, rozdzwiewku i wewnętrznego rozdwojenia każdego elementu rzeczywistości może powstać zarówno śmiech jak i płacz, które, podobnie jak komizm i tragizm, mogą sąsiadować ze sobą, nie wykluczając się. W jednym ze swoich wczesnych artykułów Čapek zestawia właśnie elementy tworzące przeciwieństwa, które, pozostając w ciągłej interakcji, wywołują efekt komiczny: głupota oblekająca się w gronostaje, patos w kostiumie Arlekina, włos w zupie powagi, rzeczywistość w krzywym zwierciadle [ČAPEK 1984a: 51]. Każda rzecz poważna i niepoważna nosi w sobie zarodek własnej negacji, wystarczy popatrzeć na nią z innej perspektywy, odwrócić ją do góry nogami, zbadać przez odpowiednio silną soczewkę mikroskopu, zestawić ją z inną rzeczą, by otrzymać nieoczekiwany efekt. Wcześniej czy później żaden element świata przedstawionego nie oprze się takim zabiegom. Szczególnie u Čapka, ale także u Karinthego, widać wyraźnie mechanizm prezentowania rzeczywistości w dwóch dopełniających się aspektach, na co zwróciła uwagę Hájková – opozycje są pokazane przy pomocy różnych form, tworzą jedność, a za chwilę zostają skontrastowane, a efekt ten jest osiąganym poprzez ironię, paradoks, grę między realnością i fantastycznością, śmiech gorzki i śmiech jowialny [Hájková 1988: 261].

Przeciwstawne sensory, przedstawiane jako jedność, wzbudzają śmiech:

„Wszystko, co niewspółmierne – wielkie pochody, olbrzymie wysiłki, które prowadzą do punktu wyjścia, napięcia, które kończą się niczym, gesty i postawy, które nie pokrywają swojej pustoty – w przeważającej mierze wywiera efekt komiczny.” [PLESSNER 2004: 86].

Jednocześnie pod powierzchnią śmieszności, komizmu czai się relatywność świata i każdego jego elementu. Artur Schopenhauer widział przyczynę śmiechu w rozbieżności między wyobrażeniem a rzeczywistością:

„Śmiech powstaje za każdym razem nie inaczej niż z powodu nagle uprzytomnionej rozbieżności między jakimś pojęciem i realnymi przedmiotami, które pomyślano sobie w jakimś związku, i sam jest tylko wyrazem tej rozbieżności.” [SCHOPENHAUER 1995: 128].

Jest to również związane z kontrastem i antynomicznością, które zdają się być udziałem każdej rzeczy subiektywnie poznawanej przez człowieka. Mechanizm ten wyjaśnia Władysław Chłopicki:

„jeden, dwa lub więcej przedmiotów widzi się najpierw przez pryzmat pewnego pojęcia, a potem staje się oczywiste, że pojęcie to można zastosować w stosunku do nich tylko z bardzo jednostronnego punktu widzenia.” [CHŁOPICKI 1995: 10].

Stopniowo dochodzi do odkrywania względności świata i jego niedefiniowalności w sposób jednoznaczny i skończony.

W dwóch humoreskach, inspirowanych środowiskiem prawników, widać najwyraźniej względność ludzkich czynów. Jednocześnie rysuje się w nich widoczne pokrewieństwo tematyczne. Čapek w tekście *Kiedy sądzić będą dyplomaci* wraca do jednego z kluczowych dla swojej twórczości motywów, który inspirował go wyraźnie w *Księdze apokryfów* czy trylogii noetycznej – czy istnieje tylko jedna prawda, czy też posiada ona wiele wersji. W przypadku tekstu ze zbioru *Bajki i przypowiadki* motyw ów doczekał się nowej, interesującej realizacji. Wydawałoby się jednoznaczny przypadek morderstwa na tle rabunkowym dzięki konsekwentnemu relatywizowaniu podczas procesu sądowego staje się niejednoznaczny i prawda rozplywa się w coś nieokreślonego. Autor, w sposób komiczny, ale niepozbawiony tonów ironicznych, pokazuje mechanizm systematycznego relatywizowania określonych, obiektywnie istniejących sytuacji, by w końcu doprowadzić całą sytuację do absurdu. Podobny schemat fabularny pojawia się w humoresce *Vallomások (Zeznania)* Karinthyego.

W pierwszym zeznaniu sprawca jednoznacznie przyznaje się do winy – uduszenia znajomego w celach rabunkowych, by w kolejnych zeznaniach wycofywać się, co na końcu prowadzi do stwierdzenia, że ofiara udusiła się właściwie sama. W obu utworach funkcję komiczną pełni język, który pomaga na tyle zagmatwać rzeczywistość, iż rozwarstwia się ona i staje się niekoherentna. Każda prawda może oznaczać, przy odpowiedniej manipulacji, swoje własne przeciwieństwo. Efekt ten osiągają obaj autorzy używając hiperbolizacji, która jest doskonałym środkiem do zdemaskowania mechanizmów rządzących światem i jego względności. Pozostaje to w zgodzie z definicją humoru, według której jego istotę stanowi:

„względne piękno i względne dobro i zadaniem humorysty jest wykrywanie ich pod grubą warstwą różnych wad, to jest tam, gdzie wedle ogólnie przyjętych pojęć wartości tych nie powinno być.” [DZIEMIDOK 1967: 98].

Oczywiście kwestia relatywizowania wżytych schematów przy pomocy słowa interesowała Čapka nieustannie, co widać szczególnie na przykładzie wspomnianych apokryfów, które powstawały na przestrzeni niemal dwudziestu lat (1920–1938) [BARIAKOVÁ 2011: 298–300]. Prawdy można szukać tam, gdzie na pozór jej nie ma, ale też może jej nie być tam, gdzie wydaje się oczywista.

Čapek i Karinthy ośmieszają także rozdźwięk między teorią a praktyką, podając w wątpliwość nieomyślność odkryć współczesnej wiedzy, szczególnie psychoanalizy i psychopatologii, które, nieodpowiednio używane albo nadużywane, prowadzą do absurdalnych wniosków. U Karinthyego w humoresce *Studiuje psychopatologię* młody adept medycyny, zafascynowany anomaliami ludzkiej psychiki, udaje się do szpitala psychiatrycznego, by sprawdzić swoje umiejętności w praktyce. Podczas jednej z rozmów bezbłędnie, zdawałoby się, dopasowuje objawy chorobowe do konkretnego przypadku, by na końcu dowiedzieć się, że rozmawiał nie z pacjentem, ale z pielęgniarzem, niezadowolonym ze swoich zarobków. Čapek natomiast wykorzystał analizę snów w humoresce *Józef z Egiptu, czyli o interpretacji snów według Freuda*, tworząc absurdalny apokryf, w którym biblijny Józef rysuje przed faraonem interpretację snów zdradzającą jego ukryty homoseksualizm, kazirodcze skłonności i kompleks Edypa, co oczywiście „naukowo” – punkt po punkcie – udowadnia przerażonemu władcy. Komizm jest osiąganym w obu przypadkach przez hiperbolizację rzeczywistości i pokazanie absurdalności ludzkiego pojmowania świata. Ludzie zbyt kurczowo trzymają się z góry przyjętych założeń i dochodzą do błędnych wniosków. W obu przypadkach jest to zjadliwa satyra na teoretyzowanie, pozbawione racjonalnych przesłanek. Autorzy obnażają ludzką głupotę i łatwowierność, ponieważ człowieka da się bardzo zręcznie zmanipulować odpowiednio podaną teorią, nie biorąc pod uwagę złożoności świata. Każdy element rzeczywistości, jak było wcześniej wspomniane, nosi w sobie pewien „haczyk”, potencjalną możliwość swego własnego przeciwieństwa, zarodek ułudy. Wielkie teorie są podatne na manipulację, a w momencie odkrywania owej manipulacji – pustki, pozorów, nicości – pojawia się bardzo często śmiech, który sam w sobie jest względny, ponieważ łączy w sobie radość odkrycia i smutek poznania prawdy [CHŁOPICKI 1995: 6].

Kluczem do zrozumienia ukrytej warstwy humoresk Čapka i Karinthyego wydają się być dwa teksty, w których pojawiają się wątki charakterystyczne dla Čapka. Co ciekawe, u Karinthyego zaskakuje podobieństwo motywów. Są to teksty nietypowe i jeśli chodzi o przynależność gatunkową niepasujące do tradycyjnego pojmowania humoreski, ale ich pojawienie się w polskich zbiorach humoresk trudno uznać za przypadkowe. Čapek w tekście *O wyobraźni* snuje rozważania o wielości możliwości, które tkwią w człowieku i nie zostają realizowane (na marginesie – to jeden z kluczowych tematów jego twórczości). Podobne motywy znaleźć można przede wszystkim w powieści Čapka *Zwyczajne życie* (1934), w której „zwyczajny” kolejarz nosi w sobie wiele osobowości, którym niedane było się rozwinąć. Człowiek jest wciąż niezrealizowaną możliwością. Wszystko, co ludzi otacza, jest wielowarstwowe i niedokończone. Egzemplifikację

tej tezy znaleźć można właśnie w tekście *O wyobraźni*: obserwacja bawiących się w piaskownicy dzieci pokazuje, że dziecięcy świat jest wielowymiarowy właśnie dlatego, iż dzieci nie stłumiły w sobie miliona możliwości, które w nich tkwią. Chłopiec może być żołnierzem, pilotem, lekarzem, by w jednej chwili stać się pogromcą zwierząt czy strażakiem. Piasek, w którym bawią się dzieci, staje się świetnym budulcem zamku, ale także można z niego piec racuchy lub sprzedawać na wagę, jak cukier i mąkę. Oczywiście najistotniejszą rolę odgrywa we wszystkim nieograniczona ludzka wyobraźnia. Każdy element rzeczywistości zyskuje nowe kształty i nowe zastosowanie właśnie pod wpływem kreacyjności patrzącego, który potrafi mocą wyobraźni zmieniać płaski i nudny świat w najciekawszy obiekt badań. Rzecz sama w sobie pozostaje jednakowa, zależy tylko, kto na nią patrzy.

Zbliżony motyw wykorzystuje węgierski pisarz w tekście *Pole*, który również, podobnie jak w przypadku omówionego utworu Čapka, trudno zakwalifikować jako humoreskę. Pod wpływem innej percepcji każdego z patrzących pole staje się dla generała wspaniałym miejscem do manewrów wojskowych i do rozegrania bitwy, dla kupca źródłem dochodów, dla malarza inspiracją do powstania nowego obrazu, a dla poety obiektem refleksji nad pięknem świata. Postrzeganie rzeczywistości nie jest zależne od obiektywnie istniejących elementów, ale od tego, kto patrzy i w jaki sposób owe elementy interpretuje. Identyczny mechanizm został przez Čapka uchwycony w powieści *Meteor* (1934), gdzie losy bezimiennego, nieprzytomnego po katastrofie lotnika czytelnik poznaje poprzez cztery niezależne od siebie interpretacje.

Jak zauważa Halina Sawicka, humorysta często skłania się do wyłaniania aspektów tragicznych, skrywających się za aspektami śmiesznymi, posiada więc wyostrzone poczucie względności rzeczy [SAWICKA 1994: 25]. Obaj autorzy, dzięki zestawieniu elementów paradoksalnych, niepasujących do siebie, obnażają względność i niejednoznaczność świata, jego relatywność. Prosty urzędnik może być jednocześnie przykładem do naśladowania, urzędnikiem w aureoli, w nieuważnym szoferze drzemie siła wskrzeszania z martwych. Prawda i rzeczywistość okazują się wielowarstwowe, w ostatnim momencie jedno zdarzenie potrafi zmienić wydźwięk całej historii i odwrócić całkowicie jej przesłanie. W każdym elemencie rzeczywistości czai się możliwość innej interpretacji, która otwiera różne drogi i eliminuje jednoznaczność. Jest to oczywiście także okazja do wielu nadużyć, z czego autorzy zdają sobie sprawę.

Wydawać by się mogło, że w gatunek humoreski wpisane są ograniczone możliwości w zakresie konstrukcji intelektualnego przesłania. Ale jednak humoreska obnaża istotę świata. Czyni to jakby przy okazji, bez wielkich słów i zbędnych dywagacji, demontując monolityczną wizję rzeczywistości i pokazując rozmaite meandry życia. Dlatego w przypadku Karinthego, ale także Čapka, trudno wskazać (na)granice pomiędzy humorystą a filozofem. W ich twórczości humor i głębsza refleksja przenikają się wzajemnie [DOMOKOS 2003: 363]. Rozdźwięk między ludzkim planem a jego realizacją, między życzeniem a spełnieniem, można oczywiście określić jako komizm sytuacyjny, ale w rzeczywistości dysonans ten, na głębszym poziomie, odsłania absurdalność

ludzkich czynów, ludzką bezbronność i niemożność ucieczki od przypadku, który jest w stanie przekreślić najbardziej pieczołowicie opracowane plany. Humoryści wszak, poprzez dostrzeganie złożoności zjawisk komicznych, potrafią ową złożoność ocenić i oddać za jej pośrednictwem wielopłaszczyznowość świata:

„Humorysta tedy, widząc jakości ujemne zjawiska komicznego, widzi jednocześnie lub wie, że splecione są nierozłącznie z jakościami dodatnimi i na zasadzie tego właśnie dualizmu akceptuje on dostrzegany lub znany sobie ich kontrast jako coś naturalnego” [KRZYŻANOWSKI 1949: 566].

Dysonanse i absurd ludzkich poczynań nie są źródłem frustracji i cierpienia, Čapek i Kariny tylko stwierdzają ich istnienie.

Utworki Čapka i Kariny uczą przyjmować świat w całej jego wielorakość i niejednoznaczność, uczą dziwić się światu, ale jednocześnie akceptować jego niełatwą złożoność. Odwołują się do znanych wszystkim prawd, by za chwilę wykić ich schematyzm i zarysować inne możliwości interpretacji. Odwrócenie perspektywy ożywia skostniałą powagę świata, fałszywa monumentalizacja zostaje naruszona i zaczyna przeważać sceptycyzm. Komizm staje się w ten sposób jednym z podstawowych sposobów estetycznego osvajania rzeczywistości [HÁJKOVÁ 1988: 260]. Skostnienie, automatyzm są rozbite i unieszkodliwione przy pomocy wielorakiej perspektywy humoru. Tym samym humoreski Kariny i Čapka wpisują się w bogatą tradycję utworów, w których

„humor polega nie na tworzeniu kombinacji fantastycznych, nie na grze wyrazów, ale na sumiennym oglądaniu rzeczy przynajmniej z dwu stron: dobrej i złej, małej i wielkiej, ciemnej i jasnej” [GARCZYŃSKI 1989: 19].

Humoreski zawierają więc swoistą interpretację świata, pokazują względność śmiechu i powagi, względność prawdy i ograniczenia ludzkich możliwości percepcji. Humor jest sposobem postrzegania świata, jak definiował go Čapek w kontekście humoru Jaroslava Haška [ČAPEK 1986: 669], i nie ogranicza się w żadnym wypadku wyłącznie do rzeczy w istocie swej zabawnych. W twórczości Čapka i Kariny jest właśnie odwrotnie – poprzez humor odkrywane są rzeczy poważne, a śmiech, jak zauważa Mátyás Domokos, jest środkiem do odkrywania prawdy i pełni u Kariny, ale także u Čapka, przede wszystkim rolę odkrywco-poznawcze [DOMOKOS 2003: 363].

Literatura

- BARIAKOVÁ 2011: Bariaková, Z., Problém relativity slova alebo zápas so slepými silami života. [w]: Śmiech, slzy a svet komiky (ed. I. Jančovič). Banská Bystrica.
- BERGSON 1977: Bergson, H., Śmiech. Esej o komizmie. Kraków.
- ČAPEK 1984a: Čapek, K., O humoru. [w]: O umění a kultuře I. Praha.
- ČAPEK 1984b: Čapek, K. Henri Bergson: Das Lachen // O umění a kultuře I. Praha.
- ČAPEK 1986: Příspěvek v anketě – Co je pro vás Jaroslav Hašek. // O umění a kultuře III. Praha.
- ČAPEK 1983: Čapek, K., Bajki i przypowiadki. Katowice.
- CHŁOPICKI 1995: Chłopicki, Wł., O humorze poważnie. Kraków.

- DOMOKOS 2003: Domokos M., A humor a teljes igazság. Karinthy Frigyes karcolatairól. // A humor a teljes igazság. In memoriam Karinthy Frigyes. Budapest.
- DZIEMIDOK 1967: Dziemidok, B., O komizmie. Warszawa.
- GARCZYŃSKI 1989: Garczyński, S., Anatomia komizmu. Poznań.
- HÁJKOVÁ 1988: Hájková, A., Čapkův humor. [w]: Kniha o Čapkovi (red. Š. Vlašín). Praha.
- KARINTHY 1981: Karinthy F., Całe miasto o tym mówi. Warszawa.
- KRZYŻANOWSKI 1949: Krzyżanowski, J., Komizm w literaturze. // Studia z dziejów kultury polskiej (red. H. Barycz, J. Hulewicz). Warszawa.
- KUCHARSKI 2009: Kucharski, A., Struktura i treść jako wyznaczniki tekstów humorystycznych. Lublin.
- LINDVALL 2001: Lindvall, T., Zaskoczeni śmiechem. Warszawa.
- PLESSNER 2004: Plessner, H., Śmiech i płacz. Badania nad granicami ludzkiego zachowania. Kęty.
- SAWECKA 1994: Sawecka, H., Humor i satyra: paradoks humorysty. // Humor europejski. (red. D. Bertraud, T. Stróżyński). Lublin.
- SCHOPENHAUER 1994: Schopenhauer, A., Świat jako wola i przedstawienie, t. 2. Warszawa.
- VARGOVÁ 2010: Vargová, Z. Humor a satira v prozaické tvorbě Jozefa Miloslava Hurbana. // La culture comme phénomène de l'identité nationale. Kultura jako fenomén národně identity. Paris.

Abstract

The Two Sides of Humour The Seriousness of Humour in Selected Humoresques by Karel Čapek and Frigyes Karinthy

The paper deals with two collections of humoresques written by the Czech writer Karel Čapek and the Hungarian writer Frigyes Karinthy. Both collections are analysed and compared from philosophical and humorous points of view. In the first part the author tries to identify the primary features in the construction of Karinthy's and Čapek's humoresques, then she focuses on the main topics which inspired both authors. The author also tries to describe the different types of humour used by both writers (irony, parody, humour of contrast etc.) Both authors employ comic elements to depict the complex nature of reality. Humour in Karinthy's and Čapek's humoresques is not the main goal, but only a way to contemplate the relativity of truth, beauty and every element of a human's life. This is the deeper philosophical level of Karinthy's and Čapek's humoresques analysed in the paper.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

**ТАТАРИТЕ В ПОЛША: ВЪПРОСИ НА ЕТНОКОНФЕСИОНАЛНАТА ПАМЕТ
(ЧАСТ I)**

ВЕНЕТА ЯНКОВА

Gdzie moja szabla, mój koń.

Musa Czachorowski

Постмодерността артикулира идентичността като променлива, гъвкава, непостоянна и – конструирана според собствения избор на индивида. За това изложение е съществен акцентът, че културната идентичност се създава и функционира в две измерения: *диахронно*, насочено към поддържане на чувство за времева цялост и свързаност (“the sense of time continuum”) и *синхронно*, самопредставяне в контекста на отношенията с другите и със средата [по: WIENKOWSKA-PTASZNIK, 2008: 82]. Както изтъква А. Коен: “Cultural identity also entails a patrimoine and a history, or the acknowledged need to create these” [COHEN 1993: 197]. Ето защо в последната четвърт на XX век, фокусираща изследователското внимание върху дискурса на идентичността и в частност – на етническата идентичност, свързана с т. нар. „етническо възраждане“ (“revival of ethnicity”),¹ се отбелязва и нарастване на значението на многоаспектни релации с миналото (история, памет, традиция, наследство) [NOVAK 1971; HARTMAN 1972; NAGEL 1994]. Независимо от различните познавателни нюанси, които всеки от тези концепти съдържа, несъмнена е тяхната значимост при самоидентификацията на индивида и особено – на групата.

Достатъчно богат познавателен ресурс в тази сфера може да се открие в конкретния емпиричен случай от живота на една етноконфесионална група – тази, на татарите в Полша. До днес полските татари съхраняват и развиват уникална по своята същност култура, която ги отличава от местната славяно-езична култура, с която тя се намира в постоянно взаимодействие. На естествените процеси на акултурация и асимилация (езикова и културна) се противопоставят религията и религиозните кодове на културата. Полският пример от татарската ислямска традиция е показателен за ролята, която религията играе за консолидацията и за съхраняването на общността. Това по-скоро

¹ Феномени като „раса“, „етничност“ и „нация“ се считат за най-значимите социално-политически и културни движения в модерните времена [HARTMAN 1972; BRUBAKER et al. 2004: 52–53].

е репрезентативна за общността, „религия – памет“ и „религия – съпротива“ против асимилацията [АСМАН 2001: 213, 197]. Заедно с това през последното столетие се формира специфично отношение към татарското минало на полска земя, което има основополагащо значение при поддържането на общностната идентичност. Както обобщава в интервю С. Хазбиевич, един от съвременните лидери на татарската общност в Полша: “Tatars in Poland survived mainly due to their religious tradition, but also due to the fact that their ethnic self-identification focused on a military and historical tradition. Apart from that, they took great care in the survival of the group, that is, by choosing to marry within the group.” [SZEWCZYK 2009].

Това определя и основните цели и задачи² на изложението по-нататък, обусловени от когнитивния потенциал на концепта памет [АСМАН 2001, НУТТОН 1993]. В него ще бъдат поставени два основни акцента: Първият, на *религиозната памет*, нейната обвързаност с етничността и нейната значимост за запазването на общностната идентичност. Вторият акцент е насочен върху отношението на полските татари към миналото, т. е. към *историческата памет* и тяхната интерпретация на историята (етноистория)³. И макар през последните години да е натрупан значителен емпиричен материал, недостатъчно внимание все още е отделено на дискурса на: устната история, историческата памет, мястото и ролята на историческото познание при формирането и при поддържането на идентичността – в миналото и днес. Без да има амбицията за всеобхватност на материала, настоящето изложение би трябвало да се мисли като опит за попълване на тази недостатъчност от етнологическо-антропологически позиции.

А. Татарите в Полша – историко-демографски подстъп

Татарите имат почти 600 годишна история в тази част на Европа.⁴ Днес те представят форма на типична историческа диаспора, т. е. – на изграден първоначален анклав, а в последствие – диаспорна общност, съществуваща

² Текстът е резултат от индивидуален изследователски проект и непосредствена теренна работа, проведена през септември 2011 в областта Подласие (Бохоники, Крушиняни, Сокулка, Бялисток). Искам да изразя своята благодарност за помощта на д-р Ал. Мишкиевич (Университет в Бялисток), д-р Ал. Боровска (Университет в Бялисток) и на Ибоя Такач (Дебреценски университет).

³ Обект на втората част от изследването, която се насочва към татарските образи в историографията, устната история и съдебните документи и търси проявленията на историческата памет и ролята ѝ за съхранението на татарската идентичност в миналото и сега.

⁴ Представеният текст е част по по-голямо изследване, а наблюденията в него се ограничават до процесите сред татарската общност, живееща днес на територията на съвременна Полша. Тяхното установяване по тези земи е свързано с период от историята на Великото Литовско княжество (ВЛК) (края на XIX – началото на XV век), федерация между Литва и Полша.

в християнски културен и религиозен контекст⁵. Ето защо към нея обикновено се прилага изследователски инструментариум, изтъкващ: малцинствения характер по отношение на доминиращото мнозинство; протекли/протичащи процеси на асимилация, акултурация, но и – на съхраняване на общностната принадлежност. Напоследък се появяват показателни изследвания върху: характерната идентичност на полските татари, условията за нейното съхранение и промяна през вековете, както и за съотнасянето ѝ със съвременни проявления на исляма в Европа [WARMIŃSKA 2009; GÓRAK-SOSNOWSKA 2011].

Масово заселване на компактно татарско население на територията на Великото литовско княжество се свързва с управлението на княз Витаутас (Витолд) Велики (1392–1430), който ги привлича на своя страна като военно-охранителна сила за укрепване на държавната граница и за нейната защита срещу врагове (military service). За изпълнение на военните си задължения татарите получават земя и религиозни свободи – възможност за свободно вероизповедание, да строят джамии, да запазят религиозно самоуправление и да предават исляма на своите наследници от смесен брак.⁶ На територията на сегашна Полша, в областта Подласие (Podlasie) татарите се заселват по времето на крал Ян III Собеский през 1679 г. Предполага се, че през XVII век числеността на преселниците достига до 40 хиляди, като сред тях има най-вече доброволни мигранти. Това влияе на социалното им разслоение. Това са обикновени хора и военен елит, който – като васален на владетеля – получава привилегии: да владее земя, да притежава работници за нейното обработване, да бъде удостоен с благороднически титли и да се числи към дворянското съсловие на обществото. [ГУДАВИЧУС 2005: 374–375; JAKUBAUSKAS et al.: 19–20]. Религиозната самостоятелност, компактното установяване, първоначалното запазване на родовите връзки и във военната организация⁷ – са важни предпоставки за формирането на татарската общност на полска земя в епохата на късното средновековие.

Най-напред е необходимо да се очертаят основните фактори (исторически, идеологически, политически и социо-културни) от регионален и от по-общ характер, които днес оказват въздействие върху различни аспекти от живота на татарите в Полша, в този смисъл – и върху колективната памет и върху процесите на индивидуална и общностна идентификация:

⁵ Тук се приемат най-общите социо-културни характеристики за диаспора според анализите на SAFRAN 1991, СОНЕН 1997 и VERTOVES: „социална форма“, „тип съзнание“ (включващо аспектите на: културна памет, съзнание за двупосочност „тук и там“) и „начин на културна репродукция“ [VERTOVES 2000].

⁶ Тези права и привилегии имат различни конкретни реализации през различните епохи.

⁷ Почти до XVI век татарската военна организация се опира на родовите връзки. Пръв езиковедът Зайончковски обръща внимание на този въпрос, разработен по-късно от Ст. Кричински [KRYCZYŃSKI 1938: 71; ДУМИН 2012: 18–19].

1. Културен, религиозен и социален подем на татарската общност през периода 20-те – 30-те години на ХХ век. Основа за осъществяване и популяризиране на широкомащабна програма за културно-исторически и етнографски изследвания на общността. Документиране, систематизиране и укрепване на етноконфесионалната памет на общността.

2. Периодът след Втората световна война и наложените по съветски модел: атеизъм, колективизация, уедряване на земята, урбанизация. Последствия: negliжиране на религиозните малцинства и ограничение на вероизповеданията; унищожение на сакрални и паметни места (джамии и гробища). Оценяван днес като „трагедия“. В колективната памет и в индивидуалните биографични разкази се съхраняват травматични спомени от посегателствата над етническата и на религиозната идентичност на общността.

3. След 90-те години на ХХ век – период на демократични промени, възвръщане на религиозните свободи, възможности за самоорганизация на малцинствените общности. Оценяван днес като „ново възраждане“

4. Световна тенденция към нарастване на интереса към проявленията на Другостта. Благоприятни условия за преосмисляне на собственото (религиозно, културно, историческо) наследство. Конструирание на традиции и формиране на „нов татарски образ“.

5. От 80-те години с увеличаване броя на „новите“ мюсюлмани (емигранти и студенти, най-вече от арабските страни и от бившите социалистически републики в Азия) – включване на полските мюсюлмани в дискуссионното отношение „традиционен ислям“ – „ортодоксален ислям“. Проблем за спецификата на „полския ислям“ и за „чистотата на вярата“.

6. Модернизация, глобализация, световна икономическа криза. Изостряне проблемите на идентификацията и търсене на стабилност в ускорено променящия се свят.

В началото на ХХI век данните за числеността на татарите в Полша сочат явна тенденция към нейното намаляване. По мнението на А. Мишкевич през периода преди Втората световна война приблизителната им численост е 5000 души, докато след войната поради промяна на държавните граници те са 3–3,5 хиляди [MIŚKIEWICZ 1990: 11; MIŚKIEWICZ-KAMOSKI 2004: 86–88]. Според преброяването на населението през 2001 в Литва 1679 души се определят като етнически татари [NALBORCZYK 2009: 53], а в Полша – 500. Макар последните посочени данни някои изследователи да свързват с „грешна методология“ при преброяването, те свидетелстват за засилващи се процеси на асимилация както и за ролята на индивидуалния избор при самоопределянето [PĘDZIWIATR K. 2011: 3]. В началото на ХХI век е утвърдена самоидентификацията „полски татари“ с характерен акцент върху „полскост-та“ („polskość“) [WARMIŃSKA 1999; ŁYSZCZARZ 2011]⁸.

⁸ При преброяването на населението през 2011 год. активистите на татарските организации ориентират към избор на: „полско гражданство“ и „татарска националност“ („narodowość tatarska“).

Според действащото законодателство татарите в Полша са признати за етническо малцинство (заедно с: караими, лемко и роми), но резултатите от асимилационните процеси насочват към тяхното дефиниране по-скоро като „остатък от религиозна група с етнографска специфика“, отколкото като „етническа общност“ [JASIEWICZ 1980:145–157; MIŚKIEWICZ 1990: 84–87; КАМОСКИ 1993:43–47]. За нехомогенния състав свидетелства допълнителното им диференциране на: по-компактна „източна“ група, живееща в района Подласие (Podlasie) с център Бялисток (Białystok), където се намират и знаковите топоси на татарщината в Полша – джамиите и гробищата в Крушиняни (Kruszyniany) и Бохоники (Bohoniki). „Западната“ група е формирана чрез разселване след Втората световна война около центрове като Варшава, Гданск и Познан и за нея е характерно отслабването на връзката с традицията и наследството на предците [MIŚKIEWICZ 1993: 30–36; ŁYSZCZARZ 2011: 54].

Приема се, че сред мюсюлманите, живеещи днес в Полша, 1/5 са наследници на татари, заселили се през XIV – XV век. С доминиращо татарско участие е Мюсюлманският религиозен съюз (Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej), създаден през 1925 и 1936 год. и с преобладаващо имигрантски състав е Мюсюлманската лига (Liga Muzułmańska w Rzeczypospolitej Polskiej), създадена през 2001 [PĘDZIWIATR 2011: 5–6].

Б. Символни маркери на етническа принадлежност

Изложението по-нататък се основава на концепцията за етничността, етническата идентичност и за етническите маркери или „мрежа от признаци“/“set of features of ethnic group”, разграничаващи дадена социална група от друга [BABINSKI 1998: 193, NAGEL 1994, HALL 1996, CHANDRA 2005]. Според приеманото тук разбиране на Фр. Барт груповата/общностната идентичност разграничава групите една от друга чрез съвкупност от етнокултурни маркери – характеристики и свойства, които се осмислят от самите тях в процесите на социално взаимодействие [BARTH 1969: 10]. Според популярното примордиалистко схващане маркери на етничността са: общо име (етноним) или емблема; споделяни културни елементи (език, религия); връзка с историческа територия или „родина“; определена степен (measure) за солидарност [SMITH 1999: 25–26; СОНЕН 1994: 52]. Въз основа на това се предлага следното определение за „етническа общност“/група: „назоваващо се население, притежаващо мит за общ произход, споделящо исторически паметни и един или повече общи културни елементи, включително асоциирането с родина и известна степен на солидарност“ [SMITH 1999: 25]. Някои автори настояват за предефиниране на концепта „етничност“ (ethnicity) и свеждането му до три основни аспекта: общ произход (common descent), обща история (common history), обща родина (common homeland). [GREEN 2006]. Според уточнението, което прави А. Смит, компонентите на етническата общност имат по-скоро културен и символичен, отколкото демографски характер [SMITH 1999: 26].

Отнесено към татарската общност в Полша, тези характеристики по-скоро се свързват с обобщени символизиращи представа за общи: произход („татарски“), родина („тюркския свят“ и земята, на която са родени), история (митологизирано минало на първопредците и обща история на земята, в която са се заселили). И така, като символизиращи означения на татарската принадлежност [SMITH 1993: 198] могат да се посочат:

Общ етноним – самоназвания и названия: С най-висока честотна употреба са самоназванията (ендоними) „*татари*“ [БУШАКОВ 1994] и „*мюсюлмани*“ („*nazywają się „muślimami*“), засвидетелствани в различни фонетични и диалектни варианти: „*muślimowie*“, „*muślimi*“, *muzułmanin*, *muślim* и пр. [TALKO-HRYNCEWICZ 1924; DZIADULEWICZ 1929: XV]. Известно е, че през XIX век поради етническата и културната асимилация се налага самоназоваване по конфесионален признак (мюсюлмани): «Мы не татары, но шляхта мусульмане, и татарами нас называют только крестьяне» [ДОБРЯНСКИЙ 1906: XXII; MIŠKINENĖ 2001: 14].

В исторически извори от XV–XVIII в. са засвидетелствани различни названия: „татари от Великото литовско княжество“, „радзивиловски татари“, „татари-казаки“ и др. [MIŠKINENĖ 2001: 11] В документи на литовски татари от XVII в. се среща и името „*бусурман/бусурман*“/ „*bisurman*“, „*zbisurmanił się*“, „*busurman*“ (с тюркски произход, от арабски език – „*büsürmen*“) в значение на „мюсюлманин“ (*muzułmanin*, *muślim*), употребявано като название и като самоназвание: „*według obrzedu naszego biesiurmańskiego*“, „*u wierie biesurmianskoj tatarskoj buduczy*“ [KRYCZYŃSKI 1938: 172]⁹. Определението „*литовски татари*“ се утвърждава през XIX век във връзка с необходимостта от разграничение между татарите, населяващи присъединените към Руската империя територии и кримските, казанските и сибирските татари“ [BAIRAUŠAUSKAITĖ 1996: 14–15]. Освен това, в ранни източници с османски/тюркски произход се среща етнонимът „*липки*“ (*Lipka*, *Łipka*, *Łubka*) [KRYCZYŃSKI 1938: 1–3]. Приема се, че той е с тюркски произход, произлиза от името на Литва (*Lipka*, „*Lipka Tatarları*“ – ‘литовски татари’) и се употребява като название, дадено от турците за татарите на ВЛК (екзоетноним). Известна е и употребата му като част от наименованието на историческо събитие от 1671 год., познато като „Бунтът на липки-те“ [КОНОРАСКИ 2011]. Както допуска Ст. Кричински, поради съхранения контакт на литовските татари със сънародници в Крим и в Турция и поради тяхното тюркоезичие (до XVI век), възможно е някои от тях да са възприели „липки“ като самоназвание (ендоетноним), което обаче по-късно е забравено и изоставено [KRYCZYŃSKI 1938: 2]. Непосредствените наблюдения през март 2012 год.

⁹ Османските извори отразяват и названието „полски татари“/leħ tatarlar [МУХЛИНСКИЙ 1857: 5] Известна е употребата и на „мохамедани“ като название и дори – като самоназвание. Кричински свидетелства за релевантност на „татарски“ и „турски“, както и за презрителни конотации в употребата на названието „бусурмени“ от християни [KRYCZYŃSKI 1938: 100, 172].

сред татарите от района на Вилнюс утвърждава впечатлението, че наименованието „липки“ е непопулярно сред тях, докато в Полша (Бохоники) то се среща. Но това най-вероятно е под въздействието на комеморацията (commemoratio) на съвременните татарски историко-популярни издания, които интензивно влияят върху колективната памет. [KRYCZYŃSKI 1938:1–3; BORAWSKI 1986: 150–183; Гудавичюс 2005: 375].¹⁰

Употребяваните самоназвания отразяват съотнесеността с общ произход (татари) и с надетничната общност на мюсюлманския свят (umma). В съвременните масови представи не са особено популярни разграниченията по национално-териториален признак: „Много татари идват от Белорусия, но не ги наричаме белоруски. Само „татари“ се наричаме“ (Али Бохданович, Бохоники). Нужно е да се подчертае, че в научната литература все още липсва единно понятие, което точно, еднозначно и коректно да назовава наследниците на татарите, днес живеещи в Полша, Литва и Беларус. Някои автори предпочитат понятието „литовски татари“, употребявано в исторически смисъл и отнасяно към историята и културата на Великото литовско княжество [JAKUBAUSKAS et al.: 7].

Като емблема на татарската принадлежност е възприета татарска тамга, известна като „тамгата на рода на Гираите“, която днес присъства в официалните документи на татарските организации и пр.

Връзка с историческа територия или „родина“: Родината се определя като реална или символична територия, където общността е възникнала и живее или – като въобразявано място на земята, което тя, макар и да не обитава, несъмнено поставя като един от съществените елементи на етническата си идентификация. С други думи, родината е не само територия (земя), но и представа, конструкция за „дом“ на същата тази територия, където членовете на общността (групата) са формирали първоначалната си идентификация, изискваща пространствени измерения и времеви ориентири, т. е. – история на общността. Освен това, обвързването на „родина“ и „дом“ означава и чувство за принадлежност, емпатия, сигурност и съдържа и етноразграничителни конотации, т. е. – оразличаване от другите индивиди и общности [HUTCHINSON–SMITH 1996: 7].

Поради времевата дистанция на събитията около заселването из земите на Великото литовско княжество и поради недостиг на документални свидетелства в колективните представи на татарите в Полша битова почти митологизиран разказ за общ произход, обща изходна територия и общи исторически първоначала: „*Витатутас поил конете си на Крим тогава. Татарите му помогнали и той ги довел тук*“ (Елена Радлинскане, Райжяй). В наративите се среща представата за Крим (Кримски полуостров) като далечна праро-

¹⁰ Известен е опит на днешните татарски лидери в Литва той да бъде легитимиран за обозначение на татарската общност, исторически свързана със съдбата и наследството на Великото литовско княжество.

дина, от където са тръгнали техните предци, но в биографичните разкази образът на Крим като историческа родина е силно разколебан и от трайното усвояване от общността на новото културно пространство и от обвързаността с индивидуалния житейски опит: „*Ние не сме кримски татари! Тук сме вече десето поколение. Ние сме полски татари. От къде да знаем за Крим?*“ (Зофия Бохданович, Бохоники). В някои уточнения („... не сме дошли само от Крим“) може да се види влиянието на съвременната историография. Преобладаващо е мнението, че родината е там, където са се родили, като в някои наративи представите се разполагат между реалното и идеализацията („*В Бохоники е като в рай.*“) Пред камерата на турски телевизионен оператор понятието „дом“ придобива конотациите на носталгично пространство, очертано с идеализиращите знаци на „изгубения рай“: „*Мы на своей земле, но не у себя дома.*“ Наред с това „Крим“ и „Турция“ (Османска империя) се схващат като реална и „митична крайна дестинация“, където общността търси убежище и сигурност в кризисни моменти [AYDINGÜN-YILDIRIM 2010]¹¹. В по-ново време Крим, Казан (столица на Република Татарстан) присъстват като подалечен или по-близък родов спомен, а днес – и като предпочитани туристически обекти. В контекста на разбирането за „родно“ е и откриването на подходяща аргументация в поезията на татарския поет Габдулла Тукай за родния език като език на родителите: „О, как хорош родной язык, отца и матери язык...“ [ЛАВРИТОВ–СИТДЫКОВ 2011: 12].

„Изгубеният“ език: Според специализираните проучвания още в края на XVI век може да се говори за отпадане на татарския език от активна речева употреба и за неговото постепенно заместване със славянски (полски или беларуски) език. Талко-Хринцевич и Кричински търсят паметта на езика чрез тюркските реликти в полския език, топонимията, антропонимията, названията на гербовете. [TALCO-HRYNCEWICZ 1924: XIV, KRZYCZYŃSKI 1938: 93–116, BORAWSKI-DUBINSKI 1986:37, 255–265]. В съвременните проучвания за полските мюсюлмани специално направление оформят изследванията върху писмените свидетелства за езиковия развой, отразени в религиозната книжнина и причините за сравнително безпроблемната славянизация и пр. [ŁAPICZ 1986, DROZD et al. 1999, 2000, MIŠKINENĖ 2001].

Фактът на езикова асимилация намира характерен израз в устойчив момент от колективната памет и разказите за нея. Мотивът за „изгубения татарски език“ се проявява доста често под формулата: „*Езикът загубили, но вярата – не...*“ Така се изразява популярен възглед за първичните етнични маркери и за компенсаторната роля на религията в общностните самопредстави. При това се привеждат биографични наративи за преживян културен сблъсък в резултат от незнанието на татарски език: „*Какъв татарин си, щом не знаеш*

¹¹ Тази представа има известни исторически основания и се подкрепя и от организационната обвързаност на татарите в Полша с религиозната дейност на Таврически/Кримския муфтиат [МУХЛИНСКИ 1957: 50].

татарски език! “ (Бохоники, Сорок татар). В представите на съвременната татарска интелигенция съществува схващане за татарския език като изгубена ценност, която трябва да се възвърне. За целта се провеждат езикови курсове за деца и възрастни; татарският език се популяризира чрез периодичните издания и пр. Но това по-скоро е част от езиковата политика на днешния татарски елит, целяща изграждането на нов космополитен образ на полските татари, в който е подчертано езиковото родство с мега-културна общност на татарите по света.

В. Религиозност и традиционна култура: памет, етничност, идентичност

Посочените по-напред етнически маркери – в конкретния случай с полските татари – се намират в специфичен вид и конфигурация, което е резултат от продължителното взаимодействие с различна етноконфесионална среда и от отдалечеността от мюсюлманските религиозни центрове и средища.¹² Въз основа на ислямската доктрина се формира особена религиозна култура, която трансформира елементи от славяноезичния културен контекст и която е определяна като „ислям в местен самобитен вариант“ [Думин 2012: 24]. Тази религиозна култура има своята памет, своите сакрални места (джамии и гробища) и легендарна топография, свързана с местата за поклонение; тя има своите обредни, устни и писмени форми. Религията и религиозните традиции са трайна опора на татарската идентичност.¹³ Според заключенията на К. Варминска днес чувството за принадлежност към татарската общност в Полша се изгражда въз основа на триадата: *етнически фактор* („татарскост“/„tatarskość“) ¹⁴, който е здраво свързан с *национално-идеологически елемент* („полскост“/„polskość“) и с *религията* (ислям) [WARMIŃSKA 1999: 12; 2011: 18–19]. За нашето изложение е от значение наблюдаваното сближаване между религия и етничност („етнизация на религията“, „етнически функции на религията“) и протичането на процеси, характерни за диаспорите ¹⁵ [HALL 1990; VERTOVES 2000].

В Полша най-популярното обяснение за съхранеността на „татарщината“ се обобщава в думите: „Езикът забравили, но традицията и религията съхранили“. Те отразяват мястото на етно-компоненти като „език“, „традиция“ и „религия“ в идентичностната скала и в самооценките на общността. В са-

¹² По-специално внимание заслужават тезите, свързващи териториите, традиционно обитавани и днес от полско-литовските татари, с идеята за културна смесица, поликултурност (между балтийската, източнославянската и западнославянската култури), за „контактна зона“ и за „граничност“. (“boundary”, “border”, „pogranicza” «пограничье») [СОНЕН 1994, Гришин 2000: 11, SADOWSKI 2001].

¹³ За религията като идентичностен фактор: ДЮРКЕМ 1998; КИМ 2011: 320–321.

¹⁴ Терминологичен израз на татарската идентичност, релевантен на „татарскостъ“ (руски) и „татарлък“ (турски).

¹⁵ Според Ст. Хол диаспорната идентичност се основава на различието (différence) и на хибридността (hibridity) [HALL 1990].

мопредставите на полските татари „религията“ (ислям) и „традицията“ се осмислят като трайни опори на общностната специфика по отношение на различния културен контекст. В паметта на поколенията татари е закодирано посланието на предците „да пазят религията и традициите си“. Респондентите свързват „татарска традиция“ с предадени от родителите нравствени послания и принципи на общностен и семеен живот, често схващани и в императивен смисъл: „*Всяко семейство трябва да съхрани традицията!*“ Една част от тях са свързани с религията: опазване на исляма, спазване на религиозните морални норми, обреди и обичаи: „*Да не отхвърляме религията си до смърт!*“ (Розалия Чалецка, Крушиняни). Друга част се отнася до сферата на семейно-родовите отношения и на бита: уважение на роднините и семейството, „домашна уредба“, характерна за татарите кулинария. Така микрообщността на семейството се откроява като най-важен и най-устойчив във времето социум, в полето на който се формира, съхранява и предава татарската идентичност. Ето защо, в конкретния емпиричен случай на полсколитовските татари употребата на понятия като „етноконфесионалност“ и „етноконфесионална общност“ („ethnoconfession”, „ethnoconfession unit”) са поуместни, тъй като отразяват близката взаимоотношеност между етническата и конфесионалната (религиозната) специфика.

В опита да анализира и прецизира многообразието и многозначността на термина „традиция“ по отношение на фолклорните общности и фолклора, Бен-Амос откроява седем елемента, сред които: нейната същност на колективно знание и на „културен канон“, както и – процес на пренасяне през времето и при това – жизнен организъм, който се променя заедно с хората, които я пренасят [BEN-AMOS 1984]. Традицията се свързва с оценностяването на важни за общността знание и опит, които трябва да се съхранят, предадат и наследят от следващите поколения, за да гарантират континуитета и стабилността на общността, т. е. традицията като единство на стабилност и променливост, формира основите на колективната идентичност. Сред многобройните дефиниции и акценти, удачен е предложението от Дю Берже оксиморон – „адаптивна стабилност“ („stabilité adaptive”) [DU BERGER 1995]. Този акцент е особено подходящ при анализа на религиозната традиция на татарите в Полша с нейната привързаност към предписанията на исляма и с потенциала на устойчивост и променливост според условията на културния контекст и според изискванията на времето. Изходно по-нататък ще бъде схващането за религията като тип култура, а под „религиозна традиция“ ще се разбира взаимодействието между ислямските религиозни практики със сферата на празничния и делничния живот на общността. Вниманието ще бъде насочено върху етносигнификативните функции на религиозната култура и върху съхранеността и адаптацията на мюсюлманските религиозни практики в християнски културен контекст като при това се отчита и влиянието на съвременните социокултурни процеси.

В продължение на няколковековното си съществуване на полска земя татарите мюсюлмани винаги са съхранявали своята религиозна организация

и правото на религиозно самоопределяне¹⁶. Първата религиозна организация на татарите в Полша – Мюсюлманска асоциация е регистрирана през 1923 г. във Варшава, а през 1925 г. е създаден Мюсюлмански религиозен съюз. През 1926 г. за пръв мюфтия на Муфтиата на мюсюлманите в Република Полша е избран д-р Якуб Шинкиевич (Jakub Szynkiewicz) (1884–1966) – една от най-значимите личности в историята на полско-литовските татари. До Втората световна война на полска територия съществуват около 20 джамии, от които днес в района на Бялисток са запазени две – в Крушиняни (1679 г.) и в Бохоники (от 1795 г.). Дело на местни майстори, те представят уникален вариант на религиозна архитектура, съчетаващ ислямски образци с местни строителни особености. [KRYCZYŃSKI 1938: 183–191; KRYCZYŃSKI 1937; КАНАПАЦКА 2006; NALBORCZYK 2011]. В колективните представи на полските мюсюлмани тези места се валоризират и сакрализират до ранг на „полска Мека“. Едновременно с това тези джамии са и исторически религиозни центрове, свързвани с важни моменти от живота на общността в миналото и в настоящето. Тук, в прилежащите татарски гробища и до днес намират вечен покой татари от различни краища на Полша. По този начин тези сакрални топоси се осмислят хронотопично, т. е. не само като пространства на религията, но и като времева свързаност между поколенията и като дълготрайни свидетелства за единството и континуитета на цялата татарска общност.

Многовековното съществуване в християнска славянска културна среда при затруднена, понякога – отсъстваща връзка с центровете и средищата на исляма довежда до формиране на характерен вариант на ислямски религиозни практики – в местни специфични форми, характеризиращи се със съхранени пред-ислямски вярвания, адаптирани християнски елементи, следи от хетеродоксен ислям [KRYCZYŃSKI 1938: 83–210; BORAWSKI–DUBINSKI 1986: 187–207; MIŚKIEWICZ 1993: 37–54; DZIEKAN 2011; KONOPACKI 2011, 2010]. Във вида, в който най-пълно е регистриран от Ст. Кричински през 30-те години на 20 век, ислямът у полските татари е форма на религиозен синкретизъм, локален вариант на мюсюлманската религия, която изследователите наричат „местен/ битов/ фолклорен ислям“ и „етнографски особености на исляма“ [ГОЛЬДЦИЕР 1938; БАСИЛОВ 1970]. Това може да се дефинира като специфична религиозност, която съответства на същността на исляма и предписанията на ислямската доктрина за „5-те стълба на вярата“, но в адаптиран според местните културни условия, популярен вариант. Сред видимите

¹⁶ Като кризисни периоди за свободното изповядване на исляма се определят управлението на крал Сигизмунд III (1587–1632), известно с крайната си религиозна нетърпимост и атеистичния период (1945–1990 г.) [МУХЛИНСКИЙ 1857: 30–34; ДОБРЯНСКИЙ 1906: XX–XXI]. Според Тухан-Барановски по това време за Крим и „Турция“ (Османската империя) емигрират ок. 36 000 души, една част от които усяда „над Дунав, в равнината Добруджа, в България“ [ТУХАН-BARANOWSKI 1896: 66–67]. Специфичния архитектурен тип на джамиите („дървени, убоги и неголеми“) се свързва с налагани строителни ограничения [KRYCZYŃSKI 1938: 159].

за другите (християните), публични проявения на тази специфична религиозност, изследователите обикновено посочват: отсъствие на полигамия, висок статус на жената в татарското семейство, изоставяне на ритуалното обрязване (“siunniet” – от “sunna”, арабски и “sünnet”, турски – ‘традиция’), по-свободно отношение към хранителните ограничения, предписвани от ислямското право и пр.¹⁷ [KRYCZYŃSKI 1938: 242]

Полските мюсюлмани отбелязват всички основни празници според предписанията на ислямския религиозен календар, като сред тях с най-голяма важност и масово участие на цялата общност са Рамазан байрам (Ramazan bajram) и Курбан байрам (Kurban bajram), комеморация на Абрахамовата жертва и символ на възкресението. Тяхната близка обредност включва: обща молитва в джамията под ръководството на имам (наричан молла – „mołła”, в Литва – „molna”) и даване на милостиня на бедните и нуждаещите се. На Рамазан байрам се посещават мъртвите на гробището (mizar) и се подава на всички sadoga (обикновено бонбони и сладкиши). Курбан байрам се свързва с ритуално жертвоприношение на овен и обща трапеза. Наред с това се спазва и Ашура байрам (Dzień Aszura, Aszurejny bajram) – официален празник у шиитите, ознаменуващ смъртта на имам Али край Кербала през 680 г. Полските мюсюлмани – сунити – също отбелязват този ден като траурен, а обредността тогава се свързва с легендата за Фатима, дъщеря на пророка Мохамед и гибелта на нейните синове Ал-Хюсеин и Ал-Хасан. [KRYCZYŃSKI 1938: 180–181].

Мюсюлманската основа/елемент в житейския обреден цикъл (раждане, сватба, смърт) [KRYCZYŃSKI 1938: 241–253] е най-устойчиво присъстващият пласт от татарската традиция, който се поддържа от семейно-родовата среда, независимо от налаганите през атеистичния период ограничения. Този тип обредност бележи най-важните моменти от отношението индивид – общност: социализация, продължение на рода и преминаване в света на предците. В ситуация на активно взаимодействие с християнската култура най-добре съхранени са ритуалът „азан“ (именуване на новородено дете) и погребалната обредност.

Характерен момент от именуването (azan) за времето 1945 – 1980 год е получаването на т. нар. „азанско име“, най-вече с арабски произход, което се отличава от гражданското славянско име (Розия – Роза; Зухра – Зофия; Али – Александър; Халима – Халина, Азима – Инга, Аиша – Ева, Емир – Мирослав). Словосъчетанието „азанско име“ акцентува върху двойствения характер на назоваването на индивида: според ислямската религиозна традиция и според светската практика; за употреба в своя семеен и професионален кръг и за публична официална употреба. За поколението, свързано с периода на атеизма, този акт се е практикувал тайно от властта, в семейно-родов кръг и в съвременните наративи се оценява като изключително важен за връзката

¹⁷ Съвременният начин на живот налага промени върху стриктното спазване на някои религиозни дейности като например петъчната молитва в джамията.

на индивида със семейството и с исляма¹⁸. Често информаторите се позовават на формулата, които имама̀т произнася в ухото на младенца по време на обряда: „Pamiętaj ją do Dnia Sądnego.”/ „Помни го (името си) до Съдния ден! “ Така „азан“ е основополагащ за индивида религиозен акт, а „азанското име“ го приобщава към голямата общност на изповядващите исляма (umma). Ето защо за мнозина то е оценностено в най-висока степен: „Халима е моето най-близко име!“ Двойното име задава и парадигмата на двойното самосъзнание за индивида, основа за неговата многосъставна идентичност. Той се самоопределя чрез съотнасянето си едновременно към: мюсюлманския свят (umma), татарската общност в Полша/Литва и културната среда, в която се е родил и живее.

Сватбената обредност (ślub) в традиционния ѝ вид се извършва в дома на невестата от молла. Жизнени до 40-те години елементи като „стоене на младоженците върху овча кожа/кожух“ („na baranim kozuchu stają młodzi”)¹⁹; обиколка на сватбената трапеза от младоженца („3 razy dokoła stołu”); поставяне на препятствия на пътя на сватбеното шествие („poprzek drogi”; „symboliczne przeszkody”) и тяхното „откупуване“ („wykupić”) и пр., които се срещат у тюркските народи, днес частично са съхранени в променен вид, преосмислени са, или са почти забравени [KRYCZYŃSKI 1938: 243–244; BORAWSKI–DUBIŃSKI 1986: 192–193]. Устойчиви символи на татарската традиция са „хляб и сол, вода“, присъстващи и при именуване, и в сватбената обредност. В много случаи информаторите свидетелстват, че по аналогия на католическата празничност младите предпочитат като място за именуването и за сватбената обредност не дома, както е според традицията, а – джамията [DZIEKAN 2011: 33]. Тук би трябвало да се подчертае високият статус, който има жената в татарската общност, което я отличава от обичайната женска роля в мюсюлманския свят. Татарката никога не е носила и не носи хиджаб и характерната за мюсюлманките забрадка [NALBORCZYK 2009]. Не случайно показателен елемент от сватбена обредност е особена надпревара между младоженците, от изхода на която се съди „кой ще командва в семейството“, както и често срещаното обобщение: „Тук е матриархат!“

Погребалната обредност (obrzedy pogrzebowe) в общи линии съхранява традиционната си структура, макар тя също да е повлияна от въздействието на средата и от процесите на модернизация на живота [KRYCZYŃSKI 1938: 245–251]. Такива са например: обличането на покойника в костюм, участието на жени и девойки в ритуала на гробищата, което не съответства

¹⁸ През социалистическия период в католическа Полша не е било особено престижно изповядването на исляма, а за запазване на мюсюлманското име като публично гражданско име е било нужно специално президентско разрешение (По устна информация).

¹⁹ Според С. Хазбиевич тази кожа (по-късно замествана с кече, а в по-ново време – с килимче) е реликт от сватбената обредност от времето на Златната орда [DZIEKAN 2011: 33].

на предписанията на ислямския закон (шерият). Обект на по-специално изследователско внимание са надгробните паметници и надписите по тях, поради специфичната еkleктичност и видими исторически промени: постепенно изоставяне на характерния за татарите гроб, очертан от 3–5 реда кръгли камъни и заместването му с бетонен или мраморен корпус; поставяне на мраморни надгробни паметници с фотографии на покойниците; замяна на арабографичната формула от надгробния паметник с латиница и пр. [DROZD et al. 1999].

Поминалната обредност е от голямо значение за семейно-родовата свързаност и за приобщаването на младото поколение към родовата традиция и към паметта на предците [KRYCZYŃSKI 1938: 251–253]. Посещението на гробовете на мъртвите на татарските гробища (mizar) и колективна заупокойна молитва е и акт на общностна консолидация. Израз на жизнена общностна свързаност и развитие на традицията е утвърждаването на изменена поминална обредност, наричана „татарские съезды“/„мусулманские фесты“. Според разказаното от Г. Мишкинене: „... после того как в середине XX в. была разрушена мечеть в Видзах (населенный пункт на территории современной Белоруссии), для отправления религиозных обрядов священнослужителей-имамов стали приглашать в дом. Местом общего сбора мусульман стали и так называемые съезды, или «мусульманские фесты». Проходили они в летний период, начинались со дня поминовения умерших на Видзовском мизаре (мусульманском кладбище) 31 мая и, обойдя круг, заканчивались в конце августа на Швенченском (на территории современной Литвы) мизаре. В эти дни татары-мусульмане имели возможность не только помянуть своих близких и прочитать над их могилами заупокойные молитвы, но и пообщаться друг с другом”.²⁰

Ислямски елементи проникват в различни сфери на индивидуалния и на общностния живот: бит, вярвания, суеверия, магически и обредни практики (гадаене; жертва на овен – „курбан“; обреди за дъжд). Те оформят основното градиво за религиозната памет на татарите [DZIEKAN 2011]. Тук ще бъдат маркирани само на някои от тях, за които съществуват успоредици в други култури и които свидетелстват за общ генезис или – близко влияние и аналогичен културен развой:

Наличие на локални сакрални топоси, свързвани с култа към местен светец и тяхното посещение и поклонение (zjaret). С най-голяма известност се ползва гробът на Контуш (Kontuś, Kuntus, Kantus, Kontej), наричан „Евлия Контуш“ (Ewlija Kontuś, aulija) до Ловчице (Łowczyce) в околността на Новогрудка (Nowogródek) [KRYCZYŃSKI 1938: 266–268; BORAWSKI–DUBIŃSKI 1986: 237–239]. Както и в други подобни случаи, вярата в лечебната сила на святото място и на пръстта от гроба, поражда проявления на утраквизъм (двуобредност), илюстриран чрез посещения не само на мюсюлмани, но и на християни и евреи [KRYCZYŃSKI 1938:270]. Наративен израз на светостта

²⁰ http://www.vilnius.skynet.lt/story_t.html

са легендите, разказвани за светеца и до днес²¹. Те го представят като обикновен овчар/пастир (pastuszek), който, благодарение на своята набожност, притежавал необикновени способности – умение чудесно да се премества до Мека. Според проучванията на Ст. Кричински те съдържат мотиви, идентични с религиозния фолклор на Средния Изток, регистрирани и у арабския пътешественик Ибн Батута [KRYCZYŃSKI 1938: 271–280]. В тези легенди са съхранени реликти от предислямски вярвания на степните азиатски народи и култа към свещени дървета и храсти, кургани, свети хора и тяхната лечебна сила. Можем да добавим, че при формирането на култа към Евлия Контуш и неговото свято място ще да е оказал влияние и хетеродоксният ислям²², разпространяван по тези места чрез дейността на ордена на бекташите, данни за което се откриват в ръкописното наследство на литовските татари [MIŠKINENĖ 2001:67–69]. В този аспект може да се прецизира твърденето на Ст. Кричински, че култът към друг мюсюлмански светец – Шорц (Szorc), подвизавал се на наречената в негова чест планина/височина Шорцова (Szorcowa góra) недалече от Бохоники, е асимилирал християнска отшелническа традиция [KRYCZYŃSKI 1938: 177]. Полезно е свидетелството на ръкопис ЛУ-893 (от средата на XVII в.), в който е поместен фрагмент от „Повест за пророк Давид“, с описание на аскетични подвизи, извършвани в планината. [MIŠKINENĖ 2001: 212–213]. Ето защо, въпреки близкото взаимодействие с християнската среда, по-вероятно ще да е влиянието на ислямската легендарност с нейния общодостъпен устен начин на разпространение [MIŠKINENĖ 2001: 66–67].

В същия план е показателен и примерът с друго сакрално място – край Сенявце (Sieniawce). Според местната памет някога тук живели татари, които емигрирали в Турция. Мюсюлманска принадлежност и неприкосновеност се заявява чрез чудо след неволни „посегателства“ от страна на друговерци: за една нощ мястото, където било гробището, само се обградил с ров и се покрило с гробове („samo się otoczyło fosą i pokryło kurhanami”) [KRYCZYŃSKI 1938: 265]. Кумулативната легендарност, привличаща универсални мотиви и утраквистичният характер на сакралното пространство го отнасят към аналогични проявления на религиозността. Но в случая е съществено функционирането на тези сакрални места в легендарната топография на татарската идентичност.

Устойчив момент в татарската мюсюлманска традиция е обрядът „побратимство“ („obrzęd pobratymstwa”; „obrzęd achretania”), за който подробно пише Ст. Кричински [KRYCZYŃSKI 1938: 253–255]. Според легендите евлия Контуш също имал побратим [BORAWSKI–DUBIŃSKI 1986: 238]. Това е жизнена и до днес практика сред мюсюлманите и сред населението от смесените райони на Балканите (България), където е познато побратимство между мю-

²¹ Вж. Приложение.

²² За „утраквизъм“ – ‘двуобредност’ и „хетеродоксен ислям“ [МУТАФОВА 2000; Миков 2005].

сюлмани и християни, (“Türkle bulgarla gibi aret olmeri.”) като между мъже и между жени. То се счита за духовно родство (“kardeş gibi”), има висока ценност и е „за цял живот“ („na całe życie”).²³

Специално внимание при изследване на културната памет на полско-литовските татари изисква създадената от тях религиозна книжнина. Тя би могла да се определи като уникален културен феномен, тъй като е създадена въз основа на няколко местни езика (полски и беларуски) при съхраняване на арабски, османски и тюркско-татарски езикови елементи. Според своето предназначение тя обхваща целия живот на индивида и на общността и има за цел да разясни основните положения на религията, да тълкува Корана, както и да предложи на вярващите молитви по различни поводи. Обект на специализиран изследователски интерес е езикът на достигналите до нас ръкописи като писмено свидетелство за по-ранни етапи от татарската култура. Ч. Лапич насочва вниманието към различното място на езика в системата от идентичностни маркери у литовските татари и у караимите, за да обясни причините за неговата сравнително бърза асимилация при първите и съхраняването на караимския тюркски език и до днес [KRYCZYŃSKI 1938: 228–240, ŁAPICZ 1986, MIŠKINENĖ 2001: 37–40]. За интересуващата ни тук проблематика е особено важно съхраняването на сакралния статус на арабския език в молитвата²⁴ и на арабското писмо като религиозна памет, същностен идентификатор за ислямско духовно пространство и като апотропей [KRYCZYŃSKI 1938: 284]. Такава е функцията на т. нар. мухири (muhir), религиозни надписи на арабица, които се поставят в дома, в джамията и на местата за молитва и имат едновременно сакрална, предпазна и декоративна роля, т. е. те имат функция, идентична на християнските „свети картини/рисуни“ [DROZD et al. 2000]. Освен това корани и хамаили²⁵, написани на арабица, се съхраняват не само като религиозни книги, но и като родова ценност. Те се предават от поколение на поколение и маркират миналото на рода, неговата историческа памет и неговата времева приемственост и свързаност (континуитет). В обозримото време на генеративната памет (Я. Асман) тези сакрални книги функционално се изравняват със семейните реликви, а религиозното се преплита с родовото.

²³ Примерите на турски език са от теренна работа в селата из Шуменско (България). Диалектното „аретлик“ – от арабско-турски ‘ahretlik’ – ‘приятел, побратим’ [Милчева 2002: 57, Ников 2003: 68–78].

²⁴ Срв. наротив, записан в село Keturiasdešimt totorių (Сорок татар), Литва: литовски татар при среща с казански татари ги убеждава в своята „татарскост“ с помощта на молитва, произнесена на арабски език.

²⁵ Молитвеник с практическо предназначение и с широка популярност.

Изводи

За полските татари поради естествените процеси на езикова и на културна асимилация религията се утвърждава като етносигнификативен маркер, който обединява общността и се явява условие за нейната цялост и съхраненост. В резултат от историческите събития от средата на XX век и от техните социо-културни последици върху татарската общност, протичат процеси на „одомашняване“ на религиозните практики и тяхното съхраняване най-вече в традиционното пространство на семейството и на рода, а религиозността все повече се сближава с етничността – протича процес на „етнизация на религията“. Като резултат от тази тенденция в колективната памет и в груповото самосъзнание на татарите в Полша ислямът се превръща в основополагаща ценност, „изгубена малка родина“ („opuszczonej małej ojczyzny“), в която етноконфесионалната общност търси и намира своята същност [SZABANOWICZ 2011: 78]. Религията се възприема като условие и основание за съхранение на групата и като наследство от предишните поколения. В колективните представи ислямът се осмисля като ценност от висш екзистенциален порядък, от поддържането на която зависи и съществуването на общността. Иначе казано, за татарите в Полша религията на предците е не само признак за оразличаване от другите и начин на самоотъждествяване, но и гарант за континуитет и средство против пълната асимилация. На основа на такова етно-конфесионално схващане за исляма се мотивира и разграничаването между полските татари-мюсюлмани и „новите мюсюлмани“ в Полша, преселници от арабския свят и от бившите социалистически републики в Азия [PĘDZIWIATR 2011, SZABANOWICZ 2011].

Конкретният случай с татарите в Полша потвърждава тезата за жизнената природа на етничността и за нейната обвързаност с идентичността и със социалната общност [BARTH 1969]. Аналогична е и ролята на религията и на религиозността. В процесите на естествена асимилация се изгубва част от „генетичния запас“ („the loss of a kind of cultural gene pool“) от културата на общността, необходим за адаптация в променящия се свят, и едновременно с това се задействат механизми за нейното предпазване и съхранение [YINGER 1985: 173]. От своя страна, както подчертават специалистите: „Muslim identity can be a core self-defining dimension, because Islam provides a worldview and meaning system that buffer against uncertainty and existential anxiety“ [VERKUYTEN–YILDIZ 2007: 1460]. Така религията (ислямът) се превръща в компенсаторен етносигнификативен маркер на татарската идентичност. Функционалното сближаване, обвързване и отъждествяване на религиозността и на етничността създава още по-солидна основа за самоосмисляне (идентификация), за конструиране на социално знание, и за групово сцепление, т. е. консолидацията на общността става още по-здрава, а това е гаранция за нейните жизнени процеси и континуитет [KIM 2011: 321].

Приложение

Евлия Контуш

Это был пастушок, который работал у хазяина и пас стадо. Чудесной силой переносился в Мекку. Евлия был. Он служил у богатого татарина. Этый богатый татарин поехал в хадж в Мекку и вот он смотрит, однажды увидел там своего пастушка – в Мекке. И так удивился: „Откуда ты тут взялся? А как ты оставил стадо овец?“ Овцы пас он. А он говорит: „Овцам моим все в порядке.“ И он моментально вернулся на свою работу и был там. И вот он стал там святым. Поэтому могилка его святая и люди очень штыт и когда туда приезжают, набирают святого пясочка земли – вот этой. И носят с собой чтобы сила людям, здоровье было бы. Как так есть такие священные места, где есть святая вода, вот этой водичкой люди пользуются, что быть здоровым, счастливым, радостны, так бы и землей этой...

Мне посчастливилось быть там. Это недалеко Новогрудка, трех километров, находится поселение старинное татарское – Ловчицы называется. Там было очень много татар и есть мизяр. По татарски кладбище „мизяр“ называется. И я землю святую принесла...”

Разказала: Фатима Шчуцкая/ Ščuckaja, записано в село Keturiasdešimt totorių (Сорок татар), Литва, 2012.03.19.

Литература

- AYDINGÜN-YILDIRIM 2010: A. Aydınğün, E. Yıldırım. Perception of Homeland among Crimean Tatars: Cases from Kazakhstan, Uzbekistan and Crimea. // Bilig. Number 54. Ahmet Yesevi University Board of Trustees, 21–46.
- BABINSKI 1998: G. Babiński. Etniczność. // Encyklopedia Socjologiczna, t. 1, Warszawa: Ofi cyna Wydawnicza, 19–195.
- BAIRAUŠAUSKAITE 1996: T. Bairaušauskaitė. Lietuvos totoriai XIX amžiuje. Vilnius.
- BARTH 1969: Fr. Barth. Introduction. // Fr. Barth (Ed.) Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Culture Difference. Boston: Little, Brown and Company, 9–38.
- BEN-AMOS 1984: D. Ben-Amos. The Seven Strands of Tradition: Varieties in its Meaning in American Folklore Studies. // Journal of American Folklore, Vol. 21, 97–131.
- BIENKOWSKA-PTASZNIK 2008: M. Bieńkowska-Ptasznik. Ethnic Identity in Contemporary Research Perspectives: Various Ways to Read a Society. // LIMES, Vol. 1, No. 1, 75–87.
- BORAWSKI 1986: P. Borawski Tatarzy w dawnej Rzeczypospoltej. Warszawa.
- BORAWSKI-DUNINSKI 1986: P. Borawski, A. Dubiński. Tatarzy polscy. Dzieje, obrzędy, legendy, tradycje. Warszawa.
- BRUBAKER-LOVEMAN-STAMATOW 2004: R. Brubaker, M. Loveman, P. Stamatov. Ethnicity as cognition. // Theory and Society, 33: 31–64.
- CHANDRA 2005: K. Chandra. What is ethnic identity and does it matter? Forthcoming in the Annual Review of Political Science.
- CHOEN 1994: A. Cohen. Culture, identity and concept of boundary. // Revista de antropologia social. Editorial Complutense. Madrid, 49–61.
- CHOEN 1993: A. Cohen. Culture as Identity: An Anthropologist's View. // New Literary History, Vol. 24, No. 1, Culture and Everyday Life (Winter, 1993), 195–209.

- DROZD-DZIEKAN-MAJDA 1999: A. Drozd, M. Dziekan, T. Majda. *Meczety i cmentarze Tatoryw polskolitewskich*. Warszawa.
- DROZD-DZIEKAN-MAJDA 2000: A. Drozd, M. Dziekan, T. Majda. *Piśmiennictwo i muhiiry Tatoryw polskolitewskich*. Warszawa.
- DU BERGER 1995: J. Du Berger. *Tradition et constitution d'une mémoire collective.// La mémoire dans la culture*. Sous la direction de Jacques Mathieu. Les Presses de l'Université Laval, <http://www.erudit.org/livre/CEFAN/1995-1/000419co.pdf>, Access: 2012.02.15, 43–77.
- DUMIN 1999: S. Dumin. *Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego*. Gdańsk.
- DZIADULEWICZ 1929: S. Dziadulewicz. *Herbarz rodzin tatarskich w Polsce*. Wilno.
- DZIEKAN 2011: M. Dziekan. *History and culture of Polish Tatars*. // Górak-Sosnowska Katarzyna 2011 (ed.) *Muslims in Poland and Eastern Europe. Widening the European Discourse on Islam*. University of Warsaw. Faculty of Oriental Studies. Warszawa, 27–39.
- GORAK-SOSNOWSKA 2011: K. Górak-Sosnowska (Ed.) *Muslims in Poland and Eastern Europe. Widening the European Discourse on Islam*. University of Warsaw. Faculty of Oriental Studies. Warszawa.
- GREEN 2006: E. Green. *Redefining Ethnicity*. Paper prepared for presentation at the 47th Annual International Studies Association Convention, San Diego, CA.
- HALL 1990: St. Hall. *Cultural identity and diaspora*. // J. Rutherford (Ed.), *Identity*. London: Lawrence&Wishart, 392-403.
- HALL 1989: St. Hall. *Ethnicity: Identity and Difference*. Speech delivered at Hampshire College, Amherst, Massachusetts, 19–25.
- HALL 1996: St. Hall. *Who Needs 'Identity'?* // Stuart Hall, Paul du Gay (eds.) *Questions of Cultural Identity*. London: Sage Publications, 1–17.
- HARTMAN 1972: D. Hartman. *Adaptation to complexity: The renaissance of ethnicity*. // *Lambda alpha. Journal of man*. Vol. 4, N1. Wichita state university, 1–20.
- HUTTCHINSON-SMITH 1996: D. L. Huttchinson, Anthony D. Smith (Eds.). *Ethnicity*. Oxford: Oxford. University Press.
- HUTTON 1993: P. Hutton. *History as an Art of Memory*. Hanover: University Press of New-England.
- JAKUBAUSKAS-SITDYKOV-DUMIN 2012: A. Jakubauskas, G. Sitdykov, St. Dumin. *Lietuvos totoriai istorijoje ir kultūroje. Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga. Союз общин татар Литвы*. Kaunas.
- JASIEWICZ 1980: Z. Jasiewicz. *Tatarzy polscy. Grupa etniczna czy etnograficzna? Lud*, Wrocław – Poznań. T. 64, 145–157.
- КАМОЦКИ 1993: J. Kamocki. *Tatarzy polscy jako grupa etnograficzna*, *Rocznik Tatoryw Polskich*, T. I. Gdańsk, 43–47.
- KIM 2011: R. Kim. *Religion and Ethnicity: Theoretical Connections*. // *Religions*, 2, www.mdpi.com/journal/religions, Access: 2012.01.22, 312–329.
- KONOPACKI 2010: A. Konopacki. *Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XIX wieku*. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
- KONOPACKI 2011: A. Konopacki. *Религия татарского общества на землях Великого Литовского княжества в свете исторических исследований*. // *История Польши в историографической традиции XIX – начала XXI вв. Материалы Международной научной конференции*, Гродно, 29–30 окт. 2009, 122–129.
- KONOPACKI 2011: J. J. Konopacki. *O buncie lipków*. // *Zycie tatarskie*. N 35 (112), 24–27.

- KRYCZINSKI 1937: L. Kryczyński. Historia meczetu w Wilnie. Próba monografii. Warszawa.
- KRYCZINSKI 1938: St. Kryczyński. Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno-etnograficznej. Rocznik Tatarów Polskich, 3. Warszawa.
- ŁAPICZ 1986: Cz. Łapicz. Kitab Tatarów litewsko-polskich (Paleografia. Grafia. Język). Toruń.
- ŁYSZCZARZ 2011: M. Łyszczarz. Generational changes among young Polish Tatars. // Islam in Poland or the intergroup relations within the Polish Muslim community. Górak-Sosnowska Katarzyna 2011 (ed.) Muslims in Poland and Eastern Europe. Widening the European Discourse on Islam. University of Warsaw. Faculty of Oriental Studies. Warszawa, 53–68.
- MISKIEWICZ 1990: A. Miśkiewicz. Tatarzy polscy 1918–1939. Życie społeczno-kulturalne i religijne. Warszawa.
- MISKIEWICZ 1993: A. Miśkiewicz. Tatarska legenda. Tatarzy polscy 1945–1990. Białystok.
- MISKIEWICZ-KAMOCKI 2004: A. Miśkiewicz, J. Kamocki. Tatarzy słowiańszczyzną obłąskawieni. Kraków.
- MISKINENE 2001: G. Miškinenė. Seniausi Lietuvos totorių rankraščiai. Grafika, transliteracija, vertimas, tekstų struktūra ir turinys. Vilnius.
- NAGEL 1994: J. Nagel. Constructing Ethnicity: Creating and Recreating Ethnic Identity and Culture. // Social Problems, Vol. 41, No. 1, Special Issue on Immigration, Race, and Ethnicity in America (Feb., 1994), 152–176.
- NALBORCZIK 2011: A. Nalborczyk. Mosques in Poland. Past and present. // Górak-Sosnowska Katarzyna 2011 (ed.). Muslims in Poland and Eastern Europe. Widening the European Discourse on Islam. University of Warsaw. Faculty of Oriental Studies. Warszawa, 183–193
- NALBORCZIK 2009: A. Nalborczyk. Muslim Women in Poland and Lithuania. Tatar Tradition, Religious Practice, hijab and Marriage. // Gender and Religion in Central and Eastern Europe. Poznań, 53–69.
- NOVAK 1971: M. Novak. The Rise of the Unmeltable Ethnics. New York: Macmillan.
- PEDZWIATR 2011: K. Pędziwiatr. “The Established and Newcomers” in Islam in Poland or the intergroup relations within the Polish Muslim community. // Górak-Sosnowska Katarzyna 2011 (ed.). Muslims in Poland and Eastern Europe. Widening the European Discourse on Islam. University of Warsaw. Faculty of Oriental Studies. Warszawa, 169–182.
- SADOWSKI 2001: A. Sadowski. Harmonia i konflikty na pograniczach. // K. Krzysztofek, A. Sadowski. (ed.) Pogranicza etniczne w Europie. Białystok: IS UwB, 11–25.
- SMITH 1999: A. Smith. Ethno-symbolism and the study of nationalism. // A. Smith. Myths and Memories of the Nation. Oxford: Oxford University Press, 23–31.
- SZABANOWICZ 2011: H. Szabanowicz. Meczet w Gdańsku – jego znaczenie w naracji tożsamościowej Tatarów gdańskich. // W kręgu pytań o tożsamość narodową i etniczną Pomorza Gdańskiego. Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Gdańsk, 75–81.
- SZEWczyk 2009: J. Szewczyk. Polish heirs of Tokhtamysh. Hürriyet Daily News & Economic Review. Dec. 4, 2009. On-line: <http://212.31.2.101/n.php?n=polish-heirs-of-tokhtamysh-2009-12-02>
- TALKO-HRYNCEWICZ 1924: J. Talko-Hryncewicz. Muślimowie czyli tak zwani Tatarzy litewscy. Kraków.
- TUHAN-BARANOWSKI 1896: M. Tuhan-Baranowski. O muślimach litewskich. Warszawa.

- TYSZKIEWICZ 1989: J. Tyszkiewicz. Tatarzy na Lilwia i w Polsce. Studia z dziejow XIII–XVIII w. Warszawa.
- VERKUYTEN–YILDIZ 2007: M. Verkuyten, A. A. Yildiz. National (Dis)identification and Ethnic and Religious Identity: A Study among Turkish-Dutch Muslims. // Personality and Social psychology Bulletin. 2007.
On-line: <http://psp.sagepub.com/cgi/content/abstract/33/10/1448>, Access: 2012.03.03.
- WARMINSKA 1999: K. Warمیńska. Tatarzy polscy. Tożsamość religijna i etniczna. Kraków.
- WARMINSKA 2011: K. Warمیńska. Tatarzy polscy – tożsamość kolektywna grupy w kontekście regulacji ustawowych. // Przegląd tatarski. N. 2, 17–21.
- БАСИЛОВ 1970: В. Н. Басилов Культ святых в исламе. Изд. „Мысль“. Москва.
- БУШАКОВ 1994: В. А. Бушаков. Этноним *татары* во времени и пространстве. // Qasevet. № 1 (23), 24–29.
- ГОЛЬДЦИЕР 1938: И. Гольдциер. Культ святых в исламе. Москва.
- ГУДАВИЧЮС 2005: Э. Гудавичюс История Литвы. Т. I. С древнейших времен до 1569 г. Фонд им. И. Д. Сытина. Москва.
- ДОБРЯНСКИЙ 1906: Ф. Добрянский. Предисловие. Акты, издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов. Том XXXI. Акты о литовских татарах. Вильна, XV–XL.
- ДУМИН 2012: Ст. Думин. Литовские татары – шесть столетий история. // A. Jakubauskas, G. Sitdykov, St. Dumin. Lietuvos totoriai istorijoje ir kultūroje. Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga. Союз общин татар Литвы. Kaunas, 17–24.
- ДЮРКЕМ 1998: Ем. Дюркем. Элементарни форми на религиозния живот. София.
- КАНАПАЦКАЯ 2006: З. Канапацкая. Мечети татар Беларуси, Литвы и Польши: история и современность. // Мечети в духовной культуре татарского народа (XVII–1917 г.). Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Казань, 6–24.
- ЛАВРИТОВ–СИТДЫКОВ 2011: А. Лавритов, Г. Ситдыков. Наследие Габдуллы Тукая – наш духовный ориентир. // Lietuvos totoriai. N 6-8 (136–138), 12–13.
- МИЛЧЕВА 2002: М. Милчева. Сакрални топоними в Харманлийско. // В: Минало. Кн. 2, 51–66.
- МИШКИНЕНЕ: Г. Мишкинене. Литовские татары. Историко-этнографический очерк. On-line: http://www.vilnius.skynet.lt/story_t.html, Access 2012.01.15.
- МУХЛИНСКИЙ 1857: А. Мухлинский. Исследование о происхождении и состоянии литовских татар. Санкт-Петербург.
- НИКОВ 2003: Н. Ников. Побратимство сред мясюлмани (къзълбаши) и християни. // Балкански идентичности. Част 4. София, 68–78.
- МИКОВ 2005: Л. Миков. Изкуството на хетеродоксните мясюлмани в България (XVI–XX век). Бекташи и къзълбаши/алеви. София.
- МУТАФОВА 2000: Кр. Мутафова Култът към светците в народния ислям и утравистичните светилища. // Етнологията на границата на два века. Велико Търново, 249–265.

Резюме

Татары в Польше: вопросы этноконфессиональной памяти (Часть I)

Изложенное в статье относится к дискурсу идентичности (этнической идентичности) и анализирует его на основании конкретного эмпирического примера (case study): группы татар в Польше. Анализ символических маркеров этнической принадлежности и традиционной культуры приводит к обобщению: для татар в Польше из-за естественных процессов языковой и культурной ассимиляции, религия (ислам) становится компенсационным этносигнификативным элементом, объединяющим группы и является условием для ее целостности и сохранения.

РЕЦЕНЗИИ

FENYVESI ISTVÁN: „BELÉNK SAJDULT ODESSZA...” A VÁROS A MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBEN. [ИШТВАН ФЕНЬВЕШИ: „НАС ПОКОРИЛА ОДЕССА...” ГОРОД В ИСТОРИИ ВЕНГЕРСКОЙ КУЛЬТУРЫ] SZEGED, BABA KIADÓ, 2008, 428 PP. ISBN: 9637337644.

Историки давно отметили, что три главных направления, указываемые автором во Введении (Киев, Москва, Санкт-Петербург), в течение столетий всегда отгесняли существовавшие в те времена региональные связи. Только к началу 19 в. экономико-политическое развитие привело к заметным изменениям. В книжечке «пионера темы» Ласло Петера *Одесса и венгры* (1977) конкретные темы были еще несколько случайными, но она и так дала нашему автору первый импульс. Монография И. Феньвеши уже плод сознательного сбора исторического материала, и служит как бы зеркальным продолжением Петера. Из нее читатель убеждается в двустороннем «пребывании» (личном и виртуальном) одесситов и венгров, которое по свидетельству богатейшего материала книги ведет к взаимному познанию друг друга, к обоюдному интеллектуальному и эмоциональному обогащению.

Научная ценность книги обоснована уже в Введении. Здесь, при краткости изложения, с различных сторон освещается история города как история торговли, переданы ландшафтные особенности на стыке моря и степи, ощущается галльский дух основателей и, в конечном итоге, мирная толеранция социальных слоев, языков и религий. Все это базируется на «бессарабском космополитизме», на органически выросшей рыночной экономике и т. д., из которых естественно возник имидж вполне европейского портового города. С учетом всего этого тонко изложены черты типа *homo odessicus* (с.12–16), суть которого так верно схвачена в дефиниции автора *Варшавской мелодии* Л. Зорина (кстати, не уроженца!) о *неподвластном духе суверенности*.

В период установления «побратимных отношений» (1960-е годы) властями уже сознавалась необходимость некоей легитимации, т. е. подтверждения закономерности (или хотя бы неслучайности) выбора сочетания объектов этих связей. Указывалось то на природные соответствия или профессиональные особенности (Ноград и Кемерово: шахты, Бекеш и Пенза: сельское хозяйство), то на географическую или историческую близость (Сабольч-Сатмар и Закарпатье) и т. д. «Дуэт» же Сегед – Одесса истолковывался как сотрудничество прибрежных южных городов с большим числом солнечных дней. Сегеду (а вслед за ним и Чонградской области, когда к концу 60-х гг. «дружить» стали и области), теперь уже видим, повезло больше всех остальных. Сама Одесса, по мере становления в мировую величину, превращалась в мощный сгусток разнообразнейшей энергии (как материальной, так и ду-

ховной), с которым у Венгрии спонтанно стали складываться содержательные связи уже с первой трети 19 века. Найти их дальнейшие нити в сферах отдельных наук, а также в литературе, искусстве, музыке и т.д., оказывалось лишь делом профессиональных навыков для специалистов.

Возвращаясь к книге. Четко формулируя свое понимание метода, автор стремится систематизировать прежде всего легко находимые им в Венгрии материалы об Одессе. (Обратное, т. е. одесские факты, как он указывает в заключении, могут быть полностью разысканы в Одессе, когда этим займется хотя бы небольшая группа студентов или учителей из таких же энтузиастов.) На последних страницах автор дает развернутый перечень «задач» для этих будущих исследователей.

Книга охватывает свыше двухсот лет, весь возраст черноморского метрополя, и 20 ее глав четко разделяются на 8 о 19-ом и 12 о 20-ом веке. Наш беглый обзор пойдет, однако, по другому пути. Коротко, как бы в перечислительном плане проследим «общекультурные» главы, с тем, чтобы в соответствии с нашим профессиональным интересом историка, сосредоточиться на собственно исторических.

19 ВЕК. В 1-ой гл. оригинально собрано всё, что средний венгр знал об Одессе с основания города и до выхода книги, главным образом из издаваемых в среднем каждые 15 лет лексиконов и энциклопедий. 2-я гл. (*Венгры, вина, Пушкин*) посвящена значимым фактам первой половины 19 века. 3-я обозревает пребывание наших художников в городе в 19-ом в., триумфальное шествие Ф. Листа 1847 года и судьбу картины М. Мункачи *Мать с ребенком* (в соотношении с *Христос перед П. Пилатом*). 5-я и 6-я раскрывают историю контактов одесских ученых с венгерскими (Мечников и Филатов здесь, Йожеф Сабо, Л.Таллоци и Мор Дечи там, почетные доктора Сегеда и Одессы, десятки командировок работников СУ и ОГУ, практикум в русском языке для венгерских студентов и др.

В 7 гл. описан многолетний успех русских и еврейских писателей Одессы в Венгрии в начале 20 в. В 17-ой собраны стихи, рассказы и отрывки романов 18 венгерских писателей об Одессе от Шандора Белени Фаркаш до нашего современника Аттилы Бюки.

20 ВЕК. Гл.11 – это венгры в Одессе в 1920–41 (Барток, эмигранты, приезжающие). Гл. 12: одесские писатели в Венгрии в 1928–40. Гл. 15: одесские писатели в Венгрии (1945–). Гл. 18: триумф трёх великих одесских музыкантов в Венгрии с 1947 по 1995 годы. Все эти главы насыщены богатым фактическим материалом.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ГЛАВЫ. Как историк, свое главное внимание я уделяю собственно историческим главам. Сразу скажу: хотя автор монографии является литературоведом, эти главы решены им не менее профессионально как в плане тщательности сбора материалов, так и в отношении качества обработки и оформления.

1849. Эта глава – первая из шести, ставящих «крутые» вопросы, ранее просто не обсуждавшиеся ни нашими, ни советскими авторами. Здесь глав-

ное не столько история найденного в одесском архиве циркуляра Паскевича о розыске «агентов Кошута», и даже не судьба рядового одесского полка Якименко, перешедшего на сторону революции (одного из десятков т. н. «капитанов Гусевых»). Намного значимее то, что Феньвеш впервое для широкой венгерской и русской публики освещает историю гибели Шандора Петёфи от рук одесских уланов под Шегешваром. Он прав, необходимо рассеять умалчивание фактов и тем самым преодолеть многолетнее господство лицемерных фраз о сплошь и рядом только «интернационалистических» взаимоотношениях наших народов. Новый, совсем неизвестный ранее оттенок он вносит в это дело путем привлечения поэмы живущего в Чикаго ученого и поэта Адама Маккаи *Господи; Дай мне умереть!* Русист по образованию, Маккаи совершает подлинную психологическую находку через смещение временных планов между 1849, 1956 и 1987 (Афганистан) в гл 11 своей *Фехередьхазской тетради*, где, применяя современные поэтические средства, он добивается слияния русской народной судьбы с прошлым эпохи поэта и вчерашним днем венгров 20 века.

ПОТЕМКИНСКОЕ восстание делает 8 главу справедливо самой объемной; ведь события лета 1905 года выводят город на арену всемирной истории. Главный ее новум – репортаж сотрудника газеты «Мадьяр Хирлап», который впервые в истории русских революций с места события дает им объективное освещение, причем в течение целого месяца. Другой несравненный плюс – подробное прослеживание откликов «буревестника венгерской революции» Эндре Ади (как в поэзии и новеллах, так и публицистике) на события, причем опять от первых вспышек и до самого заката. Тщательно прослежена и участь сотни потемкинцев, нашедших убежище в Венгрии. Уникален материал, собранный автором по фортуне броненосца через восприятие в художественных произведениях. Приводятся тексты ключевого венгерского стихотворения на тему – «Броненосца Потемкина» Йожефа Киша на русском и украинском. Иллюстрации (причем не только к этой главе) почти сплошь «откопаны» тем же Феньвеш.

Исследование венгерского восприятия *Л. Д. ТРОЦКОГО* за 1907–2002 годы является, пожалуй, одной из главных удач автора. Кстати, эта 9-я глава (*Из реального училища Св. Павла в мировую историю*) уже в журнальной публикации 2006 года (*Tekintet*, 2. sz.) привлекла внимание отечественного читателя.

Справедлив сразу исходный тезис о носителе (негативной) духовной энергии города, ставшего одним из символов русской революции. Здесь же отметим (специально вне привычных кавычек), совершенно новые для европейского читателя данные, из книги Нат. Панасенко *Троцкий в Одессе*.

Культурологический ключ сбора материалов позволил Феньвеш обходиться в своем тексте без расхожей формальной биографии своего героя. Ее важнейшие факты он, конечно, дает, но умело рассыпая их в различных, самых нужных местах главы. Внимание к ним дает ему возможность сделать немало тонких наблюдений. Для примера: оценка Троцкого Бухингером

(с. 131) или Покорным (133), суть введенного наркомом статуса комиссаров – глазами журналиста «Пешти Наplo» (135) и многие др. К числу подлинных (в буквальном смысле) находок отнесем напр. образ Т. в стихотворении Шандора Шика (142) или в сатирическом апокрифе 1990 года М. Шюкешда.

Отдадим дань автору монографии: раскрытие легенд о Троцком и обнаружение «здравицы» в день его столетия в «Непсабадшаге» – чуть ли не филологические шедевры.

1914–1918. В введении главы приводятся (вслед за Анталом Йожа) данные венского Кригсархива о роли, отведенной Одессе в планах Генштаба империи на случай предполагаемого мятежа флота и перехода его на сторону АВМ. По документу назван главный местный агент – доктор Луценко, сыгравший известную роль в «самостийной» Украине.

Глава построена в основном на данных о венгерских военнопленных. (Исключение составляет первый раздел о судьбе одессита Аврама, проработавшего всю войну в селе Абонь.) Это их участие в революции и возвращение домой в ноябре 1918 года. Приводится текст песни венгерских солдат о военном корабле на одесском рейде как выражение стремления к миру. (Она записана в 1940 г.) Ставится вопрос о возникновении рисунков Ласло Мохой-Надь в одесском лазарете.

Как говорится, Феньвешти не был бы литературоведом-русистом, не найди он рассказов сразу двух известных русских писателей (И. Ильфа и В. Катаева), в которых отразилась австро-венгерская оккупация города 1918 года.

1941–1945. Эта глава состоит из двух разных частей, построенных как будто дробно, однако это мотивировано и там, и тут разнообразием источников. В центре первой части стоит судьба Одессы на войне. Она строится а) на воспоминаниях этнических венгров (секеев и чанго), призванных в румынскую армию, и в ее составе побывавших в Одессе, б) на отрывках мемуаров советского генерала А. Ковтуна, где рассказывается о венгерском эмигранте Ш. Петраше, участнике обороны города, в) на статье клюжского журнала «Хител» 1944 года об экономике Одессы времен румынской оккупации. (Отметим: указанная выше песня зажила новой жизнью в 1943 году.)

Вторая часть главы обогащает новыми фактами историю освободительных боев на территории Венгрии. Кстати, перед изложением этих фактов Феньвешти дает краткий вводный раздел «освобождение или оккупация» с подзаголовком «Важнейшим элементом парной конструкции является союз *и*». И этот тезис у него не остался политической декларацией, а реализуется в построении всей 2-ой части главы. Здесь даны портреты пяти одесситов – от маршала через военкора и коменданта Сегеда до одесского художника, делавшего зарисовки видов освобожденной столицы и сержанта, первым вступившего на землю Сегеда. И особенно в приведенных отрывках из книги Яноша Рожаша об одесском ГУЛАГе *Горькая юность*.

Нам думается, содержание 14 гл. о Вышинском роднит ее с предыдущей и с главой о Троцком.

Гл. 16 о событиях 1956 года служит убедительным примером творческого метода Феньвеша, в котором проявляется стремление к синтезу печатных и устных фактов.

Глава 19 *Связи городов и областей* обобщает опыт полувековых контактов Сегеда и Одессы. (Добавим; без этих связей вряд ли возникла бы сама идея книги.) Внутренне она, подобно остальным почти двум десяткам, и культурно-структурная и историческая. Главное, в ней сделано оценочное обозрение свыше полувекового (по разным формальным меркам с большим рассеянием, с октября 1955 и февраля 1956, октября 1957 и мая 1961 гг.) пути, без разносторонней и разноуровневой организаторской работы которого жизнь жителей двух городов была бы несомненно бедней, особенно с учетом их «невъездности» в первой половине этого полустолетия. Почти полсотни страниц главы – не из авторской вежливости, а попытка втиснуть в широкий реестр фактов всё достойное упоминания.

В заключение – при максимальной положительной оценке книги – нельзя не отметить одну досадную мелкую погрешность авторского аппарата. (Конечно, с кем из нас не бывает и похлеще?) «Читабельность» текста возрастает от авторского приёма выделения в подзаголовки глав одной наиболее выразительной фразы. (См. приведенные выше о Пушкине, о Троице или о 1945.) Жаль, что источник первого заглавия всей книги (Beléni sajdult...), прозаик Сильвестер Эрдэг (Ördögh) волею глупого случая не попал в именной указатель (на стр. 270) и по этой причине не может быть идентифицирован читателем.

Подытоживая сказанное, подчеркнем, что книга И. Феньвеша – серьезное достижение венгерской русистики в оригинальном жанре истории региональных контактов.

Иштван ЛЕНДЬЕЛ

**FENYVESI ISTVÁN: IDŐSÉTA: SZENTES—SZEGED—SZLÁVOK. I–II.
[ИШТВАН ФЕНЬВЕШИ: ПРОГУЛКА ВО ВРЕМЕНИ: СЕНТЕШ—СЕГЕД—
СЛАВЯНЕ. I–II.] SZEGED, BABA KIADÓ, 2011, 734 PP.
ISBN: 978 963 319 035 7**

Хорошо известный и за рубежом венгерский филолог–русист, титулярный профессор Сегедского университета, Иштван Феньвеши выпустил два тома своих... (рецензент замедляет определить жанр этого солидного труда), скажем, мемуаров, хотя содержание книги в значительной мере выходит за рамки хроники личной жизни автора.

Первая часть работы и есть собственно автобиографичная. Все предки автора — землекопы, дворовые, сторожи плотин — принадлежат к довоенному венгерскому сельскому пролетариату; сам он — типичный представитель первого поколения народной интеллигенции послевоенной эпохи. На его духовное развитие оказало определяющее влияние, когда после хуторской школы с ее неразделенными классами он стал учеником одной из лучших провинциальных гимназий в городе Сентеш. (При этом он не отрывался от традиции старой жизни: во время летних каникул он работал каменщиком или участвовал в тяжелых работах летней страды.) Наступил 1944 год, когда, как пишет поэт, «война домой придет». И вот первая встреча с советскими солдатами, которые раздавали морковные консервы с написанными на них «странными буквами». Летом 1949 года юноша Феньвеши участвует во Всемирном фестивале демократической молодежи в качестве переводчика (его знание французского языка проверяет лично лидер венгерского комсомола, Дь. Нон). В том же году происходит решающий поворот в его жизни: он получает государственную стипендию для учения в Ленинграде, в Педагогическом Институте им. А. И. Герцена, в одном из лучших высших учебных заведений в России. Вернувшись на родину в октябре 1953 года, он начинает работать ассистентом при кафедре русистики в Сегедском университете. Нагрузка его немалая: курсы лекций по русской литературе XIX и XX веков и соответствующие практические занятия... Наступает грозное время 1956 года... Феньвеши не скрывает, что его привязанность к русским людям и культуре, укоренившаяся за четыре года в Ленинграде, не погасла под давлением отрицательного опыта последующих лет; он надеется, что «все то правильное, что мы совершили за десять лет, останется, очистившись от мерзостей, случившихся во время Ракоши...» (189) Однако, положение оказалось более сложным и полным превратностей... Феньвеши переводят в начальную школу, где он работает шесть лет. (За это время он окончил французское отделение в университете.) «Ссылка» кончается в 1962 г. и его назначают доцентом и заведующим кафедрой русского языка и литературы в Сегедском педагогическом институте; в 1979 г. он возвращается в университет, где он работает до выхода на пенсию. В 1987 г. он защищает кандидатскую диссертацию на тему «М. Горький в Венгрии (1899–1919)».

Иштвану Феньвешу посчастливилось в том смысле, что на его долю выпало целых три учебных заведения, которые он вправе обозначать старинным почтительным названием *alma mater* — «мать-кормилица». Первое — это упомянутая уже гимназия города Сентеш. Автор рисует сжатые, эмоционально насыщенные портреты своих школьных учителей: преподавателя французского языка, Иштвана Надьайтоши, награжденного французским правительством орденом Академических Пальм; преподавателей истории Бэлы Агоштона и Эндре Медзибродского, преподавателя догматики и психологии Реже Миклоци и других. Второй «кормилицей», питавшей молодого студента науками, способствующими его научной и педагогической карьере, был Педагогический Институт им. А. И. Герцена, где он слушал таких знаменитых профессоров, как В. А. Десницкий, С. В. Касторский, Б. Гейман. Наконец, вполне заслужено обозначение *alma mater* для Сегедского университета, где молодой ученый испытывал доброжелательное отношение и всяческую поддержку со стороны таких именитых профессоров, как Геден Месей (автор одного из переводов «Евгения Онегина»), Антал Клемм, Антал Ньири, Элед Халас и др.

С теплым дружеским чувством Феньвешу вспоминает о своих «однокашниках» и товарищах в разные периоды своей жизни. Назову из них только одного, с которым и я был в дружеских отношениях.

И за наши университетские годы в Ленинграде, и потом во время военной службы, и на работе на историко-филологическом факультете Будапештского университета — вплоть до его безвременной смерти. Иштван Лендьел происходил, как и Феньвешу, из аграрно-пролетарской семьи, учился в той же упомянутой гимназии в Сентеше, и потом на историческом факультете Ленинградского университета. Мы с ним жили в одном общежитии, и я имел возможность наблюдать, как он сидел до поздней ночи в рабочей комнате над учебником по археологии: сначала он за один день одолевал только полстраницы толстой книги, а в конце семестра сдал предмет на «отлично» без всякого снисхождения со стороны экзаминатора. К сожалению, он поплатился здоровьем за напряженную работу, но и те долгие месяцы, которые он проводил в санатории, прошли для него не без пользы: он овладел такими пластами русской речи, с которыми мы не встречались на университетских семинарских занятиях.

Феньвешу дает также сжатую характеристику своих товарищей-пионеров по созданию научной и педагогической русистики в послевоенной Венгрии. К ним он причисляет прежде всего Жужу Зельдхейи-Деак, признанную и за рубежом исследовательницу творчества Тургенева, инициатора и организатора основополагающей серии избранных документов венгерской рецепции русской литературы; прекрасного педагога и переводчицу Эрну Палл, которая в соавторстве с Ю. Д. Апресяном составила новаторский словарь в двух томах «Русский глагол—венгерский глагол. Управление и сочетаемость»; Ференца Паппа, автора оригинальной научно-просветительской «Книги о русском языке»; пишущий эти строки упоминается своей монографией

о четырех полных венгерских переводах «Евгения Онегина» Пушкина. По праву с гордостью называет Феньвешти среди своих многочисленных учеников Яноша Вайнаи, одного из лучших преподавателей–русистов средней школы, организатора знаменитых русско–венгерских летних языковых лагерей системы «тройки»; замечательного слависта Имре Х. Тот, ныне профессора–emeritus Сегедского университета; профессора Будапештского университета Ласло Ясаи, признанного специалиста по русской аспектологии. Шуточные аллитерированные здравицы И. Ф. посвящает на день рождения своим коллегам, известным сегедским русистам Эдит Саламин, Дьёрдю и Каталин Сёке, Иштвану Феринцу.

За долгие десятилетия научно–исследовательская и педагогическая работа И. Ф. сопровождалась его многообразной культурно–просветительской деятельностью. Стержневой темой его многочисленных рецензий и записок были русско–венгерские культурные связи. Выделяются своей проникновенностью записки, посвященные встречам с академиками Д. С. Лихачевым, А. М. Панченко, с выдающимся историком культуры и византинистом С. Аверинцевым, с «бардом» Булатом Окуджавой, с сибирским писателем Сергеем Залыгиным. Сопровождая зарубежных гостей в Сегеде, И. Ф. развивал в себе и качество хорошо подготовленного гида. Это достоинство обнаруживается также в его записках о Ленинграде, Москве, Одессе и других городов; в этих записках соединены надежные предметные знания автора с пронизательными наблюдениями и субъективными впечатлениями дружественного «близкого иностранца».

Ко второму тому книги приложены библиография работ автора, занимающая 25 страниц, а также именной указатель, содержащий свыше двух тысяч (!) фамилий. Разумеется, при таком масштабном предприятии неминуем известный дефицит в стройности композиции, который, однако, читатель воспринимает как *embarras de richesse*, «замешательство от изобилия». В то же время эта переполненность информацией компенсирована двумя идейными струями, ощущаемо проходящими сквозь всю книгу. Первая из них — это показ духовно–культурного подъема широких масс венгерской сельской бедноты в послевоенные десятилетия, обогащение венгерской интеллигенции наиболее талантливыми выходцами из народных низов. Вторая струя — это, так сказать, «подводное течение» отношений между русским и венгерским народом. В историографических работах обычно описаны политические, дипломатические, экономические отношения между отдельными странами, и уж конечно их военные столкновения. Но при этом часто не раскрывается то, что находится за или под официальными государственными отношениями. Книга Иштвана Феньвешти представляет собой богатый и ценный материал для изучения русско–венгерских связей в областях высшего образования, литературы, искусства, и не в последнюю очередь в виде личных контактов представителей интеллигенции двух народов.

Михай ПЕТЕР

**ЗОЛТАН ХАЙНАДИ «КУЛЬТУРА КАК ПАМЯТЬ». ГЛАВЫ ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ
КУЛЬТУРЫ. BUDAPEST, NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ, 1998, 253 PP.
ISBN 963 18 8450 3**

Золтан Хайнади много лет занимается русской культурой. Он автор исследований, посвященных творчеству Л. Н. Толстого, эволюции и поэтике русского романа. В книге «Культура как память» дан краткий обзор истории русской культуры. Она будет интересна и специалисту, занимающемуся русской культурой, и неспециалисту, но человеку, любящему и ценящему русское искусство. Книга рассчитана на подготовленного читателя, так как в своих исследованиях автор опирается на размышления, мнения выдающихся представителей русской философской мысли – Чаадаева, Хомякова, Соловьева, Флоренского Бердяева и Розанова, Шестова и других. Активно используются и теоретические достижения 20 века в области русской филологии, поэтики, культурологии двух русских школ – ленинградской и тартуской, таких известных ученых, как Лихачев, Лотман, Потебня, Веселовский, Пропп, Тынянов, Бахтин, Топоров и другие.

В первой части рассматриваются идейно-исторические корни русской культуры. Для анализа берутся узловые, переломные моменты истории от принятия христианства, зарождения государственности до 20 века. Вторая часть книги посвящена конкретному проявлению особенностей русской культуры в различных областях – литературе, живописи, архитектуре, музыке и языке.

Европейская традиция. Как полагает автор, вся история русской культуры – «постоянный внутренний диалог и спор с европейской культурой». Поэтому начинает свое исследование с краткой характеристики культуры древнего мира Европы. Далее рассматривается, что дала Европе и миру греко-римская и византийская цивилизация, как возникло и распространялось христианство, какое влияние оно оказало на эстетические и этические ценности людей старого мира. Раскол христианства разбил древний европейский мир на два центра – западный католический (Рим) и восточный православный (Византия).

ПРЕЕМНИЦА ВИЗАНТИИ. Развитие государственности и культуры у древних русичей началось с принятием христианства. Веру по воле киевского князя Владимира разрозненные полудикие языческие племена приняли от Византии. Это во многом определило особенности как самой русской культуры, так и пути ее развития. Становление культуры Киевской Руси начиналось с распространения книги, возникновения письменности. Расцвета же она достигла в храмовом искусстве и иконописи. Приняв православную веру больше сердцем, чем разумом, древнерусские люди и чтити больше зодчих и иконописцев, чем теологов и законодателей. По легенде они и веру выбрали, восхитившись великолепием константинопольского храма, красотой церковного обряда и песнопения. Именно византийское храмовое искусство и иконопись были восприняты русскими людьми за образец.

Но недолго длился час ученичества. Уже 12 век породил своих мастеров, сказавших новое слово. Русское храмовое искусство и иконопись сердечнее, душевнее византийского. Лики святых на русских иконах не суровы и грозны, а теплее и мягче. И лик Всевышнего – не лик грозного Судьи, а Спаса-Всемилоостивого.

Золотые купола храмов не устремлены ввысь, а символизируют небесный свод, покрывающий землю. Русской православной душе близко было заступничество Богородицы, своим покровом охраняющим весь род человеческий. Время Киевской Руси, как показывает автор, было временем плодотворного диалога древнерусской культуры и европейской, византийской. Два века монголо-татарского ига и времена строительства централизованного государства при Иване Грозном – это годы молчания, оцепенения русской духовной культуры. Лишь творчество Андрея Рублева в конце монголо-татарского ига озарило это мрачное время, предвещая воскрешение русской души.

Объединение же русских земель вокруг Москвы, ускоренное строительство централизованного государства не способствовали, по мнению автора, культурному развитию в силу экономической отсталости России, жестокости политики Ивана Грозного и авторитаризма церкви. Даже попытка Ивана Федорова создать печатный двор в Москве провалилась. Церковь рассматривала машинное книгопечатание как святотатство, опасаясь, что с книгопечатанием проникнет и протестантская книжная ересь. «Государство крепко, духовная жизнь чахла,» – пишет автор. Так продолжалось вплоть до Смутного времени. Пережитая народом трагедия (польско-литовская интервенция, гражданская война) стала тем сильным душевным потрясением, что пробудила русский дух, его патриотизм (единение народа под руководством Минина и Пожарского). Это пробуждение, «душевная воинственность» предопределили раскол русской церкви в середине 17 века.

РАСКОЛ. Церковный раскол 17 века рассматривается автором как борьба «между греко-латинской и национально-православной ориентацией, между преобразователями от Никона и традиционалистами от Аввакума». Старообрядцы не приняли нововведений Никона, так как увидели в них распространение западных церковных традиций, отрывавших православного человека от религиозных корней. Они упорно отстаивали чистоту и святость православных традиций. Итожа описание раскола, автор называет церковные реформы Никона предвестием светских реформ Петра.

ОКНО В ЕВРОПУ. Петровские реформы были более глубокими и радикальными. Это было прямое обращение России в сторону Европы. Петровская эпоха, по мнению автора, – убедительное подтверждение правильности того, что в определенные исторические моменты плодотворным является не сохранение традиций, а разрыв с ними. Автор проводит прямую аналогию между деятельностью Петра и Владимира. Оба создателя русского государства направили народ по новому пути, порвав с прошлым, отказавшись от прежних традиций. Владимир порвал с язычеством, привил

России византийское христианство, Петр разорвал с византийско-московскими традициями, ставшими в новую эпоху уже тормозом, и ввел европейскую культуру и цивилизацию. Его реформы подтверждают возможность взаимосвязи русской и европейской культур. Но они сделали Россию сильным европейским государством, могучей военной державой, культуру же заделали поверхностно. Петр подчинил церковь государству. При нем произошла секуляризация русской культуры. Но до расцвета ее, достижения мирового уровня надо было пережить еще столетие.

Обновление России вызвало мощное сопротивление старой России. Число раскольников и при Петре и при Екатерине не уменьшалось, а росло.

В конце концов, спор, начатый в 17 веке между сторонниками европейской традиции и старой православной, перерос из церковного в интеллектуальный спор русской интеллигенции 19 века: западников и славянофилов.

ПРОБУЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ. Отечественная война 1812 года пробудила русское национальное самосознание. «Русские ... поняли, что у них своя история и культура, не похожая на историю и культуру ни одного европейского народа». Следствием этого явилось пробуждение интереса к истории, развитие исторической науки (П. Я. Чаадаев «Философические письма», Н.М. Карамзин «История государства Российского»), освобождение от подражания европейскому (закончилось господство французского языка и культуры). Национальная идея овладевает умами не только философов и историков, но и поэтов, музыкантов, живописцев. Историческая и патриотическая тема – главные в творчестве (русский пейзаж и русский человек в национальном одеянии, портреты героев войны 12 года Кипренского – в живописи; памятник Минину и Пожарскому на Красной площади, оперы Глинки «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила»). Благодаря Пушкину русская литература освободилась от подражания и стала подлинно национальной.

Автор отмечает, что стремление к русской национальной самобытности было теперь иным, чем в прошлые времена. Оно обращалось не в прошлое, к старым ценностям, а в будущее, к поиску «русской идеи».

СЛАВЯНОФИЛЫ И ЗАПАДНИКИ. Спор славянофилов и западников длился весь 19 век. Никогда русские писатели и мыслители не занимались столько судьбой своей родины, ее предназначением. Искались ответы на вопросы, поставленные в «Философических письмах» Чаадаевым. К Западу или Востоку относится Россия? Следовать ли ей по западному пути или искать собственный? В чем историческое предназначение России? Спор этот не был бесплодным. В нем выкристаллизовывалась мысль об особой миссии России в Европе и мире.

ИДЕЯ РУССКОГО УНИВЕРСАЛИЗМА. Первым эту идею высказал Чаадаев, видевший идеал в христианском единстве европейского мира до средневекового раскола. Россия, по его убеждению, призвана совершить «необъятное умственное дело» единения всех народов. Идея христианского универсализма

была развита другим русским философом В. Соловьевым, мечтавшим о единении в будущем всех религий. Мечты о братстве, единстве человечества подхватили русские писатели. Достоевский в своей речи на открытии памятника Пушкину в 1880 году «развил чаадаевскую мысль о том, что наивысший русский идеал – примирение идей», примирение между славянофилами и западниками, между Россией и Европой. По словам Достоевского, «Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только ...стать братом всех людей». Идея всеобщего братства людей воодушевляла писателей второй половины 19 века. Автор книги отмечает, что показывая судьбы отдельных людей, русские писатели отвечали на вопросы, волнующие не только Россию, но и Европу, все человечество. Они верили, что из тупика буржуазной цивилизации есть выход – путь Милосердия и Любви. Они верили, что силой искусства можно вывести человечество на этот путь.

ТЕУРГИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО. Русское искусство второй половины 19 века, считает автор, теургическое искусство. Идея русского универсализма вернула русскую литературу к христианским традициям. Возникла проникнутая христианской этикой литература. Первым писателем, возвратившимся к христианским традициям, стал Гоголь. Наиболее полно стремление улучшить мир и человека на нравственной, христианской основе воплотилось в творчестве Толстого и Достоевского. Новые идеи развивались и русскими художниками – А. Ивановым, Крамским, Ге, Нестеровым. Автор отмечает, что, конечно, и стремление русских художников ввести культуру в сферу религии, «воцерковить» ее, как и улучшить мир на идеях Любви, Милосердия и Братства, не увенчалось успехом. Но оно не прошло бесследно и для России и для мира.

МУДРОСТЬ ЖИЗНИ. Заканчивая предыдущую главу, Золтан Хайнади пишет: «Жизнь ищет свой смысл и свою ценность в лучшем завтра». Достоевский в романе «Подросток» писал, что мечта о «золотом веке» никогда не покинет человечество, без нее «народы не хотят жить и не могут даже и умереть». Может, поэтому русский роман 19 века и по сей день не утратил своей свежести?

В последней главе первой части своей книги автор отмечает, что русский роман, онтологичный и теургичный, ставящий вопросы бытия и метафизики, и вознес русскую литературу на мировой уровень. По мнению ученого, немало лет отдавшего изучению русской культуры, не были преувеличением следующие слова Розанова: «Собственно-гениальное, и как-то гениально-урожденное – в России и была только одна литература. Ни вера наша, ни церковь наша, ни государство – все же не было столь же гениально, выразительно, сильно. Русская литература, несмотря на всего один только век ее существования, – поднялась до явления совершенно универсального, не уступающего в красоте и достоинствах своих ни которой нации, не исключая греков и Гомера их, не исключая итальянцев и Данте их, не исключая

англичан и Шекспира их и, наконец – даже не уступая евреям и их Священному Писанию, их «иератическим пергаментам».

Свой анализ проявления русской культуры в разных областях искусства Золтан Хайнади начинает с литературы, с сопоставления двух человеческих типов – Фауста и Обломова.

ФАУСТ КОНТРА ОБЛОМОВ. Фауст – тип «вечно действующего, ищущего, совершенствующегося человека. За ним тысячелетняя история европейской цивилизации. Он воплощение типичных западно-европейских черт. За Обломовым, олицетворяющим созерцательность, пассивность русского человека, тоже тысячелетняя история, корнями восходящая к былинной эпохе. Илья Муромец до совершения своих подвигов «тридцать лет ...сиднем сидел». Принятие христианства не изменило характер героя русского эпоса, так как культивировало не активные, а пассивные добродетели – смирение, кротость, подчинение судьбе. Петровская эпоха породила активных, деятельных героев, однако они, с точки зрения автора, были лишь подражаниями западным образцам, «неудачно скроенными русскими Фаустами». Человека восточного типа, видящего свой идеал не в деянии, а в бытии, обрисовал Гончаров. Анализируя роман «Обломов», автор отмечает, что ни Обломов, ни Штольц не являются идеалом человеческим. Деятельный Штольц глух к красоте и поэзии жизни. Апатичный Обломов живет богатой духовной жизнью, но бездеятелен. «В Обломове есть содержание, но нет силы; в Штольце есть сила без содержания». Совершенный же идеал, по мнению автора, в сочетании созерцательного и действующего начала. «Этический человек, помимо личного благополучия и блаженства, стремится к достижению общественной справедливости».

РУССКИЙ СКИТАЛЕЦ. В данной главе исследуется еще один тип человека, получивший распространение как в европейской литературе, так и в русской. Это тип странника, скитальца. В европейской литературе он герой либо плутовского романа, исправляющийся в конце своих скитаний, либо герой-бунтарь, охваченный романтическими чувствами, противопоставляющий себя мещанину, обывателю. В русской литературе первой половины 19 века часто встречаемым был тип скитальца, душевно надломленного, жаждущего действия и не нашедшего его, бегущего из города, от цивилизации. В романах второй половины 19 века (Толстого и Достоевского) появился иной тип странника – духовного. Героев этих писателей страшит мир без Бога, в котором «все дозволено». Они глубоко переживают свою оторванность от почвы, церкви, тоскуют по цельности и единству мира. Эти духовные скитальцы постоянно в пути и, проходя через разные этапы своих духовных исканий, нравственно становятся лучше. В этих героях, заключает автор, «одиссеевский и фаустовский тип сплавляется в иисусовский». Им приходится «побеждать в самих себе «животного человека», стремящегося только к своей выгоде, и пробуждать в себе «духовного человека», служащего своим ближним».

В последующих главах («Гений пейзажа», «Память, высеченная в камне», «Славянский мелос») дается краткое, но содержательное описание развития русской живописи, архитектуры и музыки, раскрываются своеобразие и национальные достижения каждого из этих видов искусств, не перестающие восхищать мир. Ненавязчиво отмечается, что художественные озарения русского искусства стали возможны, благодаря открытости русской культуры европейской и верности ее отечественным традициям. Автор полагает, что «сопринадлежность византийской, европейской и русской культурных традиций» и есть основной «движитель процесса развития своеобразной русской традиции».

Не останутся без читательского внимания и авторский анализ фильма А. Тарковского «Андрей Рублев» («Возвращенная память»), устанавливающий преемственность между духовными исканиями человека 15 и 20 веков, и небольшое исследование о языке («Память слова») как о неисчерпаемой сокровищнице русской культуры.

Таким образом, при всей краткости и конспективности изложения в книге «Культура как память» проводится глубокое и содержательное исследование более чем тысячелетней истории развития русской духовной культуры. Завершая ее, автор выражает надежду, что она будет полезна не только исследователям, культурологам, но и поможет всем нам, живущим по разным «национальным квартирам» Востока и Запада, понять друг друга, приблизиться к разрешению вопросов, определяющих судьбы народов Средней и Восточной Европы.

Любовь Михайловна РЫСКАЛЬ

**JANUSZ BAŃCZEROWSKI: PODSTAWY POLSKO-WĘGIERSKIEJ FONETYKI
I FONOLOGII KONTRASTYWNEJ.
[A LENGYEL–MAGYAR KONTRASZTÍV FONETIKA ÉS FONOLÓGIA ALAPJAI],
BUDAPEST, TINTA KÖNYVKIADÓ, 2001, 108 PP. ISBN 9639372145.**

W roku 2001 w prestiżowym budapeszteńskim wydawnictwie Tinta ukazała się praca Janusza Bańczerowskiego *Podstawy polsko-węgierskiej fonetyki i fonologii kontrastywnej. A lengyel-magyar kontrasztív fonetika és fonológia alapjai*. Opracowanie składa się z dziesięciu części, które obejmują *Uwagi wstępne* (7–34), *Polski system samogłoskowy (wokaliczny)* (35–42), *Węgierski system wokaliczny* (43–49), *Porównanie systemu wokalicznego języka polskiego i węgierskiego* (50–53), *Polski system konsonantyczny* (54–71), *Węgierski system konsonantyczny* (72–83), *Porównanie systemu konsonantycznego języka polskiego i węgierskiego* (84–90), *Reprezentacja fonemów konsonantycznych języka polskiego i węgierskiego w płaszczyźnie kodu pisanego* (91–100), *Sylabiczne struktury linearne w języku polskim i węgierskim* (101–104). Pracę zamyka obszerna literatura przedmiotu (105–108), uwzględniająca zarówno polski i węgierski dorobek fonetyczno-fonologiczny, jak i osiągnięcia światowe.

Rozdział wstępny przedstawia m. in. przedmiot fonetyki i fonologii, opisuje narządy mowy i ich funkcjonowanie, uwzględnia międzynarodowy alfabet fonetyczny, omawia kod foniczny i graficzny języka, obejmuje podstawy klasyfikacyjne dźwięków, akcent wyrazowy i zdaniowy. Wiele miejsca poświęca autor iloczynowi jako kategorii relewantnej dla języka węgierskiego, ponadto przedstawia sąsiedztwo linearne dźwięków oraz związane z nim upodobnienia wewnątrzwyrazowe i międzywyrazowe, w tym całkowite i częściowe, a także zjawisko antycypacji artykulacyjnej.

Rozdział *Polski system samogłoskowy (wokaliczny)* przynosi szczegółową charakterystykę polskiego systemu wokalicznego. Autor wyodrębnia we współczesnej standardowej polszczyźnie 28 dźwięków wokalicznych. Charakteryzuje je ze względu na pozycję wertykalną języka (niskość, średniość, wysokość), według poziomu położenia języka (przedniość, środkowość, tylność), z uwagi na położenie podniebienia miękkiego (ustność, nosowość), ze względu na wielkość otworu wargowego powstałego w wyniku obniżenia dolnej szczęki (otwartość, półotwartość, półprzymkniętość, przymkniętość) oraz ze względu na układ warg (płaskość, neutralność, zaokrągłość). Wskazany podział ilustruje autor czworobokiem samogłoskowym opracowanym na podstawie badań dokonanych metodą rentgenograficzną. Według ustaleń J. Bańczerowskiego we współczesnym języku polskim istnieje siedem fonemów wokalicznych – pięć ustnych: /i/, /u/, /e/, /o/, /a/ oraz dwa nosowe, czemu odpowiadają ortograficzne znaki *ę* i *ą*. Autor przedstawia ponadto dystrybucję fonemów wokalicznych w poszczególnych pozycjach wyrazu, tj. w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, omawia połączenia samogłosek oraz kombinacje samogłosek ustnych z nosowymi. Z badań autora wynika, że grupy złożone z trzech lub czterech elementów wokalicznych są w języku polskim rzadkie, np.: *geoenergetyka, indoeuropejski, paleoaustroazjatycki*.

W rozdziale trzecim *Węgierski system wokaliczny* J. Bańczerowski przedstawia m. in. inwentarz samogłosek węgierskich. Głoskom tym przypisuje następujące cechy: niskość, średniość, wysokość; przedniość, tylność; otwartość, półotwartość, półprzymkniętość, przymkniętość; płaskość, zaokrągloność oraz krótkość i długość. Według autora we współczesnym języku węgierskim istnieje 14 zróżnicowanych iloczynowo fonemów wokalicznych. Omawiany rozdział przynosi ponadto interesującą charakterystykę zjawiska harmonii wokalicznej. Badacz dowodzi, że w typowych wyrazach węgierskich mogą występować: 1) wyłącznie samogłoski przednie, np.: *embernek* 'człowiekowi', *személyzet* 'personel'; 2) wyłącznie samogłoski tylne, np.: *asszonyinak* 'kobiecie, pani', a także samogłoski *i* oraz *e* w wariantach krótkim i długim, np.: *tehát* 'więc', *béka* 'zaba'. Zjawisku harmonii samogłoskowej podporządkowane są wszelkie elementy morfologiczne jak przyrostki czy końcówki. Harmonia wokaliczna pełni ponadto funkcję delimitacyjną w płaszczynie syntagmatycznej języka i sygnalizuje granicę morfemu, np. *tanár-nő* 'nauczyciel-ka'. W dalszej części rozdziału omawia autor różne typy alternacji oraz połączenia samogłoskowe. Z badań J. Bańczerowskiego wynika, że w języku węgierskim dominują połączenia dwusamogłoskowe, choć możliwe jest połączenie czterech, pięciu, a nawet sześciu samogłosek, np. *fiaiéiert*.

Rozdział czwarty *Porównanie systemu wokalicznego języka polskiego i węgierskiego* jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu oba systemy są współwymienne. Autor zaznacza, że choć wokalizm obu języków realizuje opozycje fonologiczne w zakresie większości charakterystycznych dla nich cech dystynktywnych, to kombinacje tych cech w obu językach są dalece różne. Niektóre fragmenty pola fonologicznego nie pokrywają się w ogóle ze względu na możliwości dystynktywne drugiego języka. Dla węgierszczyzny charakterystyczne jest m. in. zjawisko iloczasu, harmonii wokalicznej oraz obecność fonemów /y/, /y:/, /ø/, /ø:/ obcych polszczyźnie. Wokalizm polski natomiast charakteryzuje się nosowością, która jedynie w pewnym ograniczonym zakresie występuje w języku węgierskim na poziomie alofonicznym, np. *hang* 'dźwięk'.

Różnice obejmują także połączenia dwu fonemów wokalicznych. Według obliczeń autora w języku polskim stanowią one 59,2%, w języku węgierskim natomiast 70,4%.

W rozdziale piątym *Polski system konsonantyczny* autor przedstawia m. in. inwentarz spółgłosek polskich i wyodrębnia 39 fonemów konsonantycznych. Według badacza polskie fonemy spółgłoskowe realizują system opozycji fonologicznych w zakresie 14 cech dystynktywnych: zwartość, szczelinowość, wargowość, zębowość, dziąsłowość, palatalność, twardość, welarność, ustność, nosowość, dźwięczność, bezdźwięczność, drżącość, boczość. Autor przedstawia ponadto różne stanowiska i szkoły fonetyczne zarówno starsze, jak i nowsze, co daje pełny obraz zagadnienia. W rozdziale tym zamieszczona jest także tabela egzemplifikująca polskie fonemy konsonantyczne i ich warianty w poszczególnych pozycjach wyrazowych. Ze sporządzonych danych wynika, że najwięcej alofonów występuje w nagłosie i śródgłosie wyrazu.

Rozdział szósty *Węgierski system konsonantyczny* poświęcony jest szczegółowej charakterystyce węgierskiego systemu spółgłoskowego. Autor przedstawia w nim m. in. inwentarz węgierskich spółgłosek i wyodrębnia 50 fonemów konsonantycznych.

Według badacza węgierskie fonemy spółgłoskowe realizują opozycje fonologiczne w zakresie 17 cech, z czego 14 stanowią opozycje podobne jak w polszczyźnie, a ponadto laryngalność, krótkość i długość. Autor omawia także różne węgierskie ujęcia i szkoły fonologiczne oraz wskazuje na kontrowersje w opisie fonologicznym. Dotyczą one głównie spółgłosek długich i krótkich oraz fonemu /w/ traktowanego często jako alofon /u/. Rozdział przynosi ponadto ciekawą analizę węgierskich fonemów konsonantycznych i ich wariantów w poszczególnych pozycjach wyrazu oraz przedstawia szereg istotnych spostrzeżeń dotyczących dys-trybucji spółgłosek w linearnej strukturze wyrazu.

Rozdział siódmy *Porównanie systemu konsonantycznego języka węgierskiego i polskiego* przedstawia podobieństwa i różnice w obu analizowanych językach. Z badań wynika, że systemy te wykazują wiele cech wspólnych. Oba języki realizują opozycje prywatywne w zakresie: dźwięczność : bezdźwięczność, zwartość : szczelinowość, zwarto-szczelinowość : szczelinowość, zwartość : zwarto-szczelinowość oraz ustność : nosowość. W obu językach występują też opozycje równorzędne, gdzie fonologicznie relewantna jest różnica miejsca artykulacji, np.: /p:/t/, /t:/k/, /p:/k/, /b:/d/ itp. Podobieństwa obejmują również wiele opozycji wymiarowych, np. /p:/m/, gdzie różnica dotyczy dźwięczności i nosowości lub /k:/n/, gdzie opozycję stanowi miejsce artykulacji, dźwięczność i nosowość.

Różnice obejmują głównie laryngalność, długość i krótkość spółgłosek węgierskich, których brak w polszczyźnie. Pewne kontrowersje – jak zaznacza autor – budzi palatalność jako cecha dystynktywna języka węgierskiego, zwłaszcza że opozycja miękkość : twardość ma w węgierszczyźnie bardzo ograniczony zasięg, a węgierskie fonemy palatalne nie mają w zasadzie ekwiwalentów w języku polskim. Z obliczeń sporządzonych przez J. Bańcerowskiego wynika, że język węgierski jest w stanie pokryć 61,5% pola fonologicznego polskich fonemów spółgłoskowych, natomiast polski system 48% węgierskich fonemów konsonantycznych. Tak więc 38,5% polskiego i 52% węgierskiego pola fonologicznego pozostaje niepokryta.

W rozdziale ósmym *Reprezentacja fonemów konsonantycznych języka polskiego i węgierskiego w płaszczyźnie kodu graficznego obu języków* autor poddaje analizie strukturę graficzną obu języków oraz wskazuje podobieństwa i różnice w zakresie kodu graficznego polszczyzny i języka węgierskiego.

Rozdział dziewiąty *Sylabiczne struktury linearne w języku polskim i węgierskim* przynosi szereg istotnych spostrzeżeń popartych badaniami i danymi liczbowymi dotyczących sylaby i jej struktury w ujęciu porównawczym. Z badań autora wynika, że język polski dysponuje większą ilością typów sylab niż węgierski. W polszczyźnie sylabę może rozpoczynać jedna, dwie, trzy, a także cztery i pięć spółgłosek, w języku węgierskim natomiast w nagłosie mogą występować maksymalnie trzy spółgłoski. W obu językach otwartość lub zamkniętość sylaby jest zja-

wiskiem stałym, w polszczyźnie jednak – w przeciwieństwie do języka węgierskiego – przeważają sylaby otwarte. Autor dowodzi również, co nie powinno budzić kontrowersji, że język węgierski jest bardziej rytmiczny niż polszczyzna, na co ma wpływ iloczas.

Praca *Podstawy polsko-węgierskiej fonetyki i fonologii kontrastywnej* jest nowoczesnym opracowaniem językoznawczym przedstawiającym w sposób możliwie najpełniejszy system fonetyczno-fonologiczny obu genetycznie i typologicznie odrębnych języków.

Praca ta w zasadniczy sposób wzbogaca skromny jak dotychczas dorobek lingwistyczny polsko-węgierski. Jestem zdania, że powinna ona stać się obowiązkowym podręcznikiem akademickim dla polonistów węgierskich oraz hungarystów polskich.

Wiesław Tomasz STEFAŃCZYK

NAGY SÁNDOR ISTVÁN (SZERK.), INTERKULTURÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ: NYELVI ÉS KULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG EURÓPÁBAN. BUDAPEST, ELTE BTK LENGYEL FILOLÓGIAI TANSZÉK MTA MODERN FILOLÓGIAI TÁRSASÁG, 2006, 190 PP. ISBN 963 463 853 8

W roku 2006 ukazała się w Budapeszcie praca *Interkulturális kommunikáció: nyelvi és kulturális sokszínűség Európában* przedstawiająca materiały z konferencji mającej miejsce w dniach 23–24 czerwca 2005 roku. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Filologii Polskiej Uniwersytetu im. L. Eötvösa oraz Współczesne Towarzystwo Filologiczne Węgierskiej Akademii Nauk z okazji 25 rocznicy powstania Katedry Filologii Polskiej. Tom składa się z 28 artykułów, których autorami są znani pracownicy naukowo-dydaktyczni uniwersytetów węgierskich i zagranicznych. Tom zawiera zarówno artykuły opublikowane w języku węgierskim, jak i w językach słowiańskich – polskim, rosyjskim i słowackim.

Pracę otwiera artykuł Istvána Nyomárkayego *Az interkulturális kommunikáció néhány kérdése* (ss. 5–7) przedstawiający historię pojęcia *komunikacja* oraz jego interdyscyplinarny charakter. Autor omawia m. in. związki komunikacji z językoznawstwem stosowanym, glottodydaktyką, socjolingwistyką, komunikacją językową, przedstawia relacje komunikacji i kultury z językiem, podejmuje zagadnienie świadomości językowej i związanego z nią językowego obrazu świata, a także wskazuje nowe pola badawcze.

Janusz Bańczerowski w artykule *Nyelvi és kulturális kérdések az egyesülõ Európában* (8–16) omawiając różnorodność językową i kulturową Europy, sięga do starotestamentowej historii Wieży Babel, wskazując, że omawiane zagadnienie nie jest problemem nowym. J. Bańczerowski widzi szansę rozwoju (przetrwania) wielości języków Europy w szeroko pojętej edukacji, której efektem jest tolerancja językowa, kulturowa, wyznaniowa i etniczna. Autor podkreśla wyjątkową rolę języka, a zwłaszcza obrazu określonej społeczności utrwalonej w języku. W obrazie tym według autora zawarte jest postrzeganie świata, jego specyficzny koloryt

oraz realia językowe. J. Bańczerowski zwraca uwagę na komponent narodowo-kulturowy, do którego należy idiomatyka socjokulturowa, a więc frazeologizmy, przysłowia, powiedzenia, aforyzmy, maksymy, nazwy własne, a zwłaszcza egzonymy.

Artykuł *A család fogalma a világ magyar nyelvi képében (egy kérdőíves anyag tükrében)* (17–26) opracowany przez zespół kierowany przez J. Bańczerowskiego przynosi bardzo interesującą konfrontację słownikowego ujęcia wyrazu *rodzina* z jego rzeczywistym odczuwaniem przez rodowitych użytkowników języka węgierskiego. Z przeprowadzonych badań wynika, że *rodzina* oznacza szereg określeń typu więzy krwi, wspólnota kulturowa, gospodarcza, społeczna czy też dom odczuwany jako symbol ciepła, bezpieczeństwa i spokoju. Z odpowiedzi respondentów wyłaniają się cztery podstawowe funkcje rodziny: rozwojowo-wychowawcza, opiekuńcza, społeczno-kulturowa, ekonomiczna i biologiczna związana z przekazywaniem życia.

István Bakonyi w artykule *Interkulturális motívumok közép-Európában (különös tekintettel a közgazdászképzésre)* (27–31) zwraca uwagę na fakt, że istotną rolę w edukacji ekonomistów zarówno w Europie Zachodniej, jak i Środkowej odgrywa komunikacja międzykulturowa. Autor omawia także zagadnienie zachowania komunikacyjnego, na które się składają normy, tradycje, tabu czy wreszcie szok. I. Bakonyi relacjonuje ponadto szereg monografii i opracowań dotyczących tego tematu.

Géza Balázs w artykule *A jelek sokfélesége Európában* (32–39) podkreśla, że wielość języków i kultur Europy towarzyszy różnorodność znaków językowych i pozajęzykowych. Autor wskazuje, że istotną rolę w procesie komunikacyjnym odgrywają takie czynniki jak gestykulacja, żarty, tabu językowe. G. Balázs omawia ponadto zagadnienie tzw. *pidžin magyar* jako narzędzia porozumiewania się.

Artykuł Istvána D. Molnára *A reformátusok „mássága” és „idegensége” a XIX – XX századi lengyel nyelvben és irodalomban* (40–46) przynosi interesującą refleksję nad stereotypami dotyczącymi protestantów rozpowszechnionymi w języku i literaturze polskiej. Autor wskazuje, że określenia *Polak katolik* oraz *inność* i *obcy* (*obcość*) rozpowszechniły się już w XVI wieku w państwie polskoliteńskim. Z badań autora wynika, że związane z nimi stereotypy żywe były w literaturze polskiej zwłaszcza w powieściach historycznych XIX wieku i godziły głównie w wyznawców kalwinizmu (por. np. *Lutry, kalwiny – bezbożne syny, Pusto jak w kalwińskim kościele*). Określenia dotyczące kalwinizmu – jak podkreśla autor – pozbawione są negatywnych konotacji dopiero w XX wieku.

Ágnes Dukkon w artykule *A kultúra-szubkultúra antinomiái a XIX. századi orosz irodalomban (Puskin, Tolsztoj, Leszkov)* (47–52) podejmuje interesujący problem grup etnicznych w czasach Rosji carskiej, głównie Cyganów, a także Żydów i Tatarów utrwalonych w klasycznej literaturze rosyjskiej. Podczas gdy na Zachodzie reformacja została zalegalizowana, na Wschodzie stała się subkulturą, półlegalną bądź nielegalną na poziomie społeczeństwa. Pisarze rosyjscy – na co wskazuje autorka – nie zajmowali się socjologią czy też etnografią tych społeczności, lecz interesowali się innymi zagadnieniami, zwłaszcza systemem wartości.

Interesujące studium dotyczące stereotypów i uprzedzeń przynosi artykuł Tamása Bence Farczádiiego *A sztereotípiák leküzdésének jelentősége az interkulturális kommunikációban* (53–59). Autor upatruje przyczyn uprzedzeń i stereotypów w etnocentryzmie i poczuciu pewności. Z przeprowadzonych przez niego badań dotyczących Rosjan, Ukraińców, Hiszpanów i Francuzów wynika, że Węgrzy oceniają dość negatywnie Rosjan i Ukraińców, Hiszpanie są oceniani zdecydowanie pozytywnie, natomiast Francuzi raczej pozytywnie.. Autor podaje różnorodne sposoby zwalczania stereotypów i uprzedzeń wobec przedstawicieli innych społeczności.

Csaba Földes w artykule *Az interkulturális kommunikáció mint a nyelvtudomány tárgya* (60–67) postuluje uczynić komunikację międzykulturową przedmiotem badań językoznawczych. Punktem wyjścia jego rozważań są wzajemne związki kultury, komunikacji i języka. Autor rozpatruje te związki z innymi pokrewnymi dziedzinami jak antropologia kulturowa, pragmatyka kontrastywna, pragmatyka funkcjonalna, analiza dyskursu czy też socjolingwistyka interpretacyjna.

Artykuł *Jazykové procesy prebiehajúce v rodinnom prostredí slovenských minorít žijúcich v Maďarsku (z výsledkov empirického výskúma Slovákov, Chorvátov a Bulharov)* (s. 68 – 74) Márii Homišinovej ukazuje sytuację językową mniejszości słowackiej na Węgrzech na tle innych społeczności językowych. Autorka dowodzi, że istotną rolę w zachowaniu języka, a także świadomości językowej odgrywa rodzina. Przedstawione przez autorkę badania generacyjne wskazują na silne tendencje asymilacyjne.

Anna Janus-Sitarz w artykule *A művészet értelmezése és nemzetiségi előítéletek legyőzése. Inter- és multikulturalitás dilemmái* (75–83) widzi rozwiązanie istniejących stereotypów i uprzedzeń w edukacji, a zwłaszcza w dydaktyce. Autorka dzieli się doświadczeniami takich zajęć, np. z zakresu literatury, teatru czy sztuki.

Jenő Kiss w artykule *Tűnődések az Európai Unió nyelvi jövőjéről* (84–87) dzieli się dylematami i obawami dotyczącymi przyszłości językowej Unii Europejskiej, która – w przeciwieństwie do innych „zjednoczonych krajów” – pozostaje wierna idei swej różnorodności językowej.

Artykuł Istvána Lukácsa *A Triumphus caesareus polyglottus ... szláv anyaga* (88–97) przynosi interesującą analizę XVII-wiecznego dokumentu przechowywanego w zbiorach budapeszteńskiej Biblioteki Uniwersyteckiej. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że obok łaciny, a więc *lingua franca* ówczesnej epoki, dokument ten zamieszcza również wiele języków narodowych Europy.

Márta Máriczné Nyíri w rosyjskojęzycznym artykule *Межкультурная коммуникация: опыт воплощения теории в практике учебного процесса* (98–102) dzieli się refleksjami nad książką *Эхо. Россия – Венгрия: диалог культур* opracowaną w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Autorka zwraca szczególną uwagę na sferę dyskursu, nastawienie na dialog, kompetencję kulturową oraz komunikację.

Artykuł Iriny Osipovej *Szovjetizmusok utóélete a mai orosz nyelvből* (103–107) stanowi wnikliwe studium dyskursu postsowieckiego. Autorka zwraca uwagę, że w okresie totalitaryzmu nie istniała w zasadzie komunikacja abstrakcyjna, jej

miejsce zastępował bowiem styl funkcjonalny podporządkowany ideologii, stąd ówczesną normę językową stanowiła nie tradycja literacka, lecz nowa ideologia wraz ze swymi szablonami i kliszami. I. Osipova podkreśla również, że to nie inteligencja ukształtowała ten język, lecz przedstawiciele nowej ideologii.

Imre Pacsai w artykule *A Kárpát-medencei frazeológia összehasonlító vizsgálatairól (különös tekintettel a magyarra, szlovákra és lengyelre)* (108–115) wskazuje na istotę kontaktów językowych oraz ich wpływ na kształtowanie się językowego obrazu świata różnych społeczności językowych. Autor dowodzi, że wynikiem długotrwałych kontaktów węgiersko-słowackich jest wspólna frazeologia, np. *nagy kanállal enni*, której brak w języku polskim.

Artykuł Ferencza Pála *A paratextuális elemek és megértés problématicája: megjegyzések Saramago regénycímeinek fordításához* (116–123) przynosi szereg interesujących refleksji dotyczących paratekstualności. Autor – tłumacz utworów José Saramago, noblisty z 1998 roku, dzieli się dylematami dotyczącymi przekładu, zwłaszcza tłumaczenia tytułów, a także ich zmiany względem oryginału w wydaniach obcojęzycznych.

Andrea Papp w artykule *Angolszász gyerekirodalom magyar fordításainak kezdetei* (124–128) sięga do XIX-wiecznych przekładów anglosaskiej literatury dziecięcej na język węgierski. Autorka poddaje analizie poszczególne przekłady tych samych utworów, wskazując na ich podobieństwa i różnice.

Artykuł *Gondolatok egy lengyel kulturális szótár elé* (129–134) Pétera Pátrovicsa przedstawia koncepcję (projekt) opracowania słownika z zakresu wiedzy o kulturze polskiej. Według ustaleń autora w słowniku powinny się znaleźć m. in. terminy językoznawcze, nazwy epok literackich, wydarzenia historyczne, ważne osoby, obiekty, święta, elementy mitologiczne, potrawy, napoje.

Józef Porayski-Pomsta w artykule *Neosemantyzacja leksemów – pojęć politycznych i społecznych we współczesnym dyskursie politycznym w Polsce na przykładzie leksemów pojęć: nacjonalizm, naród, patriotyzm i pochodnych od nich formacji słowotwórczych* (135–140) przedstawia pewne mechanizmy i tendencje semantyczne, w wyniku których następują zmiany trwałe lub doraźne. Autor bazuje na materiale prasowym (główne dzienniki i tygodniki polskie) z lat 1998–2001. Jest to wynik realizacji *Słownika pojęć politycznych i społecznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej*.

Artykuł Zsuzsanny Ráduly *A magyar és lengyel nyelv eponimáinak összehasonlító vizsgálata* (141–149) przedstawia wyniki badań nad rzeczownikami odmiennymi. Autorka dowodzi, że część rzeczowników deproprialnych to leksyka wspólna polsko-węgierska. Obejmuje ona m. in. nazwiska matematyków, fizyków, lekarzy, botaników, a także formacje pochodne od nich.

Elena Rožkova w artykule *Философская тематика в драматургии Павла Орсага и Имре Мадача (опыт сравнительного анализа)* (150–157) zajmuje się związkami literackimi słowacko-węgierskimi. Autorka wskazuje, że w twórczości obu badanych przez nią pisarzy, tj. Madácha i Országa-Hviezdoslava, można odnaleźć wiele wspólnych motywów. Obaj mianowicie pozostają pod silnym oddzia-

ływaniem *Biblii*, co z jednej strony ma wpływ na specyficzną atmosferę ich utworów, z drugiej natomiast stawia przed nimi trudne wyzwania.

Artykuł *Interkulturális kommunikatív kompetencia fejlesztése újságnyelv segítségével* (158–161) Judit Sárosdyné Szabó przedstawia rolę artykułów prasowych w kształtowaniu kompetencji interkulturowej studentów. Autorka egzemplifikuje swoje stanowisko artykułem z „The Sunday Times” z 1996 roku. Według niej na dobrze dobranym materiale prasowym można ćwiczyć nauczanie różnych elementów komunikacji.

Elżbieta Sękowska w artykule *Pole leksykalne polityki – stan we współczesnej polszczyźnie* (162–167) wskazuje, że słownictwo społeczno-polityczne nie stanowi w całości zwartej grupy terminów, choć część aktów prawnych ma charakter terminologiczny. Autorka zaznacza, że część wyrazów z kręgu polityki jest uzależniona od przyjętego punktu widzenia, dlatego podlega wartościowaniu oraz modyfikacjom w planie treści. Wyrazy te z czasem otrzymują konotacje wynikające z użycia kontekstowych, co prowadzi do deformacji semantycznych.

Artykuł Tamása Fábicsa *К вопросу о культурно-языковых контактах фракийцев и славян (в свете теории славянской прародины)* (168–171) poświęcony jest dyskusyjnemu zagadnieniu praojczyzny Słowian. Autor, odwołując się do badań archeologicznych, faktów historycznych i językowych, w tym kontaktów Słowian z plemionami frankońskimi, przyjmuje śmiałą hipotezę, że praojczyzną Słowian był basen Karpat.

Dorota Várnai w artykule *Bálint Balassi w świetle polsko-węgierskich badań komparatystycznych. Polskie drogi Bálinta Balassiego* (172–178) przedstawia twórczość najwybitniejszego przedstawiciela węgierskiego renesansu w kontekście jego związków z Polską. Według badaczki jego związki z literaturą polską widoczne są zwłaszcza w apoteozie życia rycerskiego, głębi uczuć religijnych czy też smutku pożegnań i rozłąki. Autorka wskazuje na uderzające podobieństwo twórczości Balassiego i M. Sępa Szarzyńskiego.

Artykuł *Kommunikáció a politikában és közigazgatásban. Magyar nyelvi hatás a fiumei olaszban* (179–183) Istvána Víga przynosi cenne refleksje na temat wpływu języka węgierskiego na język Fiume (dziś Rijeka). Interferencje węgierskie według badacza to głównie kalki gramatyczne i semantyczne. Badane przez niego wpływy językowe są wynikiem długotrwałych kontaktów politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych.

Judit Vihar w artykule *„A legmenthetlenebbül magyar”. Orosz írók magyar nyelven, műfordítói műhelyek* (184–190) omawia trudności związane z tłumaczeniem literatury obcej. Według autorki tłumacz powinien znać nie tylko realia danego kraju, lecz także świadomość jego mieszkańców. J. Vihar egzemplifikuje swe spostrzeżenia przekładami z klasycznej literatury rosyjskiej.

Praca *Interkulturális kommunikáció: nyelvi és kulturális sokszínűség Európában* przedstawia bogate, wielopłaszczyznowe i wieloaspektowe badania z zakresu współczesnych nauk humanistycznych, jak językoznawstwo, literaturoznawstwo, translatoryka, a także badania interdyscyplinarne, których znaczną część stanowią bardzo interesujące artykuły dotyczące stereotypów i uprzedzeń.

Wiesław Tomasz STEFAŃCZYK